



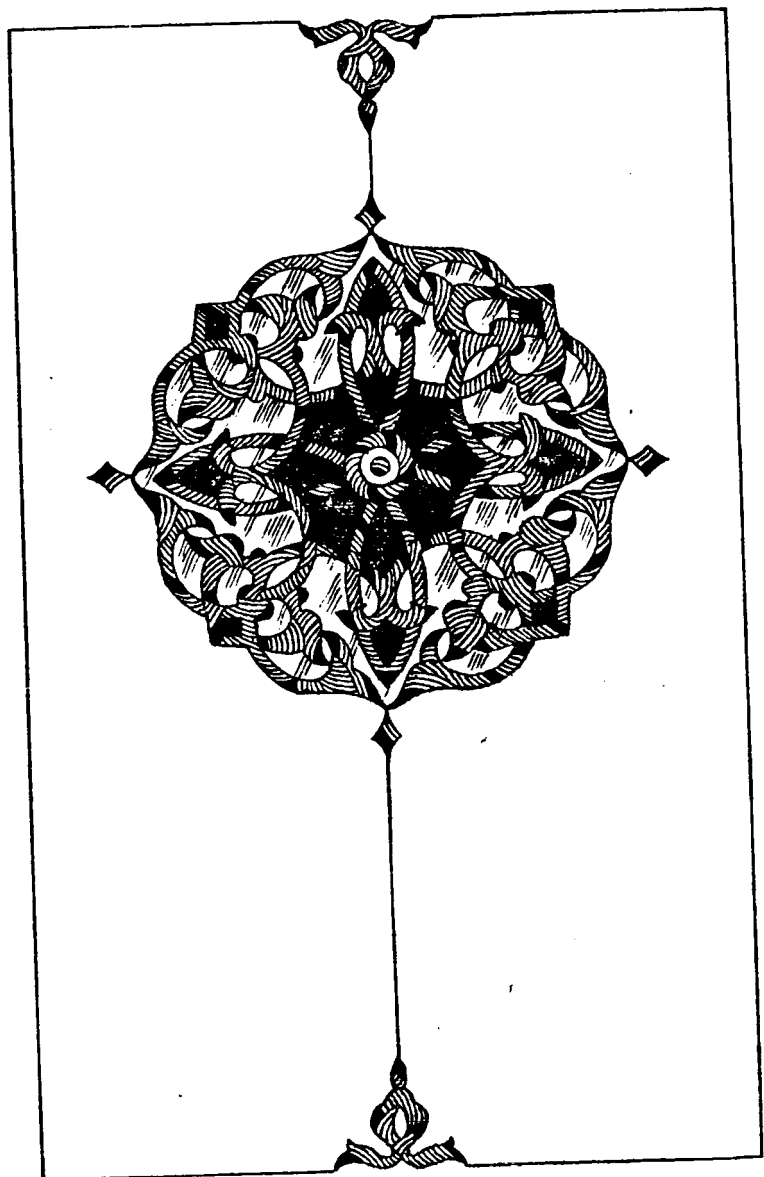
АСКАД
МУХТАР

АМУ

РОМАН

ПЕРЕВОД
С УЗБЕКСКОГО
А. НАУМОВА







Капнет слеза в Аму — ночь,
Капнет ли кровь в Аму — заря,
Луч упадет на Аму — день!
Но солнце без зари не взойдет...¹

Обращенные к северу склоны Гиндукуша заливают лунное сиянье. Здесь, наверху, этот молочный свет царит чуть не ночи напролет, потому что облака стелются двумя тысячами метров ниже, а луна, едва, кажется, закатившись, уже выплывает с другой стороны, красная, как медное блюдо. Днем солнечные лучи, отражаясь от вечных ледников и сине-белых льдистых пиков, так же беспредельно холодны — и не в силах высветить открывающиеся в облачных разрывах громадные ущелья и бездонные пропасти; напротив, при этом бессильном дневном свете черные глубины кажутся еще мрачней и бездонней.

По ту сторону ущелий — вечный караван Памира, карабкающийся в небо. И все эти безжизненные просторы под иссиня-зеленым куполом похожи на океан, мгновенно закаменевший во время чудовищного шторма. В незапамятные времена неистовые силы природы привели в движение земную кору, дико вспучили ее, и в вечности возникли эти ни с чем не сравнимые тектонические чудеса: эти громоздящиеся друг на друга мертвые громады, не знающие ноги человека, и обволакивающее их безмолвие.

Великое безмолвие. Кажется, проснись снова земные недра, содрогнись горы, обрушь они лавины ледников — это безмолвие поглотит весь грохот прежде, чем о нем узнает мир.

¹ Перевод стихов здесь и далее А. Наумова.

И этот безжизненный свет. Он крошечней мрака! Может, потому и нет здесь ни единой живой души...

Дух ваш смущается, вам хочется смотреть только на запад. Ведь сзади, на востоке, нет земли, нет почвы — лишь смыкающиеся с небом мертвенно-синие льды. Недаром древние географы помещали здесь границу мира. А на западе — скат туманных низин, край зеленого мира, куда вы как бы летите: небо справа — ваше правое крыло, небо слева — левое...

Если вам хватит воображения устремиться с этих высот за три тысячи верст — вам предстанет древний полноводный Джейхун, пересекающий долины и пустыни. Отец истории Геродот и Страбон, первый землеописатель, называли эту могучую реку Оксусом. Всё по ходу ее течения как бы сотворено ею самой или ради нее — все прекрасные и роковые пейзажи, вырытые или выбитые ею ущелья, мрачные пропасти и глыбы скал, гигантская лестница водопадов — и радующие душу населенные долины... И все это питается снежными полями наверху, могучими ледниками — и среди них величайшим ледяным морем мира, получившим имя Федченко.

Впрочем, наверху, у истоков, мать-река еще не носит своего прославленного имени — вернее, прославленных своих имен. Это пока безымянный ручей, хотя справа и слева уже спешат к ней ее озорные сестрицы, так же как и она, родившиеся в горах. И лишь вобрав их в себя, она вспенится о скалы, накопит силы и взбесится от избытка их, вздымая меж скал и камней облака мельчайшей водяной пыли...

Эти водяные пылинки напоминают историю песчинок в далеких Каракумах. Все началось с легкого ветерка, что тронул пустынное безмолвие и пошевелил песчинку. Она задела другие — и бархан начал оседать. Песчинки, как искорки, метнулись в воздух, запрыгали, песок потек вместе с ветром; вихрь закрутился волчком — а когда поднял голову, десятки его собратьев вокруг уже выростали в столбы смерча, обращаясь в безумных черных бродяг, застилающих лицо дня...

Так и река — она начинается в этом мире кристальной капелькой, сорвавшейся вниз в укромном уголке вечных льдистых скал, по ту сторону горных пиков Сарыкуля, где рождается солнце. Все вещи на свете — должники своих истоков; но, увы, долги они платят другим и по-другому, там, в низовьях, подвигаясь

к устью. И все же та кристальная капелька уже заключает в себе судьбу будущей реки — недаром вскоре, когда первые ручьи, слившись, образуют начало речки, она получает имя «Воханг». Воханг значит «знамение судьбы».

Первой к ней на подмогу приходит река Памир, рожденная в недрах глубокого, как глаза серны, горного озера Заркуль. Потом, одна за другой, присоединяются самые шумные из рек Крыши мира — пенные, волокущие камни, прокладывающие свои узкие русла в красном базальте — Гунт и Бартанг; вобрав их, она получает имя Пяндж и образует дальше каскад соединяющихся друг с другом мощных водопадов. Она уже устремилась вниз, как могучий лайнер, но отнюдь не выключила моторов. Напротив: вскоре, снова справа, ее мощь усилят потоки Сурхоба, Езгуля, Ванга, резко повернувших к ней в неожиданном месте из-за скалистых гор. Еще чуть позже она встретится с самой прекрасной и строптивой сестрой своей, Кукчэй, подошедшей слева и как бы несущей таинственную печаль глухих долин и боль утекших столетий. И она, Главная река, словно радуется встрече, умиряет на время яростный свой, деспотический нрав — ее грохот и вопли обращаются в шепот, и течет она, широко раскинувшись. А впереди радостные неожиданности снова и снова ждут ее — справа гонит холодные светлые волны Вахш; слева, расправляя богатырские плечи, вырывается из тисков Бомиеновых скал древний Кундуз... Они вливаются неподалеку друг от друга — и здесь-то мать-река обретает наконец славное имя свое — Аму.

Если не принимать в расчет Кафарнихон¹ — кровеносный сосуд одной из прекрасных наших южных долин, и прозрачный Сурхан, прогрызший русло сквозь недра горных каменных пластов и холмов и, уже влившись, долго еще не смешивающий поток свой с мутными водами Аму, — то мать-река на протяжении полутора тысяч верст уже не примет в себя ни единого, самого малого притока, ни единой капли воды, а будет только тратить, тратить и тратить, щедро раздавая сладкую влагу бескрайним полям, садам, небу, пустыням, наполняя каналы и хаузы². Ибо десятки древних ее притоков, берущих начало на вершинах Зерафшана и Бо-

¹ Кафарнихон — река в Таджикистане.

² Хауз — искусственный водоем, непроточный пруд.

ботага, Кухи Сафеда и Банди Туркестана, ныне уже не в силах достичь ее — они выпитываются пастбищами и полями по обоим берегам.

Два берега. Древний, легендарно богатый мир, именующийся оазисом Аму. В этом очаге цивилизаций жизнь извечно была связана со щедротами великой реки: Аму приносила сюда ежегодно не только семьдесят миллиардов кубометров воды и миллионы тонн плодородного жидкого ила, но и богатый минеральными солями тучный солончаковый глинозем; вымывая золотой песок из таинственных ущелий, где не ступала нога человека, несла свидетельства бесценных сокровищ Памира и Гиндукуша, вести о рубинах и яхонтах Бадахшана. Античные историки рассказывают, что вахшские тохары, завербованные термезским худатом¹, вылавливали овчинами золотой песок из илистой воды Джейхуна и продавали арабским торговцам на базарах Балха. Впрочем, громадная история этих мест напоминает отдаленные горные гряды, задернутые туманом: наверху, как небесные острова, видны вершины, отрезанные от самой гряды туманной пеленой, где-то проблескивают заснеженные склоны, но целого увидеть уже невозможно — этот туман вряд ли когда-нибудь рассеется; разве что внедриться в него самому, рискуя, что сорвется на тебя камень или лавина в ущелье...

Кстати, жили в этих ущельях, на этих гористых, каменистых берегах народы, говорившие в основном на языке «дари»: таджики, афганцы, бадахшанцы, сотни племен и родов древней Арианы. Говорят, «дари» значит «дворцовый»; вряд ли. Скорее, это слово происходит от «дара» — «ущелье» — и означает «язык горцев»...

Но вот, под напором воображения, туман, кажется, редет, в голубовато-молочном свете луны становится виден кишлак, прилепившийся к огромному утесу. Чуть качнулся под ветром шиповник, вскарабкавшийся на камень — это донеслось дыхание Аму, что вышла на равнины и замедлила свое течение. Ниже камня с шиповником серебряно поблескивают островерхие, как копыя, пирамидальные тополя, плоские крыши сгрудившихся домов; можно разглядеть крошечные поляны на откосах, миниатюрные наделы садов и бахчей. А над

¹ Худаты — домусульманские правители различных областей Средней Азии.

этим горбятся голые базальтовые скалы, изрезанные черными тенями... Воображение рисует верблюжьих караваны, плывущие в предрассветной дымке... Когда морские пути в Китай и Индию еще не были открыты, торговля между Востоком и Западом пользовалась этими маршрутами — этими тропами и переправами через Аму. Их проложили по иссохшим степям и мертвящим пустыням, страшным горным ущельям и ухуженным долинам, через шумные города и пестрые базары Средней Азии. Но Великий шелковый путь никогда не был «шелковым»: при всем уважении к торговым гостям, совершавшим беспримерные переходы, в сердцах людей копилась здесь также вековая ненависть к насильникам и мародерам. Темными ночами с обоих берегов Аму пристально высматривали друг друга враждебно нацеленные глаза, ружья и клинки, с берега на берег неслись пушечные ядра, чистые горные воды окрашивались кровью. Никто и не мечтал, что когда-нибудь воды Джейхуна понесут покачивающиеся цветочные венки или что соединит его берега многосаженный мост дружбы, яркий, как апрельская радуга...

Да, придется-таки потревожить сон истории. Это слово «мост» виновато. Рассказывают, что Искандер Двурогий¹, собираясь покорить согдийцев, велел якобы на переправе Невтак положить на плечи своих выстроившихся цепью воинов плетеные циновки. — и прогарцевал по ним. Как повествует великий историк Наршахи², переход арабов через Аму в Мавераннахр³ растянулся на четырнадцать месяцев. Сперва реку перешли воины Убайдуллах ибн Зийяда, потом Сайид Усмана — и трижды возвращались обратно. Позже переправился в Мавераннахр грозный полководец Сулм ибн Зийяд — его войско уничтожили всадники Сурхана. Даже сам коварный Кутайба Муслим, слывший завоевателем Мавераннахра и заливший берега Аму кровью, вынужден был двенадцать раз отступать к Хорасану!

¹ Александр Македонский.

² Абу Бакр Мухаммед ибн Джафар Наршахи (899—959) — среднеазиатский историк.

³ Мавераннахр (араб. «Междуречье») — так арабы называли область между течениями Амударьи и Сырдарьи.

Головы Караханидов ¹ плыли по этим водам, тонули здесь слоны Махмудовы ², груженные отравленными стрелами. Когда Чингиз вступил в Термез, вместе с шумом волн уносились вдаль и вопли тысяч матерей, что бросились в воду вслед за своими утопленными младенцами. Тимур сломал ногу на этих берегах, в боях против храбрых сарбадоров ³, и на всю жизнь получил прозвище «ленг»—«хромой». «Джейхун»— арабское имя Аму — означает «бесноватый». Но, может быть, стоит прочесть его по-иному? «Джой»— место, «хун»— кровь, месть... Стало быть, «место мести», «кровавое место»?..

Нет, не так. Не всегда на этих берегах текла кровь, ибо Аму — преграда лишь для захватчиков. Река-труженица, она даровала свои воды и как дорогу общения, сделала переправы свои перекрестками культур и была не только роковой границей меж Ираном и Тураном, но и великой дверью их родства и соседства. Здесь соприкасались религии и государства, искусства и науки, боги и философы: Кушаны, Рим, Китай, Индия, Будда, Гелиос, Шива; по этим прибрежным тростникам бродил Сина ⁴, мудрейший из мудрых, над ними звучали скорбные мисры слепого Рудаки ⁵, здесь Беруни ⁶ задумывался над своим «Нравом Джейхуна», а молодой Алишер готовил к переправе караван своих книг... Аму никогда не была, подобно Гангу, святой водой, уносящей прах человека; но жизни без нее здесь не было, нет и не будет.

Эта бурая лента исторического водного пути, доставлявшего через Каспий в Булгарские княжества восточные шелка, мускус и амбру, китайскую серебряную и фарфоровую посуду, козью шерсть Термеза и Мазари-Шерифа, рыбий клей и кунжутное масло, эта

¹ Караханиды — среднеазиатская династия, правившая в 927—1212 гг.

² Махмуд Газневи (970—1030) — основатель государства Газневидов.

³ Сарбадоры — участники народного антифеодального движения в XIV веке против монгольских завоевателей. Решительная битва их с Тимуром произошла при Усть-Чилене в 1365 г.

⁴ Абу Али ибн Сина (Авиценна, 980—1037) — великий среднеазиатский ученый-энциклопедист.

⁵ Рудаки (860—941) — прославленный таджикско-персидский поэт.

⁶ Беруни (973 — ок. 1050) — великий среднеазиатский ученый.

славная водная артерия, некогда обозначившая границы исторической мечты Петра Великого, в наши дни, увы, едва доносит свои воды — нет, не до моря, даже не до славного своего Арала, высыхающего и понемногу превращающегося в чудовищную и грозную кладовую солей... а только до бескрайних камышовых зарослей на границе двух великих пустынь. Огромный мост, превращенный в дамбу, на месте былого двухкилометрового разлива обозначает, как погребальное сооружение, конец Аму; за ним тянется лишь редкая цепочка высыхающих луж. Это безгласное зрелище — как вопль для каждого, кто видел, помнит недавнюю бурную славу Амударьи: вопль о помощи!..

...Воображение, однако, далеко увлекло нас — и во времени и в пространстве. Вернемся назад — на десятилетия и сотни верст, в горы, к началу нашего повествования...

Здесь, побледнев, заходит луна; солнце еще и краешком не одолело девятикилометровой зубчатой стены гор, и небо пока, хоть почти прозрачно, еще кажется иссиня-черным; валуны на покрытом ельником склоне выглядят мрачными чудищами. Но темнота явно редет, в кустарнике просыпаются птицы. Вот-вот в мире водворится серый рассвет, и туман клубами уже поднимается из ущелий с текущими внизу реками. Наконец стада яков медленными, распластанными по склону махинами двинулись по каменистым тропам. На спинах яков копошатся стаи пичуг. Сереет; за поворотом скалы, внизу, открывается иногда убогий кишлак горного племени; он едва зацепился за склоны и почти сливается с горой. Еще холодно, редущая полутьма таинственна и чутка — страшно издать лишний звук: сорвись где-то камешек — и начнется, пойдет расти по осыпям каменная беда обвала...

На мостике-доске, переброшенном через пропасть, появляется человек. Широкополая шляпа, ноги по колено в обмотках, крепкие ботинки с шипами, за плечами грубо сшитый хурджун. Длинные усы. Странно, он без ружья: горцы не ходят без оружия, особенно в эту пору. Но он идет вниз, не оглядываясь, как положено. А может, просто спешит. Все-таки он явно неместный: ни чекменя на плечах, ни посоха в руках. Да и то, что он один... Здесь только крайность может заставить отправиться в путь в одиночку, горы этого не любят. А может, он и есть в крайности?..

Тропа ведет его все дальше вниз, то под нависшей скалой, то по самому краешку бездны, то наполовину спускаясь в пропасть, откуда надо потом выкарабкиваться чуть не на четвереньках. Спешит путник. Худо-щав, жилист, но вида интеллигентного, городского, не горец, нет. Торопится, словно спасаясь от эха собственных шагов. Будто отстающий мир горной ночи вот-вот поднатужится и его нагонит...

* * *

...Я познакомился с ними в Мазари-Шерифе, в невзрачной одной кофейне. Там, впрочем, было уже то хорошо, что кофе варили не в жестяном чайнике, а в английской джезве из латуни. С тех пор как развелся с женой, я завтракал там каждый день. Я и теперь еще ломаю голову, как они меня там обнаружили, как они меня вообще нашли — полунищего интеллигента, потерявшего свое место в жизни. Во дворцовых кругах усилились смута и брожение, кому было дело до археолога и его камней? Нынешние «новые», впрочем, тоже не возымели ко мне особенного сочувствия — они весьма сомневаются в моем патриотизме: как-никак учился в Лондоне. Время от времени в лицо мне впиваются, словно камешки из-под ног, осколки общей ненависти к англичанам. Но в принципе никому до меня дела нет. Да у меня и у самого нет дела, одни несбывшиеся надежды. Двадцать лет я мечтал открыть миру сокровища нашей древней истории, славу родной моей земли, и ради этого в полном смысле слова землю носом рыл. Профессия моя казалась для этого лучшим в мире средством. Господи, как жизнь все меняет в человеке! Теперь мне трудно и вообразить себя прежнего. Но тем, что разыскали тогда меня, до этих прежних надежд опять-таки дела не было. И до профессии моей — тоже.

Заказав ежедневный кофе, я присел за столик в сторонке и даже не оглянулся на привычный звоночек стеклянной входной двери. Но шаги вошедших направились явно в мою сторону, и тогда я посмотрел. Их было двое. Одеты по-европейски, оба средних лет, спортивной выправки, лица огрубели от ветра и солнца. Тот, что повыше, на редкость некрасив: на носу две большие бородавки, и даже тщательно подстриженные пышные бакенбарды не скрашивают по-обезьяньи выступающей нижней челюсти. Второй, маленького

роста, — с широким лбом и настороженными умными глазами. Борода у него была не по росту велика; кожаная заплатка на колене новеньких джинсов и молодежная фуфайка из козьей шерсти только подчеркивали плотность его фигуры.

— Доктор Сухайль?..

Они меня знали! И знали, где меня найти!..

— К вашим услугам! Но...

Оба протянули руки.

— Сайёд Нихон, почвовед, — сказал высокий.

— Надим Сарбаланд, гидрогеолог, — сказал низенький.

— Очень рад... очень рад... — Мы обменялись рукопожатиями, и я показал на стулья. — Присаживайтесь, пожалуйста... Кофе?.. Ялло! Еще два кофе!..

Когда подбежал мальчик, они заказали и ликер — для меня тоже, но я отказался.

— Не знаю, чем обязан...

Низенький с извиняющейся улыбкой развел руками; мальчик принес ликер. Они тут же разлили и выпили; похоже, до этого им не хотелось начинать разговор. Но беседа пошла легко — хотя я человек не слишком разговорчивый. Несколько минут спустя я уже чувствовал себя с ними как со старыми знакомыми. Надим происходил из горных исазаев — я, впрочем, почти сразу догадался об этом по произношению: в свое время я в горах специально изучал это племя. Что до Сайёда — он был из рода дуррий, которые сами себя величают «дурри-дуррон» (то есть «жемчужные») и очень этим гордятся. Впрочем, свойственной им обычно заносчивости я в Сайёде не уловил. Именно он — и с большой простотой — перешел к цели их визита:

— Мы пришли как представители проектно-строительного треста по ирригации и мелиорации, который основан компанией «Джеймс Моррисон». На севере Афганистана создается проектно-изыскательская группа — она должна выяснить условия использования вод Амударьи. В эту группу мы и хотим пригласить вас...

Я улыбнулся. Я понял, что они меня с кем-то спутали.

— Простите, господин Сайёд, но я не имею решительно никакого отношения к ирригации... Я всего-навсего старый археолог!

— Знаем, доктор Сухайль, знаем. Мы обо всем осведомлены — обо всем!.. И взяли на себя смелость

порекомендовать вас руководству компании. Мы поручились за вас...

— Весьма польщен, но я не понимаю...

Сайёд как бы пропустил мою реплику мимо ушей и продолжил фразу:

— ...И господин Лал Махдий, наш шеф, ознакомься с вашими книгами и досье, сказал: «Это именно тот, кто нам нужен, и я должен с ним незамедлительно познакомиться!»

— Господин Махдий...— начал было я, но не успел закончить вопроса — вмешался Надим Сарбаланд, чуть покрасневший от ликера:

— Это доверенное лицо компании, наш главный геолог!— Голос у него был густой, но слащавый.— Если вы откажетесь, доктор,— уверяю вас, это будет ошибка. Собирается прекрасная группа, контракты компания предлагает весьма щедрые, ради нужных специалистов не жалеет ничего... Да и для правительства важно проведение этих изыскательских работ в Чорвиллойте! Если вы действительно любите свою страну...

Я несколько растерялся от такого напора. Подвыпившие собеседники продолжали наперебой говорить, но их слова уже как-то затрудненно доходили до меня; я только сознавал, что, захмелев, оба господина стали многословнее и велеречивей. О компании «Джеймс Моррисон» я уже слышал, ее главная резиденция находилась, кажется, в Пешаваре. Но я-то что могу там делать? Решительно непонятно. Впрочем, наверное, есть какая-то работа, не ради же моих прекрасных глаз меня так настойчиво приглашают... «Если вы любите свою страну...» Я-то люблю, черт возьми,— меня не любят!.. Но, даже против воли, слова эти задели во мне какую-то струну. К тому же вынужденное ничегонеделание угнетало меня, сколько я себе ни говорил, что ничего больше не хочу. И деньги... С деньгами обстояло хуже некуда: кончались. В сущности, я уже решил. И снова включил приглушенный было моим сознанием разговор, вернул ему громкость. Надим все еще говорил о щедрых контрактах и приводил цифры. Они звучали весьма убедительно.

— Право,— сказал я,— не знаю, что и ответить... Предложение лестное, господа, но... но я должен подумать...

— Нет,— сказал Сайёд,— думать будете потом, прежде вам следует встретиться с господином Махдий,

мы ему это обещали. А потом — пожалуйста, принимайте свое решение!

— И где я могу его увидеть?

— Он будет ждать в отеле «Бомиён» от шести вечера!..

Они откланялись.

В «Бомиён» я пришел часов в пять и для начала решил посидеть в прохладном холле первого этажа — остыть и подумать. Какой я представляю для них интерес? Я терялся в догадках — и чем дальше, тем больше. Примерно полчаса спустя в холл поспешно вошел с улицы худощавый человек средних лет с вьющимися, начавшими седесть волосами. Он вытер пот, огляделся — и я почему-то сразу решил: это и есть господин Лал Махдий. Так и оказалось. Мы поднялись в его номер на втором этаже. В простенькой прохладной комнате гудел кондиционер, с ковра настороженно глядел умными глазами рыжий лохматый сеттер.

— Садитесь, прошу вас, — сказал хозяин и подвинул мне кресло; их было всего два в номере, лишних предметов там вообще не было. — Кофе, сигару? — Голос у господина Лала Махдий был мягкий, обволакивающий какой-то, манеры изысканные.

— Спасибо, — сказал я. — Если можно, чашечку кофе...

Он заказал по телефону два кофе и заговорил — о себе. Мягко, доверительно. Он родился в Индии, в английской семье, но в жилах его течет и кровь воинственных сикхов. Его настоящее имя — Рональд Байр-сби...

— О сэр, — сказал я по-английски, — я не думал... Вы говорите на таком великолепном дари...

Он рассмеялся и тоже перешел на английский:

— Я и пушту владею не хуже... Надеюсь, по крайней мере... Ведь я геолог и давно в этих местах.

— Ну, а я...

— О вас я все знаю! — перебил он с мягкой улыбкой.

Я на мгновение растерялся и сказал запинаясь:

— Но в таком случае... В таком случае я не понимаю... Я ведь мало смыслю даже в топографии, а гидрогеологии и мелиорации не знаю вовсе... Я старик... — Тут он сделал протестующий жест. — Старик, сэр, старик! К тому же вы — представители современного прогресса, а я занимался глубокой древностью... Зачем

я нужен вашей группе? Боюсь, это просто недоразумение...

— О нет!— сказал он и устроился в кресле поудобнее, словно надолго.— Видите ли, доктор Сухайль... Вы наверняка помните картину приручения диких лошадей, которую рисует «Авеста». Для тех времен приручение лошадей было куда более важным делом, чем для нас сейчас — вся научно-техническая революция... Когда влачащийся за стадом пастух вдруг садится на коня, ему открываются горизонты. Расширяются пастбища — растет поголовье. Возникают новые тропы, новые дороги... новая география!.. Археологов весьма интересуют пути! Разве по неолитическим стоянкам вы не определяете древние русла рек? Древние охотничьи тропы, которые приводили к водооямам?.. Именно этот ваш опыт для нас и бесценен, доктор! А вы говорите, современный прогресс — и глубокая древность!— И он рассмеялся, мягко и в то же время победительно.

Принесли кофе. Байрсби разлил его по чашечкам, кофейный аромат, заполнивший прохладную комнату, взбодрил меня, и все вдруг стало казаться проще и понятней.

Серебряные щипчики с кусочком сахара повисли над моей чашечкой:

— Вам два кусочка?

— Да, сэр, спасибо...

Мы сделали по глотку. Кофе был прекрасный.

— Кажется,— сказал я,— мне действительно становится понятным свое место в вашей группе...

Он пожал плечами, давая понять, что для него это само собою разумеется, и сразу заговорил о деловой стороне:

— Наша штаб-квартира в Пешаваре, вы, наверное, знаете... Научно-исследовательский институт расположен на древнем кургане раджи (тут рыжий сеттер почему-то беспокойно пошевелился) и ведет работу на пятистах акрах опытных плантаций. И в лабораториях тоже... Мы осваиваем пустынные участки, восстанавливаем пастбища, ликвидируем эрозию, строим оросительную сеть, гидросооружения. Может быть, вам неизвестно — в Индии мы оживили иссушенную безводьем степь Тар. И вообще: наш диапазон — от геологии до социологии! Ныне мы изучаем условия жизни даже в самых отдаленных кочевьях. Индия, Пакистан, Иран, Афганистан... Развивающиеся страны принимают наши

проекты и рекомендации, не побоюсь сказать, с воодушевлением!

— Это понятно... Благороднейшее дело...

— Да, да,— сказал он как бы мимоходом, словно опять-таки не сомневался заранее в моей реакции.— Ну, я не хочу говорить высоких слов, которыми некоторые так любят щеголять... об интернациональном долге и так далее... все это верно, но наше дело прежде всего — бизнес... доходный бизнес, иначе оно не могло бы не только процветать, но даже и существовать! К тому же мы обеспечиваем работой местных специалистов, да и заключить с нами контракт — достаточно престижно...— Он вроде как запнулся.— Ради бога, доктор, не подумайте только, что я вас, так сказать, агитирую, к вам это не относится, ваш престиж и так...— Он снова как бы приостановился, потом продолжил:— Главное, наш «Проект Большой Аму» в Северном Афганистане привлекает внимание всех патриотических сил! Мы это учитываем, это и в самом деле важнейшее для страны дело, и правительство заинтересовано в нем отнюдь не случайно...

Господи, думал я, да это же и впрямь дело невиданное в истории моей бедной страны! Мне представилась долгая цепь пустых дней, проведенных в здешней пустынной кофейне. Неужели возможно, что я найду себе применение? Себе, своим силам, своим знаниям?.. Это ведь такая удача, о которой два дня назад я и мечтать не посмел бы. Сама судьба послала мне этого стройного загорелого человека с мягким голосом и строгим, твердым умом!.. Не могу я сказать «нет», ни в коем случае.

— Ну что ж, сэр,— сказал я,— искренне благодарен вам за доверие... Оно возвращает мне бодрость и... и веру в себя...

— Я был уверен, что вы согласитесь,— ответил Байрсби со своей мягкой и в то же время самоуверенной улыбкой.

Все решилось как бы само собой.

Так, неожиданно для себя, я и сделался на старости лет членом изыскательской группы. Мы встретились с Сайёдом и Надимом, они уже знали о моем решении, и мы отправились в ту самую невзрачную кофейню, где долго беседовали о будущем процветании нашей страны, об открывающихся перспективах. Они оба — о, в приватном порядке!— просветили меня насчет неко-

торых тонкостей контракта, который мне предстояло заключить, дали советы по поводу подготовки к экспедиции. Как раз это-то я, казалось бы, знал — ведь большую часть жизни провел в степях, пустынях, горных ущельях! — но кое-что действительно выветрилось из памяти; иные их советы оказались весьма кстати. Парни знали свое дело! Знали как профессионалы — должно быть, закалились во всяческих неизбежных передрягах.

Первая наша экспедиция должна была пройти вдоль древнего русла реки, что поднималось от оазиса к горным ущельям. На приобретение лошадей, мулов, яков, наем носильщиков и проводников, закупки палаток, специальной одежды, провианта, корма для животных, инструментария ушло более полутора месяцев. Оба моих спутника где-то в середине этого срока отравились по домам — побыть с семьями; мне прощаться было не с кем. Мой единственный сын, Аурангзеб, отправился в Кабул и поступил там в военный лицей. У нас с ним всегда сохранялись хорошие отношения, если кто и мог его урезонить, так только я, но тут и я оказался бессилем. Зачем ему, в его возрасте, понадобилась солдатчина? Бог весть. Он рос без должного присмотра, с детства был необузданным в помыслах и поступках, безжалостным, что, впрочем, нередко у детей. Меня пугало, как он мог хладнокровно расстреливать собак и кошек; для него же это было отчасти проявлением смелости, а отчасти, может быть, мстью за собственную заброшенность. Я был тогда в вечных разъездах, мать им не занималась, а потом ее и вовсе не стало рядом (недавно я узнал: она вышла замуж за какого-то муэдзина и уехала). Эта детская лихость до жестокости, эта страстная жажда верховодить среди сверстников, вероятно, были всего лишь осуществлением лозунга «стать настоящим мужчиной»: мужчиной, которому ничто не страшно и ничто не нужно. Отсюда, наверное, и решение идти в военный лицей. Я пробовал отговаривать, но видел, что аргументы мои разбиваются вдребезги о его упорство. Сам я ничего дать ему не мог: ни денег, ни даже моральной поддержки. Пусть едет, сказал я себе; может, хоть так выйдет в люди.

...Когда мы наконец отправились — на рассвете, — горы поклажи на мулах и яках растянулись длинным караваном. В этих местах испытываешь ощущение веч-

ной, неотцветающей весны; и впрямь — тут всегда что-нибудь да цветет, из кустов то и дело — фьють-фьють! — вылетают стайки птиц, гудят, как фабрики, пчелы в зарослях дикого абрикоса. Там и сям, на зеленеющих, вперемешку с желтизной, выпасах раздаются конское ржанье, двигаются табуны, а без усталости скачущие и брыкающиеся жеребята-сосунки разом останавливаются, услышав голоса кобылиц, вглядываются, раздувая ноздри, упиваясь сырым, сказочно дивным воздухом долин... и снова скачут. На полегшие от ветра прошлогодние камыши с гоготаньем опускаются дикие гуси... Я давно соскучился по этим дорогим сердцу предгорьям, по осторожно петляющим и прячущимся тропам. По звукам, цвету, следам на песке, камнях или траве я легко читаю потаенную жизнь природы, узнаю в лицо травы, кусты, деревья, птиц, мелкую живность, попадающуюся на глаза... И невольно улыбаюсь.

— У доктора, вижу, отличное настроение! А? — спрашивает, не наклоняясь в седле, Сайёд Нихон — длинный, прямой, как трость, с почти достающими до земли ногами.

— Да, — говорю я, оборачиваясь к нему и продолжая улыбаться, — истинно так... Да сопутствует нам удача и дальше!

И губы Сайёда тоже трогает подобие улыбки. Дыханье весны скрасило даже его активную некрасивость.

— Удача наша в первую очередь зависит от вас, доктор! — Это говорит шеф; он едет немного сбоку, слившись с лошадей, словно какой-нибудь знаменитый ковбой. — После перевала оставим караван в лагере и пойдем по древним тропам одни... А вы будете проводником.

— Слушаю, сэр!

«Сэр» говорю ему только я, хотя при остальных по-английски мы не разговариваем: неудобно. Другие называют его за глаза «боссом», а к нему обращаются «господин Лал» и говорят каждый на своем языке; Надим Сарбаланд, расчетливо оседлавший мула, объясняется с ним на исазайском диалекте. Наш всезнающий главный геолог понимает и его! Право, он достоин восхищения, и все им восхищаются, даже носильщики. Он на породистом тонконогом коне, который не отягощен никакой ношей, кроме самого седока, а в руках господина Лала только ружье, да его верный рыжий сеттер Раджа трусит позади, поднимая ногу едва ли не на

каждый торчащий камень. Вся деликатная поклажа, все, что нельзя было доверить мулам и носильщикам — инструменты в чехлах и ящиках, — приторочены к нашим седлам, и больше всего груза у коротышки Сарбаланда. А шеф едет налегке и смотрится прекрасно: его сухощавая статная фигура, блистательная посадка в седле, легкая, отлично пригнанная одежда — «сафари», естественность и неутомимость движений, простота обращения, одинаковая со всеми, не исключая самого младшего носильщика... Разумеется, слова его — закон, и подчиняются ему с искренней охотой. А что до Надима и Сайёда, они готовы для него на все, и эта преданность нравится мне. Одно странно: такой культурный, образованный, сравнительно молодой еще человек — и явно равнодушен к природе... Словно не замечает всех чудес ранней весны, не трогают его ни благоуханные свежие долины, ни склоны, сплошь покрытые алыми маками, точно накинувшие на себя банорас¹, — так и ахаешь, когда они открываются за поворотом! Словно не существуют эти маленькие вихри из белых цветов шиповника, сорвавшиеся с остроконечных скал, голубая синица, пьющая воду из горного ручья... Может, это у меня поверхностное впечатление? Или он так занят своими мыслями, что не видит ничего вокруг?..

На третий день к вечеру мы одолели перевал. Взмыленные лошади и мулы остановились, и шеф приказал чуть впереди, на склоне горы, в благоуханном ельнике, ставить палатки первого лагеря. Высоко над нами, словно зацепившись за утесы, висел маленький кишлячок; над ним чернела роща, стояло легкое облако тумана. Сверху, может, из той рощи, донеслось уханье сыча, как бы понукая медлившую ночь; и в самом деле, зарево на западе стало меркнуть. Лагерь впал в оцепенение; впрочем, я уверен, волшебство ночи мало кому давало уснуть, разве что «Санчо Пансе», как прозвали мы с шефом плотнянского нашего гидрогеолога на муле: он уже храпел, положив голову на седло.

Мы с шефом лежали рядом; я заговорил об огнях, мерцающих вдаль, у подножий низких гор; о доисторических ореховых пнях, которые превратились в камень и тлеют подобно углю, когда в них повышается содержание железного оксида. Искоса глянул на шефа — не спит ли? — но нет, он слушал, и, казалось, с интересом.

¹ Банорас — цветастая шелковая ткань.

Что в Средней Азии, продолжал я, жизнь зародилась в горных ущельях — это очевидно; огнепоклонничество согдийских и чогаиёнских племен, зороастризм — родом отсюда, и огонь для храмов добывался в этих огнедышащих горах. И вместе с тем древние природные очаги были источниками жизнедеятельности: люди умели добывать из горящих камней и серу, и нашатырь, и другие вещества, необходимые для выделки шкур. Сколько они горят уже, первобытные костры природы, огни Согдианы?.. Шеф пошевелился. «И сколько же?» — спросил он. Добрых три миллиона лет, сказал я. «Да-а...» Во мне самом словно огонь разгорался. И сейчас глядишь на эти сгустки пламени с суеверным чувством, а чем они должны были казаться три, четыре тысячи лет назад? Какими чудищами, какими дэвами с огненной пастью?

— Недаром, — сказал я тихо, — эти места так богаты легендами... Именно в тех вон горах есть озеро Рашкуль. Прозрачное, как небо! А зыбь у берегов — зеленой весенней травы... Говорят, на берегу этого озера пасся огненикокрылый конь Рустама Рахш, упоминаемый в «Шахнаме»... Случалось, что охотники, забравшиеся туда, в прибрежный ельник, бежали прочь, побросав ружья... Что они там видели?.. Сыновья богачей и сейчас еще нет-нет да и нагрянут туда в поисках куропаток...

Я снова покосился на шефа: что-то он об этом думает?.. Шеф спал, неслышно дыша, а бодрствующий неподалеку Сайёд сделал мне знак рукой: тише, мол, спит.

Я на себя разозлился: трепач чертов, проклятый старый восторженный болтун! Кто тебя за язык-то тянул? Кому дело до твоих соображений, пристрастий, фантазий?.. Люди не за тем сюда приехали, и тебе деньги не за то платят; и устали все донельзя... Неужто до смерти так и не поумнеешь?..

Впервые за все последнее время нервы у меня расходились, я понял, что не засну; полез в рюкзак, вытащил взятые с собой старые записи, стал их проглядывать при свете фонарика; потом достал карту и принялся наносить по давним своим чертежам древние пути миграции горных племен, тропы кочевников-скотоводов, высохшие русла рек; за этим занятием я и провел большую часть ночи — пока фонарик не сел. Задремал я ненадолго перед самым рассветом.

На другой день, отпустив почти всех нанятых рабочих и оставив на базе только охранников, мы пешком отправились в дальнейший путь: топограф, почвовед, гидрогеолог, шеф со своим любимым Раджой и два носильщика с яком. Теперь группу возглавлял я.

Древние тропы завалены камнями, смыты оползнями и селями, заросли кустарником, рассечены оврагами. Идти очень трудно, и поначалу поиск кажется безнадежным и бессмысленным. Но уже два дня спустя, когда мы прошли одну из троп и точно нанесли ее на карту, миссия наша вполне обрела для меня смысл, я почувствовал удовлетворение и от работы, и от своего положения в группе. Показанные мной старинные ветви миграции близки на всем протяжении к источникам жизни — водным путям. Вода же прокладывает себе путь вниз, выбирая твердые пласты, — это новость для всех специалистов нашей группы! И факты сами шли к нам в руки, за считанные дни их набралось столько, сколько не набрать и за месяцы слепого лазанья по горам. На привалах шеф собирает всю информацию у себя, что-то, должно быть, классифицирует, обдумывает — а потом принимается играть с рыжим Раджой; Сайёд и Надим наблюдают за этой игрой с явным удовлетворением, ибо, судя по его поведению, шеф результатами доволен, значит, и для них все прекрасно...

Собранные геологические образцы были тяжелы, як и носильщики несколько поотстали, и мы, чтобы отдышаться, остановились на зеленой поляне. Сняли рюкзаки, кто-то принялся перематывать портянки, затягивать шнурки ботинок... Трава была по колено, а сидящим — и по грудь; тянуло легким ароматным ветерком, напестранным цветами и травами; мелкие птахи щебетали, пошвыстывали, вспархивали... Когда мы, так и не дождавшись носильщиков, снова тронулись было в путь, из-под буйно разросшегося куста гармалы, громко хлопая крыльями, вылетела худенькая фазанья курочка. Лохматый Раджа с лаем бросился к ней, а мы остановились как вкопанные. К нашему удивлению, курочка, вместо того чтоб лететь прочь, вдруг села на землю, и Раджа прямо-таки взмыл в неистовом охотничьем азарте, увидев добычу такой близкой и доступной. Но фазаниха вспорхнула у него из-под самого носа, пролетела немало — и снова села. Сайёд и Надим закричали наперебой:

— Она ранена!

— Крыло сломано!..

Господином Лалом тоже овладела ярая страсть охотника, он во весь голос науськивал Раджу, но фазанья курочка не давалась, успевая взлетать в последний миг и понемногу удаляясь от пышного куста гармалы. Можно было и впрямь подумать, что крыло у нее повреждено, но я уже понял, в чем дело: старая уловка, где-то здесь находилось ее гнездо с птенцами, может, под той самой гармалой, и она отводила от него собаку. Какая сила материнского инстинкта!

— Удивительное создание, удивительное!— сказал я с искренним восторгом.

— А?.. Что?.. Вы о чем?..— Господин Лал не мог оторваться от захватывающего зрелища, хотя Раджа и фазаниха были уже довольно далеко.

— Я о фазанихе!.. Думаете, у нее и вправду крыло сломано?.. Нич-чего подобного! От гнезда отводит! У нее гнездо здесь!..

Ах, проклятый мой язык! До сих пор клянусь себя за эту невольную подлость — до сих пор!

Господин Лал обернулся и внимательно на меня посмотрел.

— А-ах, так...— сказал он и повернулся к злополучному кусту — но я успел увидеть стремительную перемену в его лице: охотничий азарт разом потух, словно перед ним прямо на сцене обнажилась примитивная суть поразительного с виду фокуса; зато ясно обозначилась в глазах мстительная жажда освистать незадачливого артиста. Я сразу понял, что будет дальше, но не посмел себе поверить.

— Господин Лал...— сказал я вдруг охрипшим голосом. Он меня не услышал: стал отзывать собаку. Доведенного до истерики Раджу едва отозвали. И тогда господин Лал двинулся к гармале. Под кустом в самом деле оказалось гнездо фазанихи: четыре неуклюжих пушистых птенца, увидев тень, вытянули полуголые шеи, разинули голодные желтые клювы и запищали. Рональд Байрсби засмеялся. «Не тронет!»— сказал я себе с лихорадочной надеждой. Байрсби наклонился, поймал одного из птенцов за красномясое крыло, поднял вверх — и кинул собаке. Раджа сидел в двух шагах, запыхавшийся, с высунутым языком. Сперва он словно нехотя понюхал немощное существо, затем перевернул лапой, прижал — и только потом вцепился зубами. Из комочка красного мяса капнула капля кро-

ви — и все. Раджа проглотил птенца не жуя и уставился на хозяина, а Байрсби стоял над ним, осклабясь, держа в вытянутой руке второго фазаненка.

— Сэр! — кричал я.

Байрсби засмеялся.

— Ну, Раджа, если она хитра, то ведь мы все равно хитрее, а, пес? — И он кинул второго птенца.

Я уже было бросился к нему, но услышал разногласный смех за спиной. Смеялись не надо мной, нет. «Господин, он насладился!» — вскричал сквозь смех Надим своим густым голосом, а Сайёд вторил ему, хихикая тоненько: «Насладился он, господин!» Во мне что-то разом ослабло, надломилось. Не буду описывать эту ужасную сцену до конца, все и дальше пошло тем же порядком. Чтобы не слышать легкого хруста косточек, я отошел в сторону, отвернулся. Меня тошнило. К счастью, мои коллеги были так увлечены зрелищем, что не обращали на меня внимания. Не то наверняка до конца экспедиции дразнили бы меня «бабой», а деться от них ведь было бы некуда...

С того дня протянувшиеся было между нами нити оборвались, я почувствовал себя чужим в группе; обаятельные манеры сэра Байрсби напоминали мне об ужасной сцене, о моей невольной вине, грубоватые любезности Нихона и Сарбаланда приводили на память их отвратительный смех — хотя понемногу острота, конечно, стерлась. Мы ведь исходили еще несчетно километров по узким тропам, по каменным склонам, где не росла даже трава, по краю лавиноопасных, «живых» пластов, много работали, спорили, размышляли. Ну, и усталость свое брала. Пару раз господин Лал с фазанятами снился мне во сне, потом перестал.

Я продолжал вести группу. Во время привалов и ночевок мы общались по-прежнему деловито и спокойно, никакой неприязни... Впрочем, я забываю: неприязнь была только во мне, они о ней, возможно, и не подозревали! Порой я говорил себе: ведь не все же фазаны на земле исчезли, да и стреляют их каждый год сотнями тысяч, и скольких лисы уничтожают, и что тебе, больше всех надо, что ты за тип такой?.. Но сердцу не прикажешь.

Двигаясь очередным маршрутом, мы дошли до пещеры Чакра. Правда, она была несколько в стороне, но все изъявили желание ее посмотреть. Я-то видел ее еще в молодости и всегда вспоминал потом как прекрасный

сон. Чудо Чакры еще не учтено государством, не обследовано, даже не замечено наукой, тем больший резон и мне увидеть ее еще раз. Остальные ее вообще никогда не видели, а она стоит любой усталости. Яма у входа в пещеру заросла кизильником, сам вход увила поднимавшаяся из расщелин рыжеватая лоза дикого винограда. Едва мы ступили внутрь, из холодного, крошечно темного чрева огромными стаями, как черный ветер, полетели над нашей головой летучие мыши. Мы зажгли свои карбидные фонари, подняли их... И навстречу нам вспыхнул, засиял, засверкал тысячами отблесков огромный, немыслимо прекрасный, сказочно белый дворец. Мы шли вперед, и перед нами выстраивались в ряд диковинных форм колонны, казалось, высеченные из белого мрамора; стреловидные прозрачные обелиски, словно вырастающие из земли, а сверху, с потолка, к ним тянулись другие, такие же или похожие, только перевернутые острием вниз; лучи фонарей высвечивали наверху каменные выступы с тысячами дивных мелких деталей; букеты причудливых каменных цветов, словно незажженные люстры, свисали со стен, на полу стояли тысячи удивительных сосудов. И среди всего этого в мечущемся фонарном свете мелькали черные тени чудищ, демонов, невозможных уродов...

Ошеломленные, мы не заметили, сколько уже прошли. Я помнил, что пещера уходит в гору прямо и примерно через километр становится шире; пройдя еще немного, она слегка поворачивала. Должно быть, именно в этом месте шеф и оторвал взгляд от компаса:

— Сколько еще идти этой преисподней, доктор?

— Общая длина по прямой, насколько я помню, километра три с половиной... Но в этом месте сходятся несколько ответвлений, они известны не все, сэр, ведь нога спелеолога еще не ступала в Чакру...

— Ответвления?.. Ответвления меня не интересуют. Три с половиной километра, говорите?.. Хм...

Тут я сообразил, что он вообще не видел Чакры — смотрел только на компас. Господи, что за человек!.. А он между тем остановился и поглядывал то в черное, не пробиваемое нашими фонарями жерло пещеры впереди, то снова на свой компас — явно что-то прикидывал. Сайёд и Надим тоже потеряли интерес к чудесам подземного дворца — теперь они смотрели только на шефа, сильно обеспокоенные.

— Что-то не в порядке, господин Махдий? — спросил наконец коротышка.

— Нет!.. Нет, напротив... Вот что, Надим, надо определить угол уклона... так... направление я знаю... расстояние — тут мы поверим доктору... так... Значит, только уклон. Сможете?

— Будет сделано, господин Махдий!

— Прекрасно. А вы, Сайёд, возьмете несколько разных образцов пород...

Я заволновался:

— Сэр, тут ничего нельзя трогать!

— Пустяки, доктор! Ничего нет в мире такого, что нельзя было бы тронуть, если потребуется.

— Но, сэр, это ведь бесценный памятник природы, когда-нибудь он станет Меккой путешественников!

— Вот когда-нибудь и нельзя будет трогать. А пока... Что вы, доктор, ей-богу, — посмотрите, сколько здесь всего, что изменят полдюжины отбитых кусочков?.. А вы что стоите, Сайёд? Приступайте!

Мне кажется, у Сайёда тоже не сразу поднялась рука на такое кощунство. Но шеф прикрикнул... И минуту спустя в гулком пространстве раздались удары геологического молотка.

Когда, час спустя, мы выбрались из пещеры на свет — в промокших насквозь комбинезонах, засыпанные известковой пылью, покрытые брызгами красноватой грязи, — у всех на лицах, кроме господина Махдий, было написано уныние. Впрочем, что до моего настроения — «уныние» тут было явно неподходящим словом. Подавленность... отвращение... отчаянье!.. Словно я решил впервые показать тайную святыню моей жизни, а зрители, вместо ожидаемых восторгов, забросали ее грязью!.. Ах, но я ведь еще ничего не понимал... не знал, что нас ожидает!

Мы вернулись на свой маршрут, но дальше не двинулись. Ни завтра, ни послезавтра. Господин Махдий снова отправил своих специалистов в пещеру: уточнить все ее параметры, направление, состав горных пород. Они возились два дня — уже без меня, и только на третий мы перевалили гору: ту самую, в которую уходила пещера. Перевалили — и вышли в долину Аму!

Открывшийся ландшафт несколько улучшил мое настроение. В этом месте течение Аму, все еще стремительное, словно расплывается по долине; ее мутные воды, раздвинув берега, вбирают в себя прозрачные

горные потоки, но смешиваются с ними не сразу: саи с гор врезаются в желтую реку чистыми голубыми или светло-зелеными клиньями, и вся она похожа здесь на размотанный рулон пестрой ткани! А темная зелень елей и арчи покрывает склоны, местами на сочном зеленом бархате лугов вспыхивают алые пятна тюльпанов, пестреют многоцветные рассыпанные точки пасущегося скота... Какая отрада глазу! Привал мы устроили на пологом склоне и сидели молча, наслаждаясь отдыхом, панорамой долины, прохладным током воздуха, что омывал усталые наши тела. Заговорил господин Махдий:

— Ну, что, господа, дошло до вас, какие мы везунчики?— Он оглядел всех чуть прищуренными улыбающимися глазами.— Похоже, что нет... Я поздравляю вас с первым большим успехом, господа! Не зря мы трудились, не зря мучились: наши материалы — сокровище для проектировщиков!

Что греха таить, приятно было это услышать. Мы все на него уставились.

— Главная наша задача,— продолжал шеф,— это что проект, я теперь уверен, обойдется много дешевле, чем предполагалось! И прежде всего потому, что мы предложим использовать пещеру Чакра в качестве естественного тоннеля для трассы...

— Сэр, это невозможно!— вскрикнул я, вскочив на ноги.

— Это возможно,— сказал шеф, даже не пошевелившись и не глянув на меня.— Это более чем возможно: это выгодно. Это приблизительно три с половиной километра готового тоннеля, проложенного в твердых породах, и его дарит нам сам господь бог! Вы что-то еще хотели сказать, доктор Сухайль?

— Сэр, я категорически против этого и буду сопротивляться, пока хватит сил!

Сайёд и Надим застыли в испуге, но выражение лица господина Махдий не изменилось.

— Та-ак?— сказал он не то вопросительно, не то выжидательно.

— Я против этой рекомендации и как специалист и как гражданин! Гражданин этой страны!..

— Но мы тоже специалисты... и тоже граждане...— Говоря «мы», он посмотрел на Нихона и Сарбаланда, и те испуганно кивнули. Мне было все равно, на них я и не рассчитывал.

— Сэр, Чакра — это уникальное природное чудо мирового значения! Это гордость нашей земли!

— Кто это сказал? И где это написано?

— Да, спелеологи еще до нее не добрались. И у государства пока не хватало средств, чтобы сделать ее доступной туристам... объявить культурным достоянием! Эти красоты...

— Эти вечные оды... — сказал господин Лал, иронически улыбаясь и разводя руками. — О Восток, Восток! Каждый второй тут — поэт! Но, доктор Сухайль, — тон его сделался назидательным, — если все здесь по-прежнему будут заниматься такой лирикой, у вашего государства никогда и не появится средств... ни для чего.

— Национальная гордость не продается за деньги, сэр!

В лице его впервые мелькнуло раздражение.

— Вашу национальную гордость никто и не собирается покупать.... Мы заняты «Проектом Большой Аму», как вы знаете. Вот это — ваша национальная гордость!

— Вы просто не хотите меня понять! Только подумайте, много ли в мире таких чудес? Это же дикость — пустить туда воду и смыть веками, капля по капле, создававшуюся красоту...

— Да не волнуйтесь вы так, доктор! Садитесь-ка лучше...

— Нет, — сказал я и не сел, а повернулся к Сайёду и Надиму. — Ну, а вы-то... вы что ж, толченых сухарей в рот набрали? Черт возьми, вы же видели Чакру, у вас же самих челюсти отвисли от удивления! Что ж вы молчите? Афганцы вы или нет?..

Но они только испуганно тарасились то на меня, то на шефа и продолжали молчать. Я почувствовал себя очень усталым. И шеф, видно, это понял.

— Послушайте, доктор... — начал он примирительным тоном.

— Нет, сэр... нечего мне слушать... И хочу вас предупредить: мнение свое я везде выскажу... везде! Если ваш проект станут серьезно обсуждать, я буду протестовать публично, буду выступать, писать... обращаться к общественному мнению... ко всему народу!

— Ко всему народу... — Он хмыкнул.

Это меня окончательно взорвало.

— Да!— закричал я.— Ко всему народу! Вы тут пришелец и не имеете никаких прав попирать наши национальные чувства!

Этого говорить не следовало. Зря я не сдержался.

Господин Лал Махдий, он же Рональд Байрсби, поднялся на ноги, окинул меня презрительным взглядом, тонкие ноздри его раздулись.

— Отныне, господин Сухайль,— сказал он, чеканя слова,— мы будем с вами говорить исключительно на служебные темы... пока не истечет срок вашего контракта.

Хотя основной маршрут наш был завершен, делу изыскательской группы еще хватало, продолжалась трудоемкая работа по разметке зон водозабора. Прибыли носильщики с яками и поставили свои палатки на берегу Аму. Теперь экспедиция собралась в полном составе, и главный геолог то и дело рассылал специалистов с помощниками из числа носильщиков в однодневные походы — делать топографические съемки, уточнять геологическую карту. Они возвращались усталые, с тяжелым грузом... Один я, в сущности, отстранен от дел. По правде говоря, моя миссия действительно исчерпана — но меня, конечно, можно было использовать и на других заданиях, я был бы только рад... Мне, однако, ничего не поручают, и я бесцельно слоняюсь по лагерю и его окрестностям. Впрочем, не я один. Господин Лал Махдий тоже теперь не утруждает себя работой: отдает приказы, принимает материалы... Может, это результат теперешнего моего к нему отношения — но поражающая меня поначалу его осведомленность во всем стала теперь казаться сомнительной: да, знает языки и диалекты, умеет рассортировать получаемые сведения и материалы... и только. Да геолог ли он вообще?.. Преувеличиваю, конечно, но уж очень он мне теперь противен. А Надим и Сайёд по-прежнему заглядывают ему в глаза и каждый раз, возвращаясь с очередного маршрута, торопятся устроить небольшое празднество. Я в этом не участвую, лежу обычно в палатке, делая вид, что давно сплю, и слушаю, как разглагольствует шеф, а они ему поддакивают или угодливо смеются.

Так было и на этот раз. Стояла прозрачная ночь, долина Аму внизу наполнилась лунным светом и, подобно невестушке, только что ставшей матерью, покоилась в объятиях белого безмолвия. Зато тени и все, что

оставалось в тени, казались синими. Сверху видно было, как блестят воды Аму, и на правом берегу, в другой части оазиса, переливались электрическим сиянием многочисленные отдаленные поселки. Что там светилось? Может быть, заводы, фабрики, электростанции?..

Метрах в тридцати от меня шло очередное празднество у костра; они, конечно, полагали, что «старик» давно спит, и чувствовали себя вполне свободно, но я и не прислушивался к ним: о чем интересном могут они говорить? К этому чудесному пейзажу они, разумеется, равнодушны... И вдруг по долетевшим до меня более громким фразам понял: и они говорят о ночной красоте долины... Или показалось? Я прислушался: говорил шеф.

— Вам, дорогие мои невежды, и невдомек, наверное, что Сумбуль Садриева намерена ровно половину амударьинских вод повернуть в Каршинскую степь?.. Да, представьте себе! Есть у них такой академик, не женщина, а сущая ведьма, и недавно она говорила об этом на Лоя Джирге Советов... Между прочим, это она угомонила каракумские смерчи, она провела воду в Бухару и Ашхабад, а теперь, как проклятый див, хлебает прямо из Аму... Ишь как освещен правый берег! А?.. А на левом — только четыре тусклых пятнышка...

— Одно — Ак-Мечеть, а другое — вот то — Кзыл-Калаз... — Это Сайёд.

— И ничего подобного! Там Тунгузгузер или Зайратон! — Это голос пьяного Надима.

Короткую паузу заполняет треск веток в костре, потом голос Лала Махдий произносит задумчиво:

— Прискорбно... да... весьма прискорбно для здешних дехкан глядеть на тот берег...

— Как? Что вы сказали?! — Этот удивленный возглас принадлежит Сайёду.

— То, что слышали!

Поникший голос Сайёда бормочет что-то не очень разборчивое — о друзьях, о дружбе.

Лал Махдий смеется пьяным смехом.

— Вот-вот, друзья! Мой покойный отец говаривал: учишься обделывать свои дела без друзей, ибо в каждом твоём друге таится твой враг!..

Я слышу их голоса, а жесты и движения могу только воображать, но готов поклясться: при этих своих словах шеф кивнул в мою сторону. Его сотрапезники захо-

хотали. Меня разобрало болезненное любопытство, я отбросил в сторону одеяло и стал прислушиваться.

Они, должно быть, разливали вино или еду накладывали — пауза была длинная. Потом шеф сказал:

— Вы, невежды, не задумываетесь, откуда Аму берет свои воды, а? Ведь нет же?.. А между прочим, из вашей любимой, вашей родной земли, да-а... И почему эта вода должна доставаться чужим? Почему? Можете мне объяснить, вы, специа-листы? Жалкий вы народ, вот почему! Н-ну, ничего... Мы ухватим эту Аму за по-водя... и п-повернем куда надо!

— Слава нашему ш-шефу!..

— С-слава...

Было слышно, как они изо всей силы чокнулись алюминиевыми кружками. Потом шеф снова заговорил:

— Я лишу воды эти хваленые южные вилояты! Л-лишу! Это вонючее болото... которое называется Ара-лом... высохнет — и станет соляной пустыней!.. У них там... будут гулять смерчи из соленой пыли! М-м, ребята, у меня есть личные счета с той ведьмой... и я... я забочусь о вашей стране... я...

Тут он увидел, что я стою над ним, яростный, едва владея собой. Он отпрянул, как от привидения, и про-бормотал растерянно:

— Вы... вы не спите, доктор... Сухайль?..

— Я понял,— сказал я сквозь зубы,— что вы не имеете никакого отношения к науке... Кто вы? Отвечайте, кто вы?!

Он удивительно быстро взял себя в руки, хотя набрался более чем достаточно. Глядя не на меня, а на сотрапезников, он сказал медленно:

— Самое интересное ведь что? Мы — пили, а он — пьян... Хе-хе...

Они захохотали, как шакалы, со взвизгиваньями. Может, им и вправду показалось очень смешно спьяну, а может, испугались моего неожиданного появления и в смехе этом обрел разрядку их испуг. Но это было уже неважно. Я опять, как всегда, сваял дурака! Опять выдал себя, выложил то, о чем надо было помолчать до поры. Изобличать его? В чем? В пьяном бреде? И перед кем? Перед этими шакалами?.. Он выставил меня в смешном свете, но ведь я и в самом деле смешон!.. Я побрел обратно к палатке, и вслед мне летел хохот обоих подпевал. Шеф не смеялся. Нет, ему не до сме-ха — он ведь тоже дурака сваял. И я понял: теперь он

будет стараться любым способом меня дискредитировать. Или вообще уничтожить. А чего мне бояться! Что мне терять — мою жалкую жизнь?.. Мне уже ничего не страшно.

В последующие дни, несмотря на явную мою отчужденность, шеф вел себя спокойно, даже исподволь пытался восстановить наши отношения, словно ничего и не произошло. Никто на меня не косился, никто вроде бы за мной не следил. Но я сознавал: все это — до поры до времени. Что-то необходимо предпринять, но что?.. Я терялся в догадках.

И вдруг, ночью, лежа в палатке без сна, я понял: надо уйти из лагеря, как можно скорей и незаметнее, спуститься вниз, опередив экспедицию, и разгласить их планы! Разгласить раньше, чем они втихомолку добьются их одобрения... Это единственная возможность!

И на следующую ночь, когда лагерь уснул, я стал собираться в путь и вышел на тропу перед рассветом, в самую темную, самую сонную пору. Вниз, говорил я себе, скорее...

* * *

...Видно, что путник устал. Он идет медленнее, чем раньше, и первый луч рассвета застаёт его на каменной узкой, как змеиный след, тропинке, что ведет вверх, к перевалу, к последней высоте, которую предстоит одолеть. Оттуда, с перевала, путник увидит уже зеленеющие выпасы и стоябища кочевников, недалеко будет до места, где люди окажут помощь. Хорошо, что уже рассвет: он устал от ночи. Сейчас тропка еще раз свернет, а потом ровно потянется на перевал...

Но что это? Какой-то далекий звук привлек его внимание. Камешек где-то сорвался, что ли?.. Он прижался к стене, колени у него дрожали. Звук уже был явственно слышен, множился, нарастал. Камнепад!.. Странное совпадение! Сейчас, когда он у самого трудного поворота! Надо скорей миновать его! За ним каменный навес — скорей! Кто раньше — он или камни?.. А страшный грохот уже здесь, уже мимо летят глыбы, огромные, безжалостные... И страшная, мгновенная, невыносимая боль обрушивается на этот серый рассвет...

Когда камнепад, разбудивший горы и долину, иссякает, тишина воцаряется такая страшная, что леденит сердце самого бывалого горца. На этот раз она воца-

рется надолго, и лишь потом, когда рассеивается пыль, снова становятся слышны птичьи трели, а с сохшего дерева на краю пропасти одиноко ухает сыч.

* * *

Зубчатые деревянные ворота Чилстунского дворца открыты с утра; в них въезжают старый «форд» и новый «фиат», многочисленные фаэтоны с бахромчатыми висюльками; все они останавливаются у двухэтажного, своеобразной архитектуры, здания Министерства национальной экономики. У дверного порога со ступенями прибывающих специалистов и бизнесменов встречает огромного роста сарбаз; на нем высоченная каракулевая шапка, пол-лица занимают саблевидные усы. Подол своего чекменя с красным подбоем он заткнул за серебряный пояс и, почтительно сложив руки на груди, показывает дорогу внутрь.

Одними из последних прибыли Сабир Тохтабаев и Гуломали Коргар. Ночь они провели в седлах, одолевая горные перевалы; но, несмотря на усталость, легко спешили, привязали лошадей, дружно стряхнули пыль с одежды и сапог, поздоровались со знакомым сарбазом и присоединились к собравшимся.

В небольшом зале, устланном красным ковром, стоял приглушенный гул разговоров; тут были министр финансов, представитель министерства общественных работ, авторы «Проекта Большой Аму», авторитетные специалисты, деятели компании «Джеймс Моррисон»; люди здоровались, знакомились или уже вели разговоры, некоторые еще только занимали места в мягких креслах вокруг старинного продолговатого стола с резными ореховыми ножками. Разговоры, впрочем, разом стихли, едва из зеленой двери в задней стене появился министр национальной экономики. Все к нему повернулись выжидающе, и министр, пожилой человек с интеллигентным светлым лицом и несколько раздавшимся станом, каким-то заученным движением тронул бархатную феску на голове и сказал неожиданно простым, мягким голосом:

— Господа, я рад, что все приглашенные собрались!.. По поручению его величества господина Раиса Жумхур¹ мы начинаем первое обсуждение «Проекта

¹ Раис Жумхур — президент республики.

Большой Аму». Мы долго ждали этого дня, господи! Вы знаете, что технико-экономическое обоснование проекта потребовало почти двух лет... Но мы результатом довольны — как бы там ни было, а проект уже у нас в руках, даже более того, он стал знаменит! Я думаю, вы читали в «Кабул таймс», «Иктисод», «Анис», что о нем говорят повсюду в народе, общество проявляет чрезвычайный интерес... Теперь ясно — недаром мы назвали его «Проектом Большой Аму», ведь это сооружение обещает стать предметом нашей национальной гордости, поднять авторитет нашей страны в мире!.. И господин Раис Жумхур поручил нам ускорить его осуществление...

Слово дали руководителю группы проектировщиков, молодому смуглому инженеру из Калькутты; он плохо, мучаясь, говорил на дари обо всех аспектах проектно-изыскательских работ, о порядке и сроках строительства, рассказывал нестерпимо долго, путал схемы на столе, то и дело забывал какой-нибудь важный термин и по-английски обращался за помощью к высокому жилистому человеку, сидевшему рядом. В зале стал подниматься гомон; но как ни странно, скорее не от нетерпения, а от восхищения вырисовывающейся величественностью проекта. Специалисты вставали с мест, склонялись над столом; кто-то, как бы не веря ушам и глазам своим, вопросительно взглядывал на окружающих. У иных был просто радостно-растерянный, счастливо-изумленный вид. Доклад еще не был окончен, как посыпались вопросы.

— Могу и я спросить?— сказал Гуломали Коргар, поднимаясь. Вид его — загорелый, морщинистый лоб, плохо выбритые щеки, пристальный ястребиный взгляд из-под густых бровей, а главное — серая пылезащитная косоворотка, перехваченная ремнем, да грубые сапоги,— не слишком-то гармонировал с тем, как выглядели остальные.

— Пожалуйста, господин Коргар,— сказал министр.— Прошу прощения, господи, что не представил сразу: инженер Гуломали Коргар и рядом с ним советский специалист Сабир Тохтабаев из Дангарской изыскательской группы. Они только что с берега Аму, приехали из Чорвилюята, герои строек Сурхдувала и Дашти-Маргхо! Так прошу вас, господин Коргар, что вы хотели?..

— Я...— Коргар запнулся, словно долго ворочал вопрос во рту и теперь повернул не той стороной,— я... вот что... почему это называется «Большой проект»? В каком смысле?..

Все смолкли, глянув друг на друга; стало слышно, как гудит кондиционер. Министр посмотрел на руководителя проектировщиков и пожал плечами, не то и сам задавшись этим вопросом, не то недоумевая, почему он задан. У инженера из Калькутты вид был беспомощный. Жилистый стройный человек, сидевший рядом с ним, поднялся, оглядел всех и улыбнулся. В улыбке была откровенная снисходительность к наивности и ненужности вопроса.

— Во-первых, господин Коргар,— сказал он, продолжая улыбаться,— не «Большой проект», а «Проект Большой Аму»... Но не в этом суть, конечно... Почему так назван? А вы спросите у журналистов... Это, скорее всего, они придумали! И понятно почему: выражая чувство национальной гордости и патриотизма!

Видно было, как Коргар напрягся.

— А я думаю...— сказал он,— выражая профессиональное невежество... вот что!— Он почувствовал, что перехватил в резкости слов и тона, и попытался смягчить:— Конечно, журналисты не профессионалы в нашем деле... Но мы-то специалисты! Так в каком же смысле «Проект Большой Аму»? Или «Большой проект»?.. Величина проекта измеряется пользой, которую он принесет. Вот наша, Дангарская группа тоже ведет изыскательские работы... и тоже на предмет использования вод Аму! Мы прежде всего задаемся вопросом: что дадим народу?

— Превосходно!— сказал стройный мужчина, по-прежнему победительно улыбаясь.— Так ведь ответ известен: воду дадим, воду, коллега!

— Господин Махдий,— мягко сказал министр,— не прерывайте инженера, пожалуйста, пусть договорит...

Стройный сосед докладчика поклонился и сел, все с той же улыбкой.

— Конечно, известно,— воду!— сказал Коргар.— Но, предположим, вода пришла — готовы ее принять? Патриархальные бедные хозяйства, да им лишний арык негде провести, и не нужна им лишняя вода, куда они ее денут?

— Но, господин Коргар!— вступился докладчик на своем мучительном дари.— Ведь мы приведем... приве-

дем жизнь на сухие земли северных вилояйтов... будут пить воду... как это... бескрайние пастбища...

— И стоит тратить столько сил и средств, чтобы засолить и превратить в болота пустыни Девбада? Чтобы бесценная вода впиталась в пески Каракумов?

Коргар обратил эти слова к министру финансов. Тот молчал, слушал.

— Господа, о чем, собственно, спор?— Это сказал Лал Махдий, он снова поднялся или, верней, вознесся над своим стулом, в нем словно пружина сработала.— Какое засоление, какие болота? Ведь мы собираемся дать этому району всего лишь двести кубометров воды!

— Пра-авильно!— сказал Коргар.— Только для того, чтобы доставить сюда двести кубов, из реки надо взять шестьсот. Ведь ваш проект составлен так, что пока вода пройдет свои пятьсот километров пути, ее станет втрое меньше. Да, да, за счет фильтрации. Эт-то нам знакомо!.. А куда, спрашивается, уйдут остальные четыреста?.. В песок, куда ж еще! Такое позволяет себе не замечать только тот, кто готов иссушить реку ради своих проектов...

— Желающие иссушить реку...— Лал Махдий сделал кратчайшую паузу, от его улыбки на губах оставался лишь намек; и в голосе прозвучал металл, когда он закончил фразу:— Желающие иссушить реку находятся на том берегу!— Он смотрел на Коргара, уже открыто бросая вызов ему и, конечно, его советскому спутнику; этот парень в такой неуместной здесь походной одежде, с вызывающей тонкой щеточкой усов, прямо-таки сует наждак в механизм, который он, Лал Махдий, так долго отлаживал...

— Это как же понимать?— сухо спросил Коргар.

— Так прямо и понимать, господин Коргар. Аму иссушает госпожа Сумбуль Садриева; это ведь она сказала об Аму, пусть-де течет под уклон, не так ли? И половину реки повернули в пустыню, где вода уже действительно уходит в пески. А теперь еще и Каршинские степи...

— Послушайте, господа, в самом деле...— зашевелился представитель министерства общественных работ. Это был толстый, лысый, потеющий человек, с беспоконным и неуверенным взглядом.— Афганский декканин не взял еще из Аму ни единого ведра воды. Граница проходит по самой середине реки. Значит, господин Коргар, мы имеем право на ее половину! Да афга-

нец ли вы?!.. Будь вы афганцем хотя бы настолько, насколько господин Махдий... — И он затрясся от смеха всем своим толстым телом, довольный неожиданной шуткой. Но никто вокруг даже не улыбнулся, и толстяк, оглянувшись в поисках сочувствия, с виноватым видом погасил тряску.

— Я афганец, господа! — сказал Коргар. — Афганец, можете не сомневаться... Но именно как афганец и спрашиваю: можем ли мы проявить неблагодарность по отношению к северному соседу, который по собственному почину изменил демаркационную линию?.. Ведь раньше, мы знаем, она проходила по левому берегу... И я не могу позволить клеветать в моем присутствии на всемирно известное имя академика Садриевой. Ее гидрогеологические карты повсюду считаются уникальной разработкой. Каждому известно, что она — самый авторитетный защитник Аму и всю жизнь посвятила реке. Мне хорошо известны все проекты, которые она создала за тридцать лет. В основе их лежат не только гидротехнические, но и нравственные принципы, да! Мы имеем право только на необходимое, только лишнюю воду забирать — лишнюю, ту, без которой река может существовать! Таково мудрое правило этой замечательной женщины... И я прошу не касаться ее неуважительным словом! И не надо... не знаю вашего имени, господин... не надо спекулировать национальными чувствами! Как бы сильны они ни были, мы не хотим утверждать их за счет соседей...

Председательствующий давно уже поднялся и нетерпеливо стучал по столу.

— Господа! Господа... Братья!.. Не будем отдаляться от темы! Ваши слова — не к месту, инженер Коргар... Никто здесь и не посягает на интересы наших соседей... Успокойтесь, господа... Ведь среди нас — и представитель наших советских друзей... Может быть, и он соблаговолит высказаться? — И министр, мягко улыбнувшись, посмотрел на Тохтабаева.

Сабир Тохтабаев, невысокий, но крепко сбитый юноша в чувстской тюбетейке — на лице его замечались прежде всего густые сросшиеся брови и мощный подбородок с двумя-тремя оспинками, — по-видимому, не ожидал предложения выступить и на мгновение замешкался, но потом встал, поправил выгоревший воротник и галстук и сказал хрипловато:

— Господин министр... уважаемые коллеги... — Он откашлялся и дальше говорил уже не спеша, уверенно, произношение у него было очень естественное, на таком дари говорят кашкадарьинские таджики. — Я не уполномочен высказываться здесь о том, кто сколько берет воды, кому сколько положено. Могу только напомнить, что наша Конституция предусматривает защиту природы и, конечно, рек, как ее важнейшей части... и просто не позволит нам иссушить Аму!.. К тому же у наших гидрогеологов и ирригаторов накоплен немалый опыт. В нашей республике, например, построены десятки искусственных водоемов, и некоторые вы, наверное, знаете — хотя бы Таллимаржон, Пачкамар, Туямуийн на Аму... В них собирают и з л и ш к и, — он подчеркнул это голосом, — воды в период паводка. Потом в течение лета эта вода и питает долины... Вода, как бы добровольно отданная рекой! Кроме того, мы во многих местах автоматизируем подачу воды, стараясь увеличить полезную отдачу, прогнозируем возможности водопользования — и разрабатываем научно обоснованные нормы... Ну и, конечно, мягкие шланги, бетонные лотки, повторное использование дренажных вод — да целая система мер! Она включает, между прочим, разработку юридических и финансовых законов... И мы были бы рады поделиться нашим опытом с соседями... с другими государствами. Мой учитель академик Сумбуль Садриева и этим, в частности, занята, возможно, вам известен ее доклад, прочитанный в Париже на сессии ЮНЕСКО... Право, ее недаром называли покровительницей Аму... несмотря на почтенный возраст, она не перестает заниматься всеми проблемами реки...

Лал Махдий нервно листал лежащие перед ним бумаги. Почувяв в речи Сабира интонацию, как бы предшествующую паузе, он поспешил вклиниться:

— С точки зрения пропаганды все это прекрасно, господин ирригатор... Но мы здесь обсуждаем другое — конкретный проект доставки воды к засушливым землям Афганистана...

— Подождите, господин Лал, — сказал басом министр финансов, осторожно кладя на стол широкую, как лопата, ладонь. Это был длинношей, высокий, повидимому, человек; что-то в его внешности казалось неуклюжим, несоразмерным; с начала совещания до сих пор он не промолвил ни слова — сидел, слушая, уставясь на огромные кисти своих рук, сложенные на

коленях; только по желвакам, ходящим на его щеках, можно было догадаться, что он вовсе не равнодушен к тому, что вокруг говорится.— Не следует высказываться столь категорично... Учти мы тот опыт, о котором говорит господин Тохтабаев, в сорок шестом году в Гильмендском оазисе наши дорогие миллионы не сгорели бы, как куча прошлогодних листьев!

— Какие миллионы?— тотчас вставил Лал Махдий тоном искреннего недоумения.

Но министр не обратил внимания на его вопрос.

— О том, что те земли мертвы и в случае обводнения превратятся лишь в соленые топи, еще в тридцатом году писал русский ученый Букиннич. Но когда составлялся проект, этого во внимание не приняли. Позволю себе заметить, господин Махдий,— тот проект тоже был представлен вашей компанией... Вы заключили договор с нашим правительством, на сооружение ушли все наши долларовые запасы в американских банках,— чтобы осушить созданные в итоге болота, нам пришлось снова залезать в долги! Осуществление проекта стоило семнадцать миллионов... Избавление от его печальных последствий — семьдесят! Если позволить разгуляться фантазии, можно подумать, что это была тщательно спланированная кем-то экономическая ловушка...— Господин Махдий возмущенно вскочил, раскрыл было рот, но министр финансов не дал ему ворваться в паузу:— Ну, ну, я только фантазирую, господин Махдий, в этом мире многое фантастично! Но боюсь, сэр, наш нынешний проект может оказаться на деле ловушкой еще более ужасной...

Зал затих, даже замер. У господина Махдий, который так и не сел, был вид боксера, который неожиданно получил удар в солнечное сплетение и теперь, лихорадочно втягивая легкими воздух, пытается собрать силы для контратаки. Его опередил представитель министерства общественных работ.

— Господа...— сказал, немилосердно натирая платком влажную, блестящую лысину,— господа... Ну, что это за обсуждение, в самом деле... Стоит ли, забывая об уважении друг к другу, ворошить дела тридцатилетней давности...

Министр финансов чуть сощурился:

— Я понимаю, господин бывший министр, вас это задевает за живое... Ведь после проверки всей той истории как раз вашу канцелярию обвинило Народное

собрание, не так ли?.. Это вы купили проекты компании «Джеймс Моррисон», с их непомерными расходами и нулевой полезностью... Да что там нулевой! Болота, образовавшиеся тогда в Гильмендском оазисе,— это ведь и долговые болота тоже, словно рассчитанные на то, чтобы превратить нашу страну в вечного должника... Вечного!.. По правде говоря, мне кажется, сегодня вокруг господина премьер-министра снова собирается группа лиц, похожих на вас...

— Я протестую!— вскочив, громко сказал председательствующий.

— Которая приведет нас к катастрофе...

— Господин министр, я не могу позволить здесь таких речей!— В тоне председательствующего послышалась истерическая нотка.оборот, который приняло дело, был явно неожиданным не только для господина Лала Махдий...

Вечер принес едва заметно прибавлявшуюся прохладу. Сабир Тохтабаев и Гуломали Коргар какое-то время отдыхали во дворе гостиницы, выпили чаю, сидя на сури¹ под туркаваком², пожевали свежих лепешек... И отправились в путь в полной уже темноте. Часа в три пополуночи, на дороге к Салангу, они сели в открытый, без верха, пестро изукрашенный автобус с надписью на боку «Басий милий» («Национальные автобусные линии»). Первые лучи зари зажигали уже окна кварталов, взбирающихся на гору, зубцы кушанских стен на Осмоийской горе³ краснели, как медь. Кабул провожал их доносившимися отовсюду заунывными призывами на утреннюю молитву.

О вчерашнем они еще не перемолвились ни словом.

В прохладной рассветной тишине звук мотора бурбихай (так называют афганцы свои разукрашенные автобусы) разносился особенно гулко, горные склоны возвращали эхо. Только одолев Саланг и ощутив на плечах первое тепло солнца, оба почувствовали себя свободными от сковывающих вчерашних воспоминаний, словно горький осадок обсуждения, оставшийся внутри,

¹ Сури — деревянное или глинобитное возвышение для отдыха и сна.

² Туркавак — клетка для перепелки, обычно с дном из тыквянки.

³ Осмоийская гора — гора близ Кабула.

и тревожащая суматоха большого города остались там, за горным перевалом.

Переночевали в Самангане, оседлали наутро свежих лошадей из караван-сарая. Лошади, словно почуяв привычное дыхание простора, поспешили вниз легкой рысью. Пообочь каменных дорог солнце весело освещало лоскутные, клонящиеся к северу, мазанные глиной, поросшие маками плоские крыши крошечных кишлачков, бахчи, прилегающие к глинобитным дувалам, заросшие травой приусадебные клочки земли, густозеленые луга, напоенные благодатной водой весенних потоков-пятидневок.

Этот бедный пестроцветный край был для Гуломали родным, прекрасным, успокаивающим миром. Ему стало легко, но казалось, что его спутник, проронивший лишь несколько скупых слов, все еще думает о вчерашнем; надо заговорить с ним на другие, более приятные темы, повернуть его обращенный внутрь себя взгляд к окружающему могучему и в то же время ласковому пейзажу.

— Сабирджан, почему вы не женаты до сих пор?..

Сабир улыбнулся. Очень уж неожиданным был этот вопрос после их долгого молчания. Но удивительно: броня молчания как бы разом раскололась. Раскололась — и свалилась с него, как тяжелый панцирь! Он почувствовал себя легко и, опершись ногами о стремяна, несколько раз приподнялся в седле. Гуломали вообще парень с распахнутым сердцем. Да, он ведь и раньше охотно заговаривал о семье, семейном очаге, детях, родственниках. Хотя самому ему трагически не повезло с семьей и детьми. Он больше не женился после того, как его молодая жена вместе с ребенком умерла при родах. Как-то неделикатно вдаваться в причины того, почему сильный, здоровый, такой привлекательный юноша ходит в холостяках; Сабир знает, что это проблема не простая. Во-первых, судя по рассказам Гуломали, он все еще не забыл и, похоже, не скоро забудет свою удивительную первую любовь. Во-вторых... «...Понимаешь, в наших краях жениться не такое уж ерундовое дело...» Правда — Сабир знает это по себе. «И я ведь кто? Всего-навсего небогатый геолог, скитающийся по горам и пустыням...» Так говорит Гуломали, сам же явно скучает по прелестям домашней жизни, недаром то и дело заговаривает о ней.

— Сказать по правде, Гуломали, есть у меня любимая девушка...

— Да-а?..— Гуломали оживляется.— И... красивая?

— Прелесть девушка... только... отношения у нас не простые.

— Ну, отношения! Отношения можно наладить. Ты... ты расскажи о ней...

— Ну, как расскажешь! Хорошая... красивая... очень... Мы вместе учились. Она тоже геолог. Одна из любимых учениц Сумбуль-ая...

— Э, не тяни, скажи откровенно, в чем там дело!

— Да ни в чем. Любит ее... еще один парень.

— Ну и что?.. Тьфу ты, господи! И пусть себе любит — его дело! А ты не отступай! Главное — сама девушка, она-то — на чьей стороне?..

— Манзура-то... на моей...— сказал Сабир, и сердце у него сладко екнуло оттого, что он вслух произнес ее имя. Он каким-то детским движением коснулся и погладил кожаную кисточку на выступе седла.

— Эге-е! В чем же загвоздка? Да ты выше голову! В следующую поездку домой женись и привози ее сюда!.. Манзура зовут?..

— Манзура...— повторил Сабир. И опять у него сладостно дрогнуло внутри. Он помолчал мгновение и добавил — осторожно, как бы сам не желая в этом признаваться, вынуждаемый только честностью:— У этого... у Деряева есть свое преимущество...

— Деряева?

— Ну, это фамилия того, другого парня... Он гидрогеолог, занимается гипотезами, теориями, сидит на одном месте... А мы, ирригаторы,— что? Сам же говоришь — всю жизнь в пустынях, домой приезжаем только на побывку... Какой женщине по вкусу муж-бродяга? И сейчас вот — они в Карши, а мы с тобой — здесь...

Последние грустные слова неожиданно сильно подействовали на обоих каким-то общим затаенным смыслом: парни замолчали. Мерный цокот копыт по каменистой дороге вдруг показался утомительным. А может, и вправду уже устали?.. Дорога все продолжала идти под уклон, ее уже сопровождали по сторонам знакомые оазисы, и засушливые низины, и белые курганы. Путники выбрали у деревни поляну, сплошь, как ков-

ром, покрытую маками, распрягли лошадей, положили в изголовье седла и растянулись на траве.

— Слушайте, дружище...— сказал Гуломали раздумчиво; исчерпав до поры ту, сугубо личную тему, он снова перешел на прежние, более церемонные интонации.

— Боюсь я, эти пройдохи все-таки всучат правительству свой проклятый проект! Надо нам ускорить работы, а?

— Надо,— сказал Сабир.

Тревога у них в душе, развеившаяся было, когда они миновали первый перевал от столицы, теперь, напротив, по мере отдаления стала сгущаться, как грозовая туча. Должно быть, оттого, что они больше не могли не только вмешаться, но даже и следить за развитием событий. А может быть, главное для них все-таки — делать свое дело? Конечно, это так, и все же...

— Они там многое наметили и подготовили,— снова сказал Сабир,— и, разумеется, не пожалеют никаких денег...

— Денег у них хватает! Особенно на такое... Чистая выгода!

— А нам приходится деньги считать и считать! Наша-то трасса пройдет по низинам, по районам оседлых племен, земледельцев... Не посчитаем наперед все как следует — народ нам не поверит, не поддержит, а без этого наш проект просто неосуществим!.. Вода должна подаваться только в пределах необходимости, только туда, где нужна. Сумеет все учесть, все правильно рассчитать — и наш проект будет очевидно предпочтительнее, чем их пресловутый «Проект Большой Аму»!

— Да,— сказал Гуломали.— Только мы должны представить его вовремя, раньше их... Не то пустят в ход свои подлые уловки, денежки свои — и тогда...— Он приподнялся на локте.— Вы даже не представляете, сколько у них в запасе этих подлых способов! Им служат и лицемерные ура-патриоты, и жадные невежественные бизнесмены, и просто продажные карьеристы... и торопливые политиканы, готовые за что угодно ухватиться, лишь бы подтащило их поближе к власти! И лживые обещания, каких мы себе никогда не позволим, и высокопарные лозунги, от которых нас тошнит... Им все равно...— Тут он вдруг остановился, что-то пришло ему в голову.— Вы согласны, что надо изо всех сил торопиться? Так почему вы, отказавшись

от трассы, которую мы изучаем уже полгода и почти отработали, вдруг накинудись на эти Хокбадские холмы?.. Разве мы так все не стопорим?..

Сабир покачал головой:

— Наоборот, Гуломжон... Я думаю, как бы ускорить...— Он тоже приподнялся, сел, стал рыться в своем рюкзаке.— Хокбадские холмы очень важны,— говорил он, продолжая рыться,— недаром... недаром меня всегда тянуло туда... тянуло, словно там сокровища зарыты... Ага! Вот!— Он вытащил и протянул Гуломали пожелтевшую брошюру.— Взгляните!— Он радостно засмеялся.— Ей-богу, мы наткнулись на открытие!

Гуломали укоризненно покачал головой.

— Смеетесь, а ведь дело серьезное... По сути, только мы, наш проект и может спасти правительство и страну от катастрофического решения...

— Да не смеюсь я, не смеюсь — радуюсь, что нам повезло!— Гуломали все еще глядел недоверчиво.

— Посмотрите сюда...— Сабирджан, слюнявя палец, листал желтые сухие страницы.— Вот! Видите, что написано? «Чорданахо». Речь идет о четырнадцати реках, стекавших с Хокбадских холмов!.. Эти реки превращали в цветник обширные вилояты — от северных границ до подножий Каракумов! В древности это были на редкость ухоженные оазисы... Где, где брали эти реки воду, почему высохли? Впрочем, не в том суть. Мы можем поднять к ним воду из Аму, но где они протекали? Вы же знаете преимущества старых русел! Если их найти, мы избавляемся от долгих изыскательских работ, от трудоемкой работы по изучению почвы, ландшафта, гидрогеологии пластов... Четырнадцать рек — это же четырнадцать каналов!..

— Но что это за книжка? Откуда взялась?..

— О том нам может поведать лишь ее автор!

Гуломали взял книжку — осторожно, как если б она спала летаргическим сном и теперь могла проснуться у него в руках,— и полистал.

— Слушайте, это же археология!

— Ну и что? Нам неважно — археология, зоология... Нам автор нужен!

— Автор — доктор Сухайль. Вот же...

— Да читать-то я умею, дорогой, мне не имя — мне сам автор нужен!

— Сам автор? Так я его знаю...

— Что-о?

— Ну да, он друг моего деда, много раз бывал у нас дома, но, кроме древних легенд, ничего интересного я от него не...

Сабир подскочил и с воплем восторга навалился на Гуломали, придавив его к земле; они стали кататься по траве. «Да тише вы! — хрипел Гуломали. — Да в чем дело?.. Тише, очки в кармане хрустнули!..» Наконец Сабир отпустил его, снова вскочил, отряхнулся и, разведя широко руки, словно собираясь обнять подернутый дымкой простор, завопил изо всей силы:

— Ого-го-о!.. Доктор Сухайль нашелся!.. Наше-е-елся! Ого-го-го-о!..

Гуломали стоял рядом и смеялся. Сабир толкнул его кулаком в плечо, потом схватил седло и побежал к лошади.

— Эй, Сабирджан, куда ж мы поедем?..

— Куда-а!.. Ясно: к вашему деду!

Вместо Дангара, где находилась база их изыскательской группы, они повернули лошадей к Мазари-Шерифу. Когда стемнело, им пришлось остановиться в большом кишлаке Пайки.

— Заночуем у моего дяди, — сказал Гуломали и направил коня к башенке мечети, что чернела на окраине темного кишлака. Лошади устали, крупы у них были влажные; почуяв привал и поочередно фыркая, они сами пошли по нужной дороге. Наконец замерцали тусклые огоньки. Усадьба дяди оказалась большой, да и людей в ней — полным-полно. «У него там родичи варятся в казане и танцуют на головешке», — сказал Гуломали, усмехаясь. Едва они въехали в распахнутые ворота, в глаза им бросились аккуратно сложенные кучи ровно нарезанного хвороста — их освещал огонь очага. На топот лошадей из глубины двора двинулись тени.

— Дядя встречает, — сказал Гуломали.

Они спешили, кто-то проворно ухватил лошадей за поводья и увел, а перед путниками возник крепкий, крестьянского вида человек с фонарем в руке; зеленая чалма, борода клинышком и тоже вроде как с прозеленью, длинный сложенный чекмень накинут на плечи... Человек явно разменял пятый десяток. Поставив фонарь наземь, он обнялся с племянником, затем со слова-

ми «ассалому-алейкум» повернулся ко второму гостю, сложил руки на груди и повел их в дом.

Пока они шли, на них поочередно взглядывали десять или пятнадцать широко открытых окон и дверей, зазывно выдвигались вперед пристроенные к низким оштукатуренным глиной стенам деревянные айваны с гостеприимными сури и супами. Наконец хозяин пригласил их в большую комнату, где поверх камышовых циновок был постелен ковер. Вокруг столика на низких ножках стремительно появились курпачи — подушки в форме валика; двор и гостиная оживали. Гости уселись.

— Ну,— сказал дядя, поглаживая бороду,— добро пожаловать, слава аллаху, аминь!— Он повернулся всем корпусом к Сабиру:— Как здоровье ваше, гость? Очень хорошо, что приехали, а то мы слышали — у Гуломали советский попутчик... Спокойно ли у вас дома?..

Вопросы его, в сущности, почти не требовали ответов — только вежливых поклонов, кивков, поддакиваний, так же, как и слуги дома не ждали приказаний: все делалось словно бы само, по извечно згведенному порядку. Вежливая беседа продолжалась, а кто-то, едва видимый в полутьме, приносил воду для мытья рук, полотенца; кто-то расстилал дастархан; кто-то ставил на него хлеб, чай, сладости. Речь зашла о строительстве канала, и дядя с деловитой дотошностью несколько раз уточнял: правда ли, что воды Аму доберутся и сюда? Правда ли? А когда? Много ли придет воды?

— До этого еще далеко, дядя...— сказал Гуломали.

Сабир чувствовал, что этот средних лет крестьянин с его наивно задаваемыми вопросами на деле вовсе не наивен, не прост; в свете чорака — большой копилки с фитилем, открыто уходившим в масло,— глаза дяди хитровато, остренько поблескивали; его не удивляет, что юноши взялись за огромное, смелое дело, для него даже не слишком существенно, что один из юношей — его племянник: ему важно, чтобы пришла вода. Впрочем, он понравился Сабиру; подражая Гуломали, Сабир тоже стал по-свойски называть его «дядей».

— Скажите, дядя, а если в один прекрасный день мы пригласим жителей близлежащих кишлаков на хашар — придут они? Помогут? Как вы думаете?

— Мы-то обязательно поможем, гость, обязательно! Я сам приду, со всеми домочадцами, слугами, только позовите!— Хозяин дома сказал это, кажется, с ис-

кренним энтузиазмом, даже лицо у него вроде чуть разгладилось, помолодело, и стало видно, что маленькая, с проседью, борода ему к лицу. — Однако, — добавил он веско, — такое дело надо решать на совете улуса! Чтобы и чины знали, и шейхи, и муллы... Нет, люди пойдут, но в наших местах много «вет», бездельников...

Сабир вопросительно взглянул на друга.

— Это пришельцы, которые получают землю по жеребьевке, — объяснил Гуломали. — Есть такой обычай, остался от кочевников...

— Да, да, — подхватил дядя, — эти соседи сплошь бедняки, землю не любят — и понятно: пот свой на ней не проливали... На хашар они не выйдут, нет! А о кочевниках и говорить нечего, им даже и не объяснишь, что такое хашар: вытопчут одно пастбище, соберут пожитки — и давай на другое!

— Мы же и пастбищам их дадим воду!

— Дадите — выпьют, используют... а потом все равно перекочуют.

— А может, — сказал Сабир, — если «этим соседям» дать землю, воду — они в конце концов преисполнятся любовью к земле, останутся?.. — Но, сказав это, прикусил, хоть и с запозданием, язык. Вот идиот, сказал он себе, забыл, где находишься, — кто ж это даст им землю и воду?..

Собеседники ответили ему продолжительным молчанием. Сабир не знал, как выбраться из неловкости, но тут хозяин сам нашелся.

— Гуломали, — сказал он, — не желаете ли поздороваться с тетушками?

Они поднялись и вышли из комнаты, а Сабир возблагодарил судьбу за избавление; впрочем, может, им впрямь нужно было о чем-то поговорить с глазу на глаз.

И тут в комнату вошла девушка. В руках у нее был чайник и несколько пиал. Когда она появилась в дверях, Сабир на мгновение даже зажмурился, словно к лицу приблизилось пламя: девушка была ошеломляюще, обжигающе красива! Ты не успеваешь это даже понять, а именно чувствовал, как чувствуют неожиданный жар...

Она сняла у порога кауши и, кажется, поздоровалась, но Сабир не ответил, не услышал — он был словно загипнотизирован этим небывалым виденьем. Девушке было лет шестнадцать-семнадцать, не больше, ее

цветастые штаны спускались до щиколоток; когда она нагнулась, чтобы взять касы, и наступила смуглыми босыми ножками на край скатерти, он словно увидел под коротким широким ситцевым платицем все нежные округлости ее тела. Но она тотчас выпрямилась, чудесным движением отбросила за плечо толстую черную косу — и от нее повеяло пламенной молодостью, тончайшим запахом сандалового дерева, ароматом каких-то потаенных желаний. На голову девушки был не очень ловко, но кокетливо намотан платок; слегка прикрыв им свое молочно-бледное, овальное, непередаваемо милое личико, улыбнувшись одними припухшими губками, она тихо сказала «откушайте» и вышла. Сабир теперь только понял, что не ответил на ее приветствие. Но ему не было стыдно, все в нем сместилось, как бывает во сне. И это виденье девушки было как сон — невыразимый словами, пронзительный, немислимый сон, который, пробуждаясь, пытаешься — не восстановить, нет — только сохранить в себе подольше, но он улечивается, меркнет, теряет яркость, а все еще долго-долго наполняет светом твое существо. Он огляделся затуманенными глазами, просторная комната теперь показалась ему тесной. Ему хотелось броситься в дверь, в которую вышла девушка; «что ж они оставили меня одного», пробормотал он сам себе, не очень отчетливо соображая в то мгновение, кто это — «они»; и тут вошли дядя и племянник — вошли со словами:

— Не скучаете ли, гость?— И понемногу вернули комнате ее прежнюю атмосферу.

Слуги внесли новые кушанья, беседа возобновилась. Но разговор, казалось Сабире, проходил теперь на фоне колеблющейся нежно-розовой или сиреневой кисеи и между репликами, своими и чужими, Сабир то и дело задавал себе вопросы: действительно она вошла? И зачем вошла? Ах да, принесла что-то... И кто она?

Когда им постелили на супе под старым тутовником, он все ворочался с боку на бок, не мог уснуть. Должно быть, неподалеку находился хлев: слышно было, как жует скотина, куры тревожно трепыхались, устраиваясь на насесте. Звенели цикады.

— Знаете, зачем дядя позвал меня выйти с ним?— вдруг спросил Гуломали. Он тоже не спал, думал о чем-то.

— Зачем?— тупо сказал Сабир, едва отрываясь от своих мыслей.

— Чтобы снова спросить, верно ли, что сюда придет вода Аму.

— А-а...— Сабир вяло собирался с мыслями, потом сказал:— Ну, естественно... он же дехканин.

— Да нет же, не так уж естественно!.. Если точно, что придет вода, так он скупит земли тех бедных соседей!..

— Что?..— Сабир вдруг отрезвел. Нежно-розовая кисея резко заколебалась под ветром — и растаяла.— И что, у вашего дяди хватит сил скупить все это?

— Ну конечно, это ведь дешевые, заложенные земли. И все эти соседи — должники дяди! Они просто отдадут землю за долги.

— А сами?

— А что сами? Даже если и останутся без ничего, все равно будут довольны, что от долгов избавились: в брюхе пусто, зато на душе спокойно...

— А земли большие? Если все вместе?..

— Большие.

Сабир рассердился; он не сразу сам разобрался на что — то ли на то, что предавался сладостной сиреневой грезе, пока тут замышляется такое; то ли на друга, то ли за друга на его дядю... Нет, не то, ерунда: суть в том, что вот, оказывается, к чему приведут их усилия во имя людского блага — к тому, что в итоге бедных людей ограбят дочиста!..

— Гуломали, простите меня, дядя-то ваш, оказывается, хищник...

Гуломали помолчал, не двигаясь.

— Хищник...— сказал он наконец негромко. Еще помолчал и прибавил:— Мелкий хищник. Есть и по-крупнее.

— Выходит, наши труды...

— Да, и я об этом думаю. Проведем сюда воду, а это послужит только к обогащению богатых и полному обнищанию бедняков... Правильно вы когда-то сказали: эти тысячи засушливых танапов ждут не только воды — они ждут социальных перемен!..

— Это не я сказал — это великий человек сказал.

— А когда приходит вода у вас, что делают дехкане?

— У нас... Ну, сперва строятся совхозные поселки, оросительная сеть; потом поля разравнивают, сады сажают. Приходит вода — и все оживает... Народ, переселяясь на новые земли, встречает воду как праздник!

— И мой дядя тоже готовится... к приходу воды! — Гуломали резко привстал, точно змеей укушенный, вытер кулаком глаза. Не плакал же он? Может, подумал Сабир, обиделся на мои слова?

— Гуломали...

— Я... Почему я такой бестолковый, беспомощный, а, Сабирджан?.. Работать могу, а повернуть что-то в жизни... И сделанное радости не приносит... Иной раз хочется все бросить, от всего отказаться!

— Ну да! И пускай является господин Лал Махдий и проталкивает свой предательский проект! — Сабир ухватил друга за руку, хотел поднять, приободрить; но рука была вялая, холодная, Сабир понял, что Гуломали сейчас нужно сочувствие, мягкость; он отпустил его руку и сказал, стараясь как можно больше смягчить тон: — Дружище, знаете, как это называется у нас, узбеков? Сжечь одеяло, чтобы блох извести... Почему, говорите, вы не рады? Ну, почему? Если мы предложим дешевый и разумный проект и заставим отступить этих мошенников, разве уже это само по себе — дело не стоящее? А ведь оно в наших руках! Чего ж отчаиваться...

Гуломали, не поворачивая к нему лица, одной рукой взял его за плечо, как бы говоря «простите», и легонько встряхнул.

Они улеглись, но так толком до утра и не заснули. А на рассвете со стороны ворот донесся шум, ишак заревел во всю мощь, как пароходная труба, со скрипом открылась дверь конюшни. Не успели они встать, как у супы появился низенький старик, борода лопатой, в крапчатой чалме; тяжело дыша, он усталился на гостей, потом, сняв кауши, полез на супу и подвинулся к Сабиру:

— Эй, хорошо ли добрались, дорогой, да паду я за вас жертвой? Милости просим! Пришла весть — тут гость из Сурхана, так я тут же, ночью, поднялся, сел на своего ишачка и стал погонять что было сил — слава богу, застал! Слава богу!

Полураздетый, не в силах освободиться из объятий мощного, пахнущего потом старика, Сабир чувствовал себя глупо. А старик все продолжал свое:

— Э, как хорошо, хорошо-то как, что приехали, родненький, — надеемся, здоровье ваше в порядке, а мы-то ждали, в четыре глаза глядели — не приедет ли кто с родной стороны! Здоровы ли родители ваши? И родственники, и соседи...

Наконец он выпустил Сабира, и, пока тот одевался, старик провел ладонью, которой касался плеча юноши, по бровям своим и губам, вытер слезы поясным платком, уселся на край супы и снова затянул благословения.

— Да пребудет родина наша в благоденствии, пусть у вас, родненький, будет хорошая свадьба, аминь!— заключил он, захватив пятерней свою лопату-бороду на шерботом подбородке.

— Откуда ж вы, бобо?— спросил Сабир.

— Из Денау приходим, родненький, называют нас Хайриддин-долговязый, зятем приходимся Ходжикулу-уряднику, может, слышали?

— Да-а...— сказал Сабир неопределенно. Смех. Кто теперь может помнить у р я д н и к а Ходжикула, которому этот старец приходится зятем? Но разочаровать старика не хотелось. Впрочем, тот в волнении и не заметил неопределенности ответа.— Мы из Карши, отец. Как вы сами, домашние, здоровы ли дети?..

— Э, пусть будет вам счастье в жизни, сынок, спасибо, все мы в руках божьих, вот здесь свой хлеб насущный нашли... А в Денау-то вы бывали?

— А как же! Если не раз в неделю, так уж в месяц раз обязательно бываем, работа такая!

— А?..— Старик подозрительно глянул на Сабира покрасневшими от слез глазами: не разыгрывает ли его молодой джигит? Ему, видно, не очень-то поверилось в возможность ежемесячных поездок из Карши в Денау и обратно. Но дорогие воспоминания справились с этим сомнением.— Да, а Дунганарык все так же шумно течет?

— Шумно, отец! Грохочет...— Сабир знал: нет сейчас в Денау такого арыка. Старик обрадовался и окончательно отбросил прочь сомнения:

— Вот-вот! Грохочет!.. А над Тимуровым мостом тутовое дерево было, одинокое, не срубили?

— Стоит, бобо! Цветет старое дерево...

Старик снова возбужденно бросился к Сабиру, повис у него на шее, заплакал, затрясся всем телом. Господи, как бы его успокоить, бедный старик, жизнь-то прошла, и тяжелый, черт, как бы шею мне не сломал, а все равно жалко, у самого в горле першит, может, и впрямь растет там старый тутовник, а я не видел, бедный старик...

— Нам пора, Хайридин-бобо, торопимся,— сказал Гуломали.

— Знаю, знаю, дети мои, роптать на судьбу — грех, что ни есть — все от бога... Но старик что дитя, уж не обижайтесь...— Он отпустил Сабира, отступил на шаг, встряхнул головой, точно отгонял волнение, — и вдруг, сверкнув глазами, повернулся к Гуломали:— Э, а куда это вы спешите, а? Я встал в полночь, вышел в путь, торопился, чтобы не присмотрели себе другое местечко погостевать... Не-ет, едем к нам, к нам едем, я ж за вами прибыл!

— Нет, бобо, спасибо вам, спасибо, но мы не можем к вам поехать,— сказал Сабир.

— Э, не обижайте меня, гость, не обижайте, сын мой, я даже не спросил имени вашего, вы для меня — не вы, а молодость моя, что на миг проглянула, вся моя жизнь печальная, родина моя, что мне каждый божий день снится...

— Хайридин-бобо, у нас дело очень важное, нельзя отложить,— вступил Гуломали,— но потом обязательно навестим вас, правда, Сабирджан?

— Конечно, конечно, обещаем!

— Видите?— сказал Гуломали.— Раз обещаем — приедем!

— Нет!— сказал старик и снова заплакал. Он попробовал было стать перед ними на колени, но Гуломали успел его перехватить и сказал:

— Мы едем к Садыку Сардору!

Старик замер, потом по очереди внимательно глянул на них мгновенно просохшими глазами.

— Да?— переспросил он.— Тогда другое дело. Если к Сардору — езжайте быстрее, не опоздайте! И Сардору от меня передайте поклон, непременно передайте поклон...

Когда после завтрака оседлали лошадей и тронулись в путь, в голове Сабира роилось множество вопросов. Едва взошло солнце, лесовые дороги Мазари-Шерифа раскисли, копыта лошадей уже не цокали и мягко почавкивали, но вокруг царила бескрайняя тишина, располагая к размышлениям. Мысли, впрочем, были не сосредоточенные, рассеянные, как отдельные белые облачка в огромном синем небе. Перегнувшись в седле, Сабир сорвал с обочины еще не расцветший побег джи-

ды, втягивал ноздрями его нежный, настойчивый аромат — и вдруг вспомнил, как тряслись плечи у плакавшего старика. Как сложна жизнь, и как в ней все немислимо перемешано: беда и радость, ликование и тоска, жадные расчеты и неисполнимые желанья... И как дальше-то все пойдет? Их-то планы, споры, усилия, надежды чем обернутся? Все это вдруг вообразилось Сабиру парами, подымающимися от земли, собирающимися в облака, тучи — несущимися бог весть куда... Где, когда выпадет все это дождем? И жданным ли, благодатным — или, напротив, надоевшим, проклинаемым?..

— Хайридин-бобо приехал сюда в двадцатых годах,— неожиданно заговорил Гуломали; видно, решил, что пора все объяснить.— Он приходится тестем моему дяде.

— Эх-ха...

— Да. Старшая жена моего дяди была дочкой старика Хайридина.

— Понятно... Он живет здесь, в Пайки?

— Да, в узбекской части.

— Зять-то старика не обижает?..

— По-моему, нет,— осторожно сказал Гуломали.

— Выглядит старик бедняком...

— Ну, в свое время он тоже был богат. Правда, самым большим его богатством была дочь. Ее красота стала легендой в этих местах. Так вот, пока красавица дочь была при нем, был он человеком имундим и авторитетным... Ушла дочь — ушло и везенье. У нас такие вещи судьбой зовут...

Сабир вдруг ощутил приближение уже знакомого неожиданного жара. Что это? Красавица дочь... та, вчерашняя девушка... какие-то две ниточки, точно провода, соединились у него в мозгу и осветили все ослепительно ярким светом.

— Слушайте, Гулом... Кто была вчерашняя девушка?

— Девушка? Вчерашняя?.. Какая девушка?

— Ну, та, что принесла чай в гостиную, когда вы вышли...

— Так я ж не видел... А, Зулейхо, наверно?

— Да, наверно,— сказал Сабир; ему почему-то вдруг показалось, что имя девушки и не могло быть другим.

— Так это ж дочка дяди!— сказал Гуломали и бросил на Сабира быстрый взгляд искоса.— И единственная внучка этого самого старика... А что?

— Нет, ничего...

Сабира даже пот прошиб. Наверное, лицо все красное...

Гуломали засмеялся:

— Эй, будьте осторожны! Не то Манзура догадается...

— Да о чем вы! Что ж, спросить нельзя?

— Спросить можно, сколько угодно... Просто хочу вас предупредить: ее покойная мать в молодости каких только парней с ума не сводила... Если она похожа на мать...

— Сказать по правде, и она может с ума свести...

Гуломали снова засмеялся:

— Даже та-ак?... С первого взгляда?

— А что, ее можно увидеть еще раз?

Гуломали натянул поводья.

— Ну-ну... Вы это серьезно?

— Не знаю...

— Послушайте, Сабирджан, у нас есть поверье: за чересчур красивыми девушками по пятам несчастье ходит. Я знаю Зулейхо, но остерегаюсь. Ведь это — как в азартной игре: или огромный выигрыш, или полное разоренье... или счастье великое, или горе на всю жизнь!

Сабир попробовал свести все к шутке:

— Да вы, оказывается, ходячее суеверие!

— Я — может быть... а вот вам, выходит, верить нельзя... Манзуре обещание давали?

— Это при чем?

— То есть как — при чем?

— Слушайте, Гулом, речь же идет о чуде, о необычайной красоте... Такому чуду и можно, и нужно поклоняться... Просто поклоняться... Оно так редко, что не могут на него распространяться обычные законы и правила... Красота не вмещается в бухгалтерские графы... Разве я не прав?

Гуломали только поглядел на него, покачал головой и ничего не сказал. Так они и поехали в молчании, и лошади, почуяв настроение всадников, замедлили ход и неторопливо шли бок о бок. Почувствовалась близость города — поднимая пыль, стремительно проскакал навстречу верховой, следом прошагал, погоняя бы-

ка хворостиной, дехканин, за ним, по обочине, шла, должно быть, жена его с ребенком; немного погодя Сабиру и Гуломали пришлось обогнать табор кочевников — гортанно переговаривались, перекрикивались люди, скрипели арбы, свистели плетки, пыль стояла столбом...

Обгоняя табор, они поехали быстрее и уже не сбавили скорости; встречный ветер освежил, приободрил их. И дорога пошла вниз.

— Слушайте, Гуломали,— сказал Сабир, вдруг вспомнив то, что его удивило утром,— а с чего это Хайридин-бобо так переменялся утром, едва услышав имя вашего деда? Прямо как по волшебству...

— В этих местах имя деда на всех оказывает такое воздействие. Это все его былая слава. В молодости он был близок к Амануллохану... Принадлежал к его свите...

— Но в свите Амануллохана было, наверное, много народу — они что, все до сих пор пользуются таким почетом?

— Нет, конечно. Да их и не осталось почти, я думаю... Видите ли, Садык Сардор завоевал особое доверие Амануллохана и был среди тех, с кем шах отправил до Ташкента свое письмо Ленину... К тому же дед был самым молодым среди посланных с письмом, а теперь он — единственный из них, кто еще жив...

— Понятно,— сказал Сабир. Он вдруг ощутил робость.— А теперь...— он выдержал кратчайшую паузу,— ...теперь чем он занимается?

Гуломали улыбнулся:

— Теперь он исповедует идеи Икбала!

— Икбала? Поэта Икбала?..

— Да. Он проповедует его учение, и весь улус смотрит ему в рот. Когда-то, защищая своего шаха от банд Бачасако, он был тяжело ранен в битве при Маймане, потом вышел в отставку в звании корноила¹. Его возмутила заносчивость преемников Аманулло, он уехал в эти края, в отцовское поместье — да тут и остался.

— И что?

— Ничего. Так и живет с тех пор. Он здесь вроде неофициального вождя, что ли. Хотя его никто никуда не выбирал. Но, где бы ни появился, его встречают как святого. Если назвать имя «Садык Сардор», задумыва-

¹ Корноил — полковник.

ются вожди самых воинственных племен... Но и врагов у него хватает! Правда, когда мы ему говорим: «Будьте осторожны», — он неизменно отвечает: «Теперь меня только бог возьмет!» Словом, сами увидите. Дед мой — выдающаяся личность!.. Когда будете с ним беседовать, не забудьте спросить об Икбале... Сразу его к себе расположите. Икбал — это для него целый мир...

— А что его сын, ваш отец?..

— Отец мой был как все. Обыкновенным торговцем. Перевозил на лошадях тюки с шерстью через Читральский перевал. Когда Амануллохана изгнали в Рим, Садык Сардор послал с ним своего сына. Об отце долго не было вестей, только через десять лет он вернулся. Больной, бедный. И вскоре умер. Ну, в народе и стали говорить, что Сардор во имя своей дружбы к шаху пожертвовал сыном... И почтение к деду стало еще выше... •

— Послушайте, Гуломали, так запросто заехать, беспокоить такого человека...

— Ну что вы! Наоборот, он обидится, если не заедем! Дед очень интересуется всеми моими делами, я ведь у него воспитывался. Он мне вместо отца... — На губах Гуломали появилась мягкая, добрая улыбка. — Вечно меня наставлял: учись, учись! Наша жизнь прошла в битвах, а ты учись! Страна не вечно будет такой, как сейчас, еще свершатся великие события, и люди тут будут ох как нужны! Ты, говорит, должен быть моим продолжением... Отдал меня учиться в Кабульский университет... Замечательный он старик, сами увидите, Сабир. Знаю, конечно, он не великий мудрец и не пророк, но когда он говорит, я, как и прочие, готов верить любым его пророчествам... Что-то в нем есть... такое...

День кончался, небо за снежными пиками Гиндукуша потемнело, а слева пламенели в зареве низкие равнины. Шумели в прохладном ветерке качающиеся ряды тополей, абрикосовые сады, примыкающие к старым усадьбам на окраине города; легкие облачка пыли, взметаемые ветерком на дороге, переливались в последних лучах солнца, как обрывки шелкового занавеса. Едва на садовой улице показались два всадника, на глинобитные крыши, поросшие тюльпанами, высыпали дети — шумливые девчушки, одетые в красное: так они встречают и провожают каждого путника.

Двор Садыка Сардора существует, наверное, с незапамятных времен; старые нештукатуренные дома, легкие каркасные надстройки над первыми этажами; колодец на краю неухоженного цветника; большой запущенный сад за постройками... Только аккуратный новый дом на переднем плане радует свежей побелкой, поблескивают стекла широкой закрытой веранды.

К этой веранде путники и направились, как только привязали лошадей в хлеву, задали им овса и стряхнули пыль с сапог. Из мягкого кресла за низким полузаваленным столом им навстречу поднялся высокий сухощавый старик — с крошечными серебряными усиками, в зеленой феске на лысой голове, в наброшенном на плечи халате из адраса¹. Сабир примерно таким и представлял себе старого Сардора, но все же не думал, что на девятом десятке лет человек может оставаться столь стройным и подвижным. Рослость и статность его фигуры еще более подчеркнул полувоенный камзол из серого сукна, со стоячим воротником и медными пуговицами, когда старик, встав при виде гостей, резким движением сбросил с плеч халат. Гуломали, подбежав к деду, положил ему голову на грудь, затем, нагнувшись, поцеловал полы его камзола и отошел в сторону, как бы уступая место другу.

— Это и есть ваш советский товарищ? — с улыбкой сказал Сардор. — Слышали, слышали...

Сабир, приветствуя старика, почти повторил ритуал, продемонстрированный Гуломали, но от волнения не мог ни слова вымолвить. Величавость старика его подавила. Стараясь овладеть собой, Сабир огляделся. Всюду вокруг были книги: на столе, на высоких полках за канделябрами, в нишах; даже просто на ковре они лежали стопками — древние фолианты в коже, рукописные и печатные, изящные современные книги на многих языках, изданные на Востоке и Западе, — многоцветье обложек, пестрое разнообразие шрифтов... Никогда прежде Сабир не видел пестрого и такого красивого книжного собрания!..

Старик заметил его восторженный взгляд и сказал просто, без нарочитой небрежности:

— Я вижу, вы заинтересовались книгами, дорогой гость, но не обольщайтесь — они собраны как попало,

¹ А д р а с — полушелковая узорчатая ткань кустарного производства.

откуда попало, я ведь не ученый, это просто забава моей старости...

— Но какие замечательные издания! Никогда не видел таких... Здесь, наверное, есть большие редкости?..

— Может быть, и есть,— сказал Сардор с той же легкой, ненарочитой простотой.— В редкостях я не очень разбираюсь, покупал в свое время что нравится... Но вы сможете посмотреть все, что захотите! Прошу вас, сядем...— Он двинулся к почетной, свободной стороне стола, и тут только Сабир увидел: левая нога хозяина почти не гнется. Старик уселся первый и снова пригласил Сабира жестом:— Прошу!.. А вы, Гуломали, распорядитесь приготовить все для плова. И пожалуйста, постарайтесь для такого гостя, сделайте плов своими руками, настоящий узбекский...

— Бобо,— сказал Гуломали,— не обижайтесь, но нам не до плова. У нас очень мало времени...

— Ну, ну, не разочаровывайте старика, я ведь ждал вас с большим нетерпением и кое-что знаю о ваших делах... Не до плова так не до плова, хотя, конечно, это нарушение приличий! Но рассказать-то обо всем у вас время найдется?..

Волнуясь, перебивая и дополняя друг друга, они стали рассказывать о своем проекте, о «Проекте Большой Аму», о том, как проходило обсуждение в министерстве... По репликам старика нетрудно было догадаться, что он и впрямь во многом осведомлен. За разговором они едва заметили, что принесли чай, сладости, лепешки; кажется, что-то пили, жевали что-то...

Старик наконец встал, постоял так с минуту, опустив голову, не то размышляя, не то припоминая; потом, прихрамывая, прошелся по ковру в своих мягких американских ботинках — взад-вперед...

— Да!— сказал он, вдруг остановившись.— Вам действительно надо спешить. Ясно: тот берег интересует их куда больше, чем Афганистан. Что ж, компания «Джеймс Моррисон» и в наше время была приютом разведчиков и диверсантов... Мой «приятель» полковник Лоуренс тоже в ней обретался. Он руководил своими людьми из города Точ... А этот — как вы сказали? Лал Махдий? Хм... Лоуренса звали Пири Карамшах!.. Эта проектная группа принадлежит, конечно, к новому поколению, и задания у них новые. Можно примерно догадаться какие...— Он посмотрел на Сабира.— В ваших, сынок, южных вилоятах делается многое, что

колет им глаза. Ваши планы в Каршинских и Шерабадских степях, в Каракумах... Они жаждут сорвать эти планы, хоть как-то нанести урон Аму... пустить на сторону ее воду... и вбить клин между вами и правительством Мухаммеда Дауда! Да, да, так оно и есть...

Сардор сел за стол, помолчал. Потом заговорил снова:

— Я думаю, вы избрали правильный путь... Их нужно остановить, не то будет беда и для того и для этого берега, и нет другой возможности, кроме как противопоставить ваш проект ихнему. Вы правильно сделали, сынок, что напомнили во время обсуждения о советском опыте. Этот опыт и будет основой вашего проекта, не так ли?

— Да, бобо,— сказал Гуломали,— но у нас...

— ...У нас есть и кое-что новое!— торопливо преврал его Сабир.— Кое-что еще!

— Новое?..

— Да!.. Видите ли, некоторые наши молодые ученые разрабатывают проблему сухих русел. Старых русел, по которым текли когда-то реки... И, вы понимаете, получается, что это, в сущности, готовые каналы!.. Как раз сейчас мне попала в руки старая книжка... В ней говорится о четырнадцати речках, что текли когда-то с Хокбадских холмов. Автор несомненно знал их русла!.. Но я, к сожалению, не знал автора,— и тут Гуломали говорит, что это ваш друг...

— Мой друг?— спросил старик настороженно.

Сабир торопливо вытащил брошюру и протянул ему. Но тот едва взгляделся в обложку — и с гневом, с возмущением швырнул книжку на стол.

— Это имя...— сказал он сквозь зубы,— ...я не желаю это имя даже слышать в моем доме!

Лицо у него померкло, посерело.

— Бобо...— тихим, встревоженным голосом спросил Гуломали,— вам плохо?

— Чего уж хорошего?!

Старик замолчал, и молодые люди молчали тоже, боясь вызвать новый приступ раздражения, так, казалось, не вязавшегося с обликом старого Сардора. Наконец Сабир не выдержал:

— Когда доктор... хм... изучал древние русла Чорднахра...

Но старик бросил на него холодный взгляд, и Сабир проглотил вторую половину фразы. Снова потянулось молчание, пока старый офицер сам не прервал его.

— Гуломали был прав: мы были друзьями...— Голос у него был подавленный и, казалось, через силу исходил из гортани.— Были... я ошибся... этот человек оказался не тем, чем... чем казался...— Старик поморщился, может быть, от случайной, неуместной игры слов, но поправлять себя не стал.— Сначала мы услышали, что он... присоединился к группе «Большой Аму». А потом... Вот!— Он обернулся к полке, взял несколько газетных вырезок и протянул Гуломали.

Вырезки были из газеты «Кабул Таймс»— на одной сохранилась часть названия газеты. Гуломали перебирал их, пока не увидел маленькое, обведенное красным карандашом сообщение: известный археолог доктор Абу Матлиб Сухайль, из личных и идейных соображений отрекшись от Родины, уехал в Америку... Гуломали молча показал это Сабиру.

— Ну?— сказал Сардор.— Видели? «Из личных и идейных соображений...» Трус, беженец! Как будто есть соображения, которые оправдывают отречение от Родины! И я был слеп... Сперва он все хныкал и жаловался, что не уважают ни его, ни его профессии... что нет сил переносить это все... а потом... И я, старый дурак, столько времени продолжал считать его другом!.. Предателя!

Казалось, он задохнулся от собственных слов — и замолк.

Молодые люди глядели в пол.

— И это,— сказал Сардор после долгой паузы,— еще не все...— Он передохнул, как будто ему все еще не хватало дыхания.— Он оставил здесь жену... оставил соломенной вдовой. Я знал, что она осталась с сыном-шалопаем и плачет кровью... Приказал разыскать этого мальчика, хотел взять на воспитание... Нет! Он пристегнул к поясу кинжал и примкнул к отвратительной толпе, которая называет себя «Бдительная молодежь». Есть такие недоделанные... полувоенная организация, руководят ею офицеры-шовинисты. Хотят воспитать «львят отчизны»!.. А пока что вытравливают из мальчиков любовь и вообще все человеческие чувства... Алчный, невежественный сброд... эти офицеры... играют молодыми жизнями... с огнем играют! И устроят пожар... в конце концов...— Он опять передохнул и за-

кончил:— Этот мальчик меня волнует куда больше, чем его отец. Об отце я и знать не хочу.

Интонацией он словно поставил окончательную точку под разговором. Сабир взглянул на него и поразился. Могущественный дед Гуломали, только что вызывавший восхищение своей выправкой, скрытой силой, барственной простотой и свободой речей и движений, в несколько минут превратился в слабого, едва ли не дрожащего старика... Бедняга, подумал Сабир, нелегко это ему далось... да и вся жизнь...

— Ну что ж,— сказал он, вздохнув.— Вы правы, конечно. Ничего не поделаешь, будем искать русла сами... Напишу Сумбуль-ая, может, ей что-нибудь известно...

— Да, да, напишите!— подхватил Гуломали.

Старик глянул на Сабир, в глазах его снова мелькнул интерес.

— Ну,— сказал Сабир,— нам нужно спешить... Простите нас, бобо, что доставили неприятности, и разрешите идти...

Было уже поздно, начинало смеркаться. Но — удивительно — остаться на ночь Сардор им не предложил. Он только поднялся — с трудом,— чтобы их проводить.

— Сынок,— сказал он вдруг Сабиру прежним ласковым тоном,— вы помянули имя... Сумбуль... и раньше уже, кажется, поминали... Кто это?

— А-а!.. Это академик Сумбуль Садриева, наш учитель... очень уважаемый, очень известный ученый!..

— Ага... ученый... Сумбу-уль...— Он протянул звук, как будто ему доставляло удовольствие слушать, как он длится.— А откуда она?.. Сколько лет?..

Сабир даже несколько растерялся. Он не помнил — а может, и не знал?— откуда она родом. Но потом воспоминание мелькнуло у него в памяти.

— Я точно не знаю...— сказал он.— Но, кажется... из Шерабада. А сколько ей лет... Как-то неприлично у женщины спрашивать... Юбилей она справлять не любит... Мы уже давно привыкли называть ее «аяя»! Уже лет десять —«ая», «ая»... Я думаю, под семьдесят...

Старик кивнул. Потом обнял внука, поклонился Сабире. И, сутулясь, прихрамывая больше обычного, проводил их до двери веранды.

...О романтика тех лет! Юность, светлые мечты, захватывающие идеалы... Мы — молодые офицеры, только что закончившие школу Хабибия и перешедшие в военный колледж; под носом у нас маленькие, как жучки, усики, под мышкой — газета Махмуда Тарзи «Сирадж ал-Ахбор»; мы смеемся над термином «джихад», который провозглашают Старые афганцы. Эти невежды, все еще не желая признать русскую революцию, продолжают считать мировую войну незаконченной! Но нам-то известна доподлинно суть всего, что происходит в мире! Мы же не кто-нибудь, мы — Молодые афганцы; мы изучили кучу всего, что и не нюхали старшие поколения. А главное — Икбала... Икбала я не просто читал — штудировал, знал наизусть, как и его учителя Джамолиддина Афгани; декламировал на площадях поэму «Пайёми Ашрик», посвященную любимому нашему вождю Амануллохану. Самостоятельный путь Афганистана был для нас очевиден. Когда в то майское утро у Кабульского дворца Амануллохан, обнажив саблю, клялся в этом перед нами, мы, надрывая горло, выкрикивали: «Да поможет бог эмиру Амануллохану!», «Смерть английским тиранам!», «Да здравствует независимость!», «Вперед, Молодые афганцы!»

Удивительная весна!.. Она была и в стране, и в душе. Молодой эмир — наш единомышленник и друг, время работает на нас, в государстве все кипит, вокруг масса дел — а мы переполнены энергией и отвагой...

В один из первых дней Амануллохан вызвал меня к себе. У каждой двери Арка — свои, молодые офицеры, да и сам эмир все тот же: гимнастерка со стоячим воротником, широкий пояс, блестящие сапоги... Я почувствовал себя так, словно вошел в родной дом. Но уже через мгновение понял: хотя Амануллохан и в прежней форме офицера, но он теперь уже эмир, меж нами появилась дистанция, которую надо сохранять! Он поздоровался с такой строгой серьезностью, что я поневоле вытянулся во фронт. Правильно, сказал я себе, на его месте и нельзя иначе; и ощутил к нему только еще большее уважение... что там — обожанье!

— Мой верный друг! — сказал он.

Тон его, приказной, не вполне соответствовал этому обращению, но я, в приступе искреннего обожанья, был уже к этому готов.

— Собирайтесь в большое путешествие!

— Какое?!..— поневоле вырвалось у меня, хотя следовало принять приказ без слов, с воинской готовностью повиноваться. Трудно сразу перестроиться на иные отношения, но, черт возьми, сказал я себе, надо следить за собой.

— Этого я пока сказать не могу... Но путешествие будет долгим, серьезным, трудным... и весьма ответственным!

На этот раз я молча, резко и четко отдал честь, как и подобает офицеру. Впрочем, я тут же понял, что и сам Амануллохан не вполне вошел в свое положение: он ходил передо мной взад-вперед по своей приемной с одним окном и высоким потолком, чуть излишне скрипя сапогами, то и дело выпячивая грудь и толкая назад деревянную кобуру револьвера на боку,— она мешала ему при ходьбе. Он молчал, но и без слов было ясно: исторический груз, который он только что взвалил себе на плечи, давит его, он еще не привык решать судьбу целого государства. Конечно, это легко, только пока воображаешь в уме; а когда она уже у тебя в руках... Впрочем, оборвал я себя, ты даже и мысленно не вправе рассуждать об этом: вспомни, сколько раз ты клялся не рассуждая служить Амануллохану!..

Пока я стоял перед ним, мое возбуждение не проходило. Но едва я вышел из Арка — оно куда-то улетучилось. Беспокойство молодого эмира, которое, казалось мне, я уловил, заразило и меня. И что это за тайное путешествие?.. Я уже понял, что оно носит секретный характер. Долгое, трудное... Трудное, впрочем, не беда, но надолго уехать отсюда именно сейчас, в такое горячее время... Амануллохан не задумываясь сделал рискованный шаг: объявил закон об обязательной воинской повинности. И тут же горные племена исазаев, ильясзаев, аназаев, крайне недовольные этим, стали готовиться выступить против; брат его Насрулло, еще не успокоившийся после вступления эмира на престол, снова, как тигр, присел перед прыжком — собрал свои черные силы и только выжидает подходящего момента. А Старые афганцы, у которых от любой новости волосы встают дыбом? А духовенство, которое в ярости точит зубы, потеряв свои вакуфные земли? Англичане, наконец, которые лишатся всех своих благ и привилегий? И в такое время он меня куда-то отсылает! Да понимает ли он весь размах грозящих опасностей? Если нет —

почему я ему ничего не сказал?.. Впрочем, я ведь и сам все это представил, только выйдя из дворца, и эмир — это эмир, даже если он недавно был твоим другом и единомышленником. А, будь проклят древний дух покорности! Получил приказ — и ушел, а теперь ни сна, ни покоя — ни днем, ни ночью...

Я метался по дому как по клетке, ни с кем не вправе поделиться своей тайной. Домашних это беспокоило, но подступиться ко мне никто не решился. Так прошло пять дней. На шестой, когда терпение мое, казалось, вот-вот лопнет, прибыл гонец из Арка. Я клялся себе, что на сей раз выскажу эмиру все; но принял меня не эмир, а генерал Мухаммад Валихан. Генерал — мы в то время говорили «жарноил» — был человеком преклонных лет, но сохранившим весь свой ум и энергию; его военные заслуги в двух войнах против англичан стали легендой, и потому для нас, молодых, имя его было особенно дорого; по-видимому, и эмир считал его своим самым доверенным советником. Генерал испытующе поглядел мне прямо в глаза. Не знаю уж, что он там прочел, но сказал без лишних предисловий:

— Мы поедем в Россию, молодой мой друг!

Я едва поверил своим ушам. У меня горло перехватило от волнения, я с трудом заставил себя проглотить комок.

— Жарноил, если не секрет...

— От вас не секрет. Вас вызвали по рекомендации эмира, поедете с нами в качестве телохранителя. Говорят, послу нет смерти, но положение... положение сейчас сложное. А главное, помните: наше путешествие — историческая миссия, и на вас, молодой друг, возлагается благое поручение, связанное с судьбой Родины...

Я вскочил, чтобы по-военному отдать честь, но он положил мне тяжелую руку на плечо и вернул на сиденье кресла. Тут я наконец и узнал, в чем состоит наша миссия: мы должны были доставить в Москву письмо эмира, адресованное Ленину. Образована посольская группа, возглавляемая генералом Валиханом. Хотя в письме всего лишь выражались дружеские чувства и надежды на дружбу и взаимопонимание между двумя странами, оно ни в коем случае не должно было попасть в посторонние руки — это грозило серьезными осложнениями и стране и эмиру.

— Благой миссия не бывает сама по себе, шигавул¹, — сказал генерал, глядя на меня с отеческой улыбкой, — чтобы это подтвердить, часто приходится вступать в бой...

Тут уж я вскочил и отдал честь. Генерал кивнул, сказал:

— Ладно, ладно, садитесь, шигавул...

Теперь-то я понял, какая огромная ответственность свалилась на мою юную голову. В душе моей свились клубком радость, гордость, опасения... Набравшись храбрости, я сказал:

— Вы позволите мне спросить, жарноил? — Он кивнул. — Жарноил, нашего эмира, еще до восшествия на престол, неизменно пугали «коминтерновской опасностью», что если, мол, дать русским самую малую потачку, они установят в Афганистане власть своих Советов... Что же будет после этого письма? Если он вступит в переговоры с Лениным?.. Ведь англичане только и ждут повода... И остальные — тоже! Страна сейчас — как пороховой погреб! Вы такой мудрый и опытный человек, скажите... — только не подумайте, ради аллаха, что я лично чего-то опасюсь! — не опрометчивый ли это шаг? Да хранит аллах эмира, но не поступает ли так его величество... по молодости лет?..

Генерал глядел на меня серьезно, без улыбки. Он помолчал.

— Ну что ж, шигавул, — сказал он наконец, — за то, что мыслите серьезно и не боитесь это показать, вам простятся ваши дерзкие сомнения. Но поверьте, все обдуманно всерьез. Конечно, наши противники не преминут спровоцировать разные темные силы. Но ежели письмо дойдет — им придется еще задуматься, как быть дальше. Россия, хоть в ней все и перевернулось кверху дном, по-прежнему могучая страна, и ее нельзя не принимать в расчет. Затея англичане слишком серьезную возню — не исключено, что это обернется против них же! Кто знает, не перекинется ли кровавая междоусобица и в Индию? И не станет ли эта великая и угнетенная страна нашим соратником в борьбе? Вот так, молодой человек... — Он погладил свой голый череп. — Давайте-ка, шигавул, оставим эти великие дела самой истории и займемся нашими малыми обязанностями. Готовы ли вы духовно к путешеству?

¹ Ш и г а в у л — телохранитель.

— Душой и сердцем, жарноил!

— Я не зря спрашиваю, вы должны понимать, что наше посольство — это не увеселительная прогулка, а путь, полный опасностей. Туркестан осажден, окружен; в Красноводске — англичане; по берегам Аму — многочисленные банды... Едва мы тронемся в путь, они зашевелятся, ведь соглядатаи тотчас возьмут наш след!

— Я знаю, сардор¹, и моя жизнь в вашем распоряжении!

Генерал встал и подошел ко мне. Я тоже вскочил, вытянулся. Он был заметно ниже меня, но тело крепко сбитое, тренированное.

— Нет, шигавул,— сказал он с улыбкой,— теперь все наоборот: это моя жизнь в вашем распоряжении!..

— Я щит для вашей груди, сардор!

— Щит — вот он! — сказал генерал, показывая на папку красного бархата, лежавшую на столе.— Это письмо послужит щитом для нашей многострадальной Родины! И благослови его бог...

Мы выехали дождливой апрельской ночью, когда никто, кроме нас, не решился, наверное, отправиться в дальнюю дорогу. Было нас пятеро, все в простой одежде, чтоб не привлечь ничьего внимания,— один под видом ремесленника, другой — торговца, третий — дехкана. В крытом фаятоне о двух лошадях, напялив грубое рубище и примостясь около своего секретаря, сидел посол, и никому бы в голову не пришло, что это знаменитый генерал Мухаммад Валихан. Впрочем, прохожие не могли и разглядеть его в темноте фаятона — будь то днем или ночью; если чей взор и натыкался на это щедро поливаемое водой небесной, негромко стучащее и кряхтящее на ходу сооружение — он видел прежде всего Хамди Салмана, сидевшего на месте кучера. Этот крупный толстощекий человек, на большом белом лице которого выделялись огромные подведенные сурьмой усы и совершенно терялись тонкие, да вдобавок еще выщипанные брови, и впрямь выглядел на облукке как заправский кучер. В действительности он был помощником посла, ответственным за хозяйственные дела: пристанища в пути, провиант, фураж, обмен лошадей на постоянных дворах — и за весь прочий транс-

¹ Сардор — предводитель, вождь.

порт, когда он понадобится. Секретарь генерала, или мирзо, был его сверстником; этот худощавый интеллигентный человек слыл во дворце лучшим толмачом — он свободно говорил по-английски и по-русски. Пожалуй, он один из всех мог показаться более или менее важной персоной, хотя одет был не лучше других.

Мы же с Мурадом Юсуфзаем ехали позади, верхами. Юсуфзай — старший офицер, корноил, но я подчиняюсь не ему, а самому послу, должен ловить каждый взгляд генерала, исполнять даже его безмолвные приказания...

Весенний дождь не холоден, но он моросил всю ночь, наши бурки, кажется, промокли насквозь, даже седла напитались водой. Старики-то полночи продремали под верхом фэтона, они вряд ли продрогли так, как мы, зато их наверняка измучили рытвины и ухабы; сель смыл насыпные горные дороги, и обнажились каменные колеи. Углубления на дорогах заполнены водой, никогда наперед не знаешь, сколь глубока лужа, в которую сейчас с размаху ступит нога лошади; грязь облепила нас до плеч, фэтон тоже до верха в комьях и кляксах глины. Дорога нелегка — зато спокойна, так что не зря мы пустились в дорогу ночью. Из-за некончающегося дождя мы даже зари не заметили — просто ночь понемногу превратилась в серый и такой же непроглядный день; путь был по-прежнему пуст, никаких встречных; к середине дня, поменяв лошадей и раз или два отдохнув, мы уже одолели перевал Саланг.

На второй день вместе с лошадьми мы меняли и повозку: дальше по дорогам легкий фэтон передвигаться не мог, его заменили крепкой четырехколесной арбой с плетеным кузовом. Нас с Юсуфзаем это, конечно, не коснулось: под нами были прежние седла.

Дождь наконец кончился, впереди засверкали бескрайние зеленые просторы. Я в первый раз увидел сверху, с высоты, север нашей страны, где я родился и вырос. Прозрачайший воздух, далекие летовки, сросшиеся с голубым небом, пышно вскипающие белым и розовым цветением сады — все это неожиданно взволновало меня. На шумных диспутах, на офицерских собраниях мы, Молодые афганцы, били себя в грудь, восклицая: «Родина!» Но что мы, черт возьми, понимали под «родиной», мы же всего этого и в глаза не видали, даже я, который подростком не раз ходил по этим дорогам, ездил из Мазари-Шерифа в Кабул... Вот

она, родина, огромная и невыразимо прекрасная, простиралась передо мной, и, странно, вместе с восхищением, восторгом — страх за все это вкрался в мою душу. Должно быть, я действительно становился взрослым. На мне лежала ответственность не только за старого генерала, дремлющего в арбе, красную бархатную папку с высочайшим письмом, но и за судьбу всей безграничной, священной земли, напоенной свежей весенней прохладой. Должно быть, я как-то весь подтянулся, собрался, потому что рыжий иноходец подо мной тоже что-то почувствовал, наострил уши, жилы на его блестящем крупе дрогнули. Нет, сказал я себе, ты больше не юный ветреный офицер, ты протрезвел, все видишь отныне ясно... Конечно, то была еще вовсе не трезвость, а новая стадия опьянения молодостью, но как понять, что ты пьян, пока ты пьян?..

Поначалу такие чувства очень сладки, однако на четвертый день дороги они уже представлялись мне несколько ребячливыми. Показалась Аму — широкая лента, отражающая синеву небес, легкий пар над ней подымался. Все-таки странно, подумал я, эта могучая вода родилась и росла на моей земле, в моих просторах она стала огромной рекой, но вот кто-то когда-то провел полосу, именуемую границей, и, едва миновав ее, наша вода уже становится не нашей, наша река — чужой рекой... Как это получается? Разве люди на том берегу устроены иначе? А вдруг они действительно в чем-то иные, подумал я, ведь вот же — взяли и повернули, изменили свою жизнь...

На границе нас ждали. Мы были рады, что прибыли без приключений, улыбались, несмотря на усталость, но наши улыбки, наша нехитрая маскировка под ремесленников и крестьян на фоне встречавших нас людей в военной форме, серьезных, немногословных, официально деловитых, казались, наверное, немножко смешны.

Оформив документы, мы с вещами погрузились на паром. Вблизи Аму вовсе не была голубой, текла мутно и беспокойно. И все-таки она казалась рукой матери, мягко передающей меня другому миру. Лишь посредине реки волны сделались огромными, провалы меж ними — глубокими и страшными, приближающийся берег пугал подстерегающими опасностями. С наступлением сумерек на нем там и сям зажглись огоньки, вытянулись цепочкой, обозначая, очевидно, какую-то при-

плюснутую городскую улицу. Но самые яркие огни высыпали на побережье, где раздавались пароходные гудки и куда из далеких, темных пустот чужого берега возвращалось разбуженное эхо.

Встречали нас люди со старой зеленой машиной, куда мы перегрузили свои вещи с парома. Встречавшие, хоть явно и не забывали, что перед ними гости, и не скупились на улыбки, почему-то очень спешили и даже не слишком гостеприимно нас поторапливали. Позже мы поняли почему: чтобы не задерживаться здесь на несколько дней, нужно было успеть на отходящий поезд. Мы и успели — некоторые формальности выполнили уже в поезде.

В вагоне для нас оставили три открытых опрятных купе; остальные места занимали обычные пассажиры, с виду, впрочем, весьма похожие на нас; но военные, стоявшие на карауле у нашего прохода, позволили всем догадаться, что мы — публика не совсем обычная; поначалу кто-нибудь то и дело косился в нашу сторону, за этим следовали перешептыванья; но едва поезд тронулся, резко раскачивая фонари в купе, как на нас перестали обращать внимание.

Вечер заполнил почти все пространство вагона тряской, чернотой, исчезли все звуки, кроме перестука колес. Все задремали: генерал — сидя на корточках, мирзо — скорчившись у сундучка, дородный Хамди Салмон — возвышаясь, как гора, на своей полке. Бодрствовали только караульные — на ногах, да мы с Юсуфзаем — сидящие, но тоже начеку и готовые к любым неожиданностям; я, как всегда, рядом с сардором. Удивительно — мне сдается, я научился читать его мысли и ощущения. Его сон — это и не сон вовсе, а громадный, непрекращающийся поток размышлений, лишь изредка приостанавливающийся, чтоб отдохнуть. Сейчас ночь, под колесами уносится назад чужая земля, все больше отдаляя нас от родины, и сардор, я знаю, мучительно думает об этом, потому что в Термезе давешние торопливые люди успели сообщить ему злую новость: в дни после нашего отъезда через восточные рубежи к нам вторглись войска колонизаторов. Неужели это начинается их третья война с нашей разоренной страной?.. Сардор как-то сразу поник тогда, побледнел, у него даже, кажется, колени задрожали. Но гостеприимные хозяева стали его утешать — ваш-де многострадальный народ, открывший для себя гори-

зонты независимости, повсеместно поднялся, стар и млад, поливает захватчиков огнем гнева, проявляет беспримерный героизм — и так далее. И в Британской, мол, Индии тоже восстания — так что спокойно продолжайте путь... Легко сказать — спокойно. Уж кто-кто, а мой старый генерал хорошо знает, что такое эта война, изучил все ухищрения захватчиков; родная страна снюва в огне, а мы от нее отдаляемся...

«Нет, не отдаляемся — приближаемся!» Я прямо-таки слышу, как он это произносит своим чуть хриловатым низким голосом, слышу, хотя он молчит, прикрыв глаза. Он всегда в конце разговора так неожиданно выворачивает наизнанку подводимый кем-нибудь итог, и так это получается у него верно, мудро, что только дивишься — в самом деле, как просто, и почему это самому не пришло в голову? «Теперь, когда война и разруха растаптывают устои старого мира, когда весь мир пылает негодованием против империалистов-захватчиков, когда всякая искра возмущения превращается в мощное пламя революции, когда даже индийские мусульмане, загнанные и замученные чужеземным игом, поднимают восстание против своих поработителей, — теперь молчать нельзя. Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель! Не отдавайте им больше на разграбление ваших родных пепелищ! Вы сами должны быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию! Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных руках...»

Мы едем к великому человеку, сказавшему эти слова. Он даст совет, он найдет выход. Мы не отдаляемся — мы приближаемся. Сардор приводил мне эти слова еще в Кабуле. Сейчас, конечно, он тоже вспоминает их... мы как бы размышляем вместе...

Откуда-то доносится храп. Это там, внизу, среди пассажиров. Подумать только, кому-то удастся безмятежно дрыхнуть!.. Сквозь закоптелые окна тускло просвечивает проносящаяся красота туманного утра. Голос младенца. Запах хлеба... Сардор открыл глаза, смотрит на меня с усталой улыбкой, как бы говоря: «Еще один день прошел...» Я собираюсь что-то сказать, не то о завтраке, не то о протекшей ночи — и вдруг вагон яростно вздрагивает, тормозит с отвратительным скрежетом, что-то падает с верхних полок — чемоданы, мешки, поднимается гвалт, вопят люди, они расшиб-

лись, в последний момент срывается и падает, разбиваясь вдребезги, фонарь, что висел рядом со мной, и по вагону разливается керосинная вонь. И тут я замечаю, что поезд в итоге так и не остановился, а все еще волочится по рельсам, продолжая издавать ужасающий скрежет...

А в дверях поднимается какой-то новый шум: часовой, повредивший себе при толчке лоб, бросается в ту сторону; справа раздаются выстрелы; стекла окон разлетаются мелкими осколками. Корноил и я берем в руки оружие, смотрим на сардора, но никакого приказа не следует. Может, старик еще не оценил обстановки?.. В проходе показываются какие-то люди в халатах из бекасама¹, теперь стреляют слева, в окна врываются снаружи крики и конский топот. Один из вошедших — чернобородый молодой джигит с красивым мужественным лицом, в каракулевой шапке, надрывно кричит:

— В чем дело!!! Прекратить стрельбу! В кого стреляют, головотяпы! Прекратить огонь!!! Скажите вы — прекратить огонь!

Приказ доносят наружу, стрельба стихает. Вооруженные люди в проходе, в том числе и чернобородый, устали на осанистого Хамди Салмона — он лежит на верхней полке, как огромный предгорный холм... И тут я ловлю взгляд сардора: «Оставьте оружие, их много — возьмите вот это...» И он незаметно — на него и не смотрят — подвигает в мою сторону маленький кожаный портфель, лежавший, я знаю, у него в изголовье. Я, почти не нагибаясь, хватаю портфель — и сую за пазуху. На меня тоже не смотрят, к счастью. Я знаю, что в портфеле, — еще бы! Там наше главное богатство — письмо эмира, адресованное Ленину; теперь его судьба, судьба всего посольства вручена мне. Но мне-то что делать?.. «Делай что хочешь, ты должен сохранить это хотя бы ценой твоей жизни!» — говорят глаза сардора. Вагон, проволочившись по рельсам, останавливается против безлюдного, раскаленного солнцем хвойного лесочка. Окна разбиты, в них горят осколки стекол; но что думать об окнах — попробовать не то что вылезти, а просто приблизиться к ним — уже значит навлечь все на себя. А до сих пор счастье мое заключалось в том, что на меня не обращали внимания.

¹ Б е к а с а м — кустарная шелковая ткань, идет главным образом на пошив верхних халатов.

Хотя нас, наверное, будут обыскивать по одному — но это потом, потом, потому что пока все внимание повязанных платками молодых во главе с чернобородым поглощено Салмоном; Салмон только что подкрасил усы хной, и басмачей это привело в восторг. Они плотно улыбаются, как кошка, придерживающая лапой мышонка. У них нет и тени сомнения, что Салмон и есть посол: можно ли сомневаться, что главную роль играет человек с самой внушительной фигурой?.. Они прекрасно знали, что мы едем в этом вагоне, и сейчас им нужно только отделить нас от обычных пассажиров: те им ни к чему. Может, смешаться с теми пассажирами и «потеряться»?.. Пожалуй, это единственный путь, и сардор, кажется, тоже так думает.

— Ну, кто ж ты такой?— спрашивает тем временем чернобородый у Салмона.

— Я?— спокойно переспрашивает Салмон.— Что, не видно? Я бухарский таджик, торгую хурмой...

Басмачи гогочут: их восхищает наглая невозмутимость посла, который продолжает играть, даже явно припертый к стенке.

И тут из толпы басмачей громко кричат, называя меня по имени:

— Садык! Эй, Садык!!..

У меня сердце проваливается куда-то в желудок. Все! Конец! Кто-то меня узнал... Но кто-о?.. А может, это не меня? Мало ли Садыков...

— Садык! Ты что, не узнаешь, пройдоха? Это же я, Джалил Гуфтадуст...

И я вижу, как, глядя на меня зелеными глазами, в которых прыгает искренняя радость, протискивается ко мне высокий человек в смушковой шапке, с пятизарядкой за плечами, с кучей патронташей на груди, со знакомыми черными усиками, будто наведенными карандашом... Искося ловлю отчаянный взгляд сардора: «Этого только не хватало!..» Но сам я, кажется, уже так не думаю. Может, тут что-то есть? Какой-то шанс?.. Ведь это действительно Гуфтадуст, мой бывший приятель и соученик по школе Хабибия. Во времена Хабибуллы-хана по просьбе эмира бухарского он в составе группы молодых офицеров был послан «защитать Святую Бухару от большевиков». После казни Хабибуллы они, в страхе перед новым эмиром, не посмели вернуться. Значит, этот долговзый, гори он огнем, пристал-таки к басмачам...

Делать нечего: я встаю ему навстречу, мы шумно здороваемся, обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам, он со счастливым выражением лица повторяет: «Ну и встреча! Ну и встреча...» — и снова обнимает меня, потом отпускает, оглядывает, чуть ли не обнюхивает, приговаривая теперь: «Эх, друг... эх, друг», и лицо у него понемножку становится такое, будто он вот-вот заплачет. Ему и невдомек: только что он прижимал к своей груди тот самый маленький портфельчик, из-за которого его банда устроила такое большое побоище

— Так ты из Кабула? — говорит он.

— Из Кабула.

— Прямо из Кабула? — повторяет он таким восторженно-недоверчивым тоном, словно спрашивает: «Прямо из Эдема?»

— Ну, прямо из Кабула!..

— Э-эх...

И на глаза его действительно наворачиваются слезы.

— Слушай, пошли отсюда выйдем! — говорит он. Потом заботливо осведомляется: — У тебя ничего с собой нет?

— Не-ет! — говорю я беззаботно.

— Ну, пошли!..

Остальных басмачей невиданный эпизод нашей встречи отвлек ненадолго: они по-прежнему заняты спектаклем, который, как они полагают, разыгрывают с Салмоном, хотя на самом деле, конечно, Салмон разыгрывает их. Меня Салмон тоже восхищает — так он замечательно держится. Что-то с ним будет?.. Я успеваю еще поймать взгляд сардора — и вижу: одобряет. Только кого — Салмона? Меня? Или нас обоих?.. И мы идем с Гуфтадустом к другому выходу. На мгновение у меня к горлу подкатывает волна горечи: у самого выхода лежат два труп наших охранников. Но я сдерживаю себя и вслед за Гуфтадустом спокойно перешагиваю через трупы. Мы вылезаем из вагона на раскаленный песок, останавливаемся. Двое конных, топтавшихся неподалеку от выхода, нацеливаются было на меня, но, сразу уловив характер нашего с Гуфтадустом разговора, безразлично отворачиваются.

— Ну, потолкуем! — говорит Гуфтадуст. — Это ж сколько не виделись, а? Ты с нашими встречаешься?

— Конечно, еще бы.

— А моих видишь? Отца, брата... сестренку?

— Отца твоего как-то встретил — такой же, как всегда...

— И что он?..

— Ничего — сам понимаешь...

Насчет встречи с его отцом — наглое вранье. Но мне нужно время, чтоб осмотреться, придумать что-то, к тому же я боюсь, он начнет расспрашивать о моих делах — и придет же ему наконец в голову: не зря я, только что из Кабула, оказался в одном вагоне с посольством... И я говорю, рассказываю, отвечаю ему, но этим занят, кажется, только язык — глаза обшаривают все вокруг, а в голове стремительно сменяют друг друга варианты бегства — все, к сожалению, негодные. Попросить его отпустить меня?.. Нет, не пойдет он на это. Просто побоится, да и насторожится. Отпрыгнуть и кинуться бежать? Кругом песчаные холмы, степь, но далеко не убежишь — они на конях... Кроме двоих конных у нашего вагона я вижу еще нескольких, в другом конце состава; те охраняют табунок лошадей с пустыми седлами; я сперва решил, что хозяева этих лошадей — все у нас, но нет, некоторые «чистят» и остальной состав, может, на свой страх и риск. Вон, сталкивают со ступенек пассажиров — испуганно скорчившиеся полураздетые фигуры, которые остаются стоять тут же, со страхом поглядывая на свои окна... И вдруг мне подворачивается немыслимое везенье. Кто-то из басмачей высунулся из дверей в том конце вагона, вертит головой и, увидев Гуфтадуста, кричит:

— Эй, Джалил! Сюда! Скорей давай!.. — И скрывается в дверях.

— Зовут!.. — извиняющимся тоном говорит Гуфтадуст. — Но я сейчас, быстренько, ты погоди!.. — И он лезет по ступенькам.

Я успеваю подумать ему вслед: «Эх ты, офицер!.. И бандита толкового из тебя не вышло, растяпа!..» — но уже лихорадочно обмозговываю этот невероятный, единственный счастливый шанс. Искося, не поворачивая головы, гляжу на конных — те, держа, видно, в голове, что я не под охраной, а значит, свой, и не смотрят в мою сторону: разговаривают, наклонившись в седлах. Выходит — бежать. Не теряя ни секунды!.. И я ныряю под вагон, вылезая с той стороны, опасаясь и там увидеть конных караульных, но никого нет, зато рядом еще один путь, и на нем стоит какой-то разоренный, пустой, может быть тоже ограбленный, товарняк с распахну-

тыми дверьми. Что ж это — разъезд?.. Но гадать некогда. Спрятаться в одном из пустых товарных вагонов?.. Наверняка кто-нибудь увидит меня из окна нашего поезда. Значит — дальше!.. И я снова ныряю под вагон — и несколько секунд спустя оказываюсь на пустынной насыпи, которая круто обрывается вниз. Дальше вдоль пути виднеется завалившийся домик — должно быть, разрушенная сторожка стрелочника. И — больше ничего. Внизу, у насыпи, тоже начинается степь, поросшая верблюжьей колючкой, песчаные холмы... Может, за холмами есть что-то? И я скатываюсь с насыпи, бегу в ту сторону — ведь главное сейчас: скрыться, уйти отсюда подальше...

Ближайший холм был дальше, чем казалось с насыпи, и когда я пересек его склон, то увидел пустынную дорогу, глинобитные дома с неухоженными садами, помещения для скота с навозными кучами у распахнутых дверей... Похоже на окраину большого кишлака, но почему никого не видно? Ни души, ни скотины! Мне это, конечно, крайне кстати, но ведь надо знать, что за этим кроется... И где я?

Добредя до ближайшего полуразрушенного дувала, ограждающего крайний сад, я вдруг чувствую страшную усталость — от бессонных ли ночей, от пережитого ли только что напряжения; у меня прямо-таки ноги подгибаются. Я перелезаю через дувал, прячусь в его скудной тени, прислушиваюсь. Тишина. Ни шагов, ни голосов, ни намек на погоню. Грех жаловаться — пока мне везло, как по заказу. Но если на кого-нибудь наткнусь... «Кто ты?» Что отвечать? Конечно, у меня есть документы, и один из них — еще какой документ!.. Прочтут — удивит полмира... Но его-то не покажешь, напротив, нужно прятать, хранить пуще собственной жизни! А впрочем — одинаково: погибни я — конец и эмирскому письму. Ведь передать теперь некому, да и нельзя... Нет, надо немножко посидеть тут, отдышаться, отдохнуть, наметить какой-то план. Если этот кишлак — под властью давешних басмачей, положение мое не из лучших. К тому же у них в руках мои товарищи. В сущности, они заложники и надеются только на меня. Конечно, вряд ли их убьют — куда выгодней иметь их в руках и представить живыми; во всяком случае, их не тронут до тех пор, пока не найдут эмир-

ское послание; не такие уж они дураки, эти басмачи и те, что их послали, чтоб не понять: подобное посольство шлют с ч е м-н и б у д ь. В этом сумасшедшем мире никто уже не верит на слово... Но если догадуются, что я был в составе посольства... хотя как догадуются... товарищи мои не выдадут... Гуфтадуст тоже не выскажет такой догадки — ему тогда голову снимут, что упустил меня... О черт! Но ведь он может узнать Валихана! Еще как может! Одна надежда — что он его никогда не видел... Черт возьми, голова лопается от предположений! Отдохнешь тут... отдохнешь, как же... Мне казалось, я все еще размышляю, строю планы, на самом же деле усталость и жара сморили меня, и я впал в дремоту. Не знаю, сколько она длилась — минуту или десять; разбудил меня испуганный девчоночий голосок:

— Вай, кто это?!..

Я в страхе привскочил, но успел заметить, что солнце почти на том же месте, значит, времени немного прошло; шагах в пяти стояла бледная от испуга девочка и смотрела на меня. Она, должно быть, что-то собирала в саду, но теперь машинально опустила подол, под ним до щиколоток тянулись красные штанишки.

— Эй, ты откуда? — спросил я полусшепотом. Она все так же смотрела огромными от испуга черными глазами и молчала. — Слышишь, эй!.. Откуда ты, и почему людей вокруг не видать?..

Тут она вдруг шарахнулась, как горная козочка, и унеслась, только мелькнули среди колючек ее черные пятки и красные штанишки. Ну, это уж — хуже некуда; сейчас побежит в кишлак и скажет: там прячется странный человек!.. Нельзя здесь оставаться...

Я с усилием поднялся и пошел в глубину абрикосового сада. Деревья уже начали сохнуть, несмотря на весеннюю пору; в пожелтевших травах шуршали ящерицы. Ага, вот и причина: арычок — сухой; давно, видно, здесь не поливали... За садом был еще такой же сад, отгороженный низеньким заборчиком. Так, позади жилья сады тянулись, видно, еще далеко, и я побрел по ним, хоронясь меж деревьев, одолевая за дувалом дувал, пока не наткнулся на овражек в саду, который показался мне укромным и прохладным местом. Там я и пролежал, то задремывая, то встряхиваясь в испуге, покуда солнце не склонилось к закату. Тогда я встал и пошел дальше. В следующем саду было и впрямь прохладно, может, оттого, что вечер близился. Тут, ка-

жется, была жизнь: в кустах, ближе к дороге, мелькнула курица, корова замычала, потом я услышал самый сладкий звук: журчала вода! В тени старой шелковицы бежал чистый как слеза арычок...

Я долго пригоршнями пил воду, так что в моем свободном от пищи брюхе она колыхалась теперь как в ведре. Но дальше — дальше-то что делать? Где я, неизвестно, куда идти — тоже. Если уж днем отлеживался, так ночью... Искать людей, спрашивать дорогу? Но кто знает, на кого напорешься? От безвыходности положения я как-то расслабился. Надо подождать до утра, говорил я себе. А там что? — спрашивал во мне другой голос. А там... глядишь, что и подвернется. А если нет? — снова отзывался другой голос, но уже менее уверенно. Да успокойся ты, отвечал я себе, в любом случае — лучше пока отдохнуть, заснуть... Тем временем быстро темнело. Я лег на траву, на спину. Какая-то колдобинка мешала. Я перекатился, лег на живот. Теперь что-то на грудь давило, мешало снова. Что это?.. Господи, да ведь это портфель с письмом! Черт меня возьми совсем. Я же почти перестал о нем думать — о том, что лежит у меня за пазухой! А ведь, может, сотни тысяч, миллионы человеческих судеб зависят от судьбы этого листка бумаги... Я поднялся, сел, расслабленности как не бывало — напротив, меня точно лихорадка охватила. И тут из безлюдной темноты рядом со мной снова прозвучал негромкий девчоночий голосок:

— Эй... эй... человек!

Я даже подскочил от неожиданности.

— Это... это ты, девочка? — Надо же, как она неслышно подошла.

— Я-а... уходи отсюда, здесь не лежи...

— Куда?

— Не знаю куда... а отсюда уходи... Сам же спрашивал, почему пусто... Везде басмачи... все и заперлись по домам...

А ведь я и сам так подумал сначала. Ничего себе отдыхал — на горящих угольях!

— Эй... — снова сказала девочка. Она подошла ближе, села на корточки, и я опять увидел почти рядом ее огромные сияющие черные глаза. — Вы таджик?

— Нет. А ты таджичка?

— Не-а. Мы сурханцы. По-таджикски говорим.

— Слушай, ты, кажется, девочка умная... Я — афганец, понимаешь?..

— У, обманщик! Ауганец! Откуда здесь ауганцы?..— Она улыбнулась, и, кажется, улыбка у нее была на редкость милая. Слава богу, хорошая девочка.

— Да вот,— сказал я,— шел, шел куда глаза глядят, да и сюда забрел.

— Нет, правда?.. А ведь я... и то подумала, как-то странно они говорят...

— Ну, вот видишь? Ты мне поверь, я никогда не вру... Понимаешь, мне надо найти такое место, чтоб спрятаться... чтоб меня басмачи не нашли. Найдут — убьют, понимаешь?

— Не-е...— сказала девочка растерянно и чуть от меня отодвинулась.

— Ну, чего ты не понимаешь?.. Ты же умница...— Я вдруг понял, что надо ей сказать правду, была не была.— Скажи, ты про Ленина когда-нибудь слышала?

— Ну слышала.

— Так вот — я иду к Ленину!

— Враки!— сказала она резко и презрительно прищурилась: вот, мол, поверила человеку, а он самый обыкновенный лгун! Видно, плохой психолог — только все испортил. Не вышло б из меня ни разведчика, ни дипломата... Я сказал как можно мягче:

— Ну, почему же враки? Ведь ты поверила, что я афганец? Поверила?.. А ты знаешь, сколько я уже прошел и проехал, только чтоб сюда добраться? Тебе и не сосчитать! Но видишь ты у меня какой-нибудь груз? Товар? Зачем же я еду-то, сама подумай? Я только слово с собой везу! Слово, понимаешь? И это слово я должен передать Ленину...

Она опять на меня не отрываясь смотрела. Может, и уговорю, подумал я. Она сейчас мой единственный шанс.

— Пожалуйста, покажи мне место, где бы я мог спрятаться...

Но она, по-прежнему не отрывая от меня взгляда, отрицательно покачала головой.

— Не-е... Нет! Кишлак Мукри сожгли за то, что там кого-то прятали! Да, да! Отец привез оттуда сестру... обгорелую... мертвую... она недавно пошла туда невестой!— В последних словах ее прозвенели слезы. Она стремительно повернулась — и тут же растаяла в тем-

ноте. Действительно растаяла — двигалась она так неслышно, точно летела по воздуху.

Ну все, сказал я себе, от судьбы не уйдешь. Я огляделся, хотя в темноте мало что можно было увидеть. Днем я заметил — сад спускается куда-то не то в большой овраг, не то в низину. Уклон чувствовался под ногами, и я пошел вниз, больно натываясь на обрубленные тутовники. Снизу тянуло прохладой. Желудок у меня был пуст, но я все-таки отдохнул за день и вполне мог бы идти хоть всю ночь — знать бы куда! А то ведь попадешь прямо к ним в лапы... Недаром девочка твердила: «Уходи отсюда...»

Но далеко уйти я не успел. Откуда-то слева, из-за тутовников, снова прозвучал ее голос:

— Эй... эй, ауганец!

Что за напасть, по следам она ходит, что ли? Или вправду летает?.. Но от сердца у меня отлегло. Я обрадовался.

— Что скажешь? — отозвался я.

— Идите сюда!

Я вгляделся во тьму — и увидел ее светлую ленточку, привязанную к косичке. Она свернула направо. Сам я раньше не решился пойти в ту сторону — оттуда пахло хлебом. Но девочка наверняка знала, куда идет. Я еле поспевал за ее мелькающей впереди ленточкой. Она вдруг остановилась и повернулась ко мне:

— Это правда... что вы мне сказали?

— Правда, клянусь хлебом!..

— Ладно... я верю. Пошли...

— Куда ты меня ведешь?

— Не бойтесь. Мы в дачном саду Чары-мингбаши, сюда басмачи не заглядывают.

— Да ты сама-то — чья?..

— Мой отец — конюх у мингбаши... Пройдете в зимний загон для табунов, там сейчас никого не бывает, — сказала она уже на ходу, деловито — и вдруг перепрыгнула через что-то. Перепрыгнула, остановилась и протянула мне смутно белеющую руку. Я тоже прыгнул — внизу был арык, если б не она, я наверняка бы вымок по пояс. А ручка у нее оказалась маленькая, теплая, но что-то от нее исходило и большее, чем просто тепло тела. Какая-то уверенность, что ли. Я почувствовал, что переживу эту ночь.

Мы остановились наконец у стены длинного темного строения.

— Конюшня,— сказала она.— Залезете по каркасу наверх, там хранят солому. Ложитесь и лежите спокойно. Хозяин в загоне — мой отец, так и он не придет... все на выпасах.

— А ты как дойдешь?

Она хмыкнула.

— А я чего... я дорогу знаю!..

И она опять исчезла — так же неслышно, как всегда.

Я сел, прислонившись к стене; сад шелестел; мне стало спокойно.

Но не прошло и десяти минут, как девочка вернулась — подошла так же неслышно и смутно обозначилась в темноте.

— Что случилось?— спросил я, вздрогнув. Не мог я привыкнуть к ее появлениям и исчезновениям, внутри у меня все вздрагивало.

— А ничего... Что ж вы наверх-то не залезли да не легли?

Она что-то стала вынимать из подола и класть около меня. Еда, конечно,— молодец девчонка!.. Рот у меня наполнился голодной слюной; девочка принесла четыре недозревших яблока, пупырчатый огурец, лепешку «чавати», испеченную в казане, и кленовую кашу, полную тутового толокна.

— Вот спасибо тебе!— сказал я.— И как ты догадалась!.. И вправду есть хочется!..

— Чего ж догадываться!..— Она звонко засмеялась, впервые за все время.— Чего ж догадываться — знаю, что вы день не ели!..

Я отломил кусок лепешки, взял огурец, захрустел им.

— И ты со мной поешь!..

— Я? Нет, я сытая.

Почему-то стало светлей — то ли облачка ушли со звездного неба, то ли просто глаза мои приспособились к темноте. Я разглядел девочку — она была старше, чем мне сначала показалось, лет пятнадцати уж наверняка, и совсем выросла из своего ситцевого платица.

— Что это шумит вдалеке? Ровно так...

— Камыш,— сказала она.— Камыш шумит.

— Камыш? Разве здесь река близко?

— Ой, помереть мне, вы что, не знаете? Аму внизу течет! Аму-у...

— Аму? Да ты что? Здесь?..

— Ой! Да вот же...

— Слушай!— Я начал фразу, еще не зная, чем кончу. Ну, волшебница девчонка! Еще бы одно такое известие! Усталости моей как не бывало, напротив, какая-то радостная волна во мне вздыбилась.— Слушай!— сказал я.— Давай пойдем на берег!

— Ой! А вы не боитесь? Я ж знаю, вы с того поезда, что грабили басмачи... Не боитесь?

— Так ты ж сама говорила — здесь безопасно...— Несмотря на весь подъем, есть мне хотелось по-прежнему, я наклонился отломить еще кусок лепешки, а, подняв голову, увидел: девочка смотрит на меня, забывшись, вся уйдя во взгляд, безотчетно раскрыв губы...

— Ну так что?— переспросил я.— Говорила ты, что здесь никого нет?..

Она спохватилась, что я видел ее такую, сжала губы, сказала почти сердито:

— Ну, говорила. Так то здесь, а не на берегу. Там дорога...

— А мы не дойдем до дороги... Поближе сядем. А?

Она пожала плечами с притворно равнодушным видом:

— Идемте...

Мы пересекли ровную песчаную площадку, на которой седлают жеребцов, и побежали через тополевую рощу. Шум камыша приближался. Тополя кончились — и моим глазам открылась ночная Аму, цвета бледного неба, ее прохладное влажное дыхание ударило в лицо.

— Дальше нельзя,— сказала девочка,— садитесь здесь и смотрите...

Я сел на траву, пробивавшуюся сквозь песок, девочка пристроилась рядом, с трудом натянула короткий подол на колени.

Я смотрел на реку, и меня охватывало странное чувство раздвоенности: будто я был и я, и еще кто-то, от меня отделившийся. Я впервые в жизни сидел на другом берегу, а моя родина была за рекой! А я был и там и здесь...

— А вы...— снова заговорила вдруг девочка,— ...знаете Ленина?

— Знаю... как и ты — ты ведь, сказала, тоже знаешь.

— Нет, я не то... ну, ладно... и что вы ему скажете?

— Скажете! Мне к нему сперва добраться надо, а не очень-то похоже, что получится!

— Ну, пусть... ну, ладно... а если получится — что скажете?

Похоже, она меня испытывала.

— Что скажу?.. Да многое хочу сказать... Видите, скажу, на том берегу находится моя родная деревня... сторона моя родная. Древняя это страна, и какие только пришельцы не пробовали ее захватить! А никому не удалось! Но чтобы просто жить по-своему на своей земле, сколько крови мы пролили, сколько отдали жизней за все-то времена, ничего не жалели, ни домов, ни скота, ничего нажитого, оттого и живем бедно, скудно, но не жалуемся, нет, ведь живем и хотим жить по-своему. А над нами смеются, презирают, и никто за все века не говорил о нас с уважением! Да еще с таким высоким уважением, как вы... Вы первый, от имени огромной России, признали раз и навсегда наше право на независимость, самостоятельность, достоинство, веру в себя! И мы, которые хоть в себя и верили, но чувствовали себя такими одинокими в мире, перед всеми вековыми захватчиками, теперь поняли: мы не одни. Вы и сами нам так сказали: вы не одни в этом мире... И теперь, когда англичане снова начали против нас войну, ничего нет нам дороже этих ваших слов... — Я помолчал и добавил будничным тоном: — Вот что я ему хочу сказать... если, конечно, доеду!

Я глядел прямо перед собой, боясь ее снова смутить. Она молчала. Потом сказала полупшепотом:

— Доедете...

Я не выдержал и на нее покосился, едва заметно. Она снова на меня так глядела и была очень красивая. Просто ужас какая красивая. Я постарался сделать вид, что ничего не замечаю. Кажется, я ей и вправду понравился. Да и она мне тоже.

Дорога вниз была пустынна, а ветерок с Аму то усиливался, то слабел, и шум камыша тоже то нарастал, как далекий начинающийся где-то обвал в горах, то затихал, но не смолкал ни на мгновение. Мы уже сидели и молчали, и так хорошо было, тихо, прохладно. Сладко было так сидеть и ждать неизвестно чего. Девочка первая заговорила снова, голос был с легкой хрипотцой:

— А у вас там, в поезде... что-то осталось?

— Осталось... Только не что-то, а кто-то.

— Кто-то? — спросила она с явной тревогой.

— Товарищи остались...

— А-а...— Она выдержала паузу, потом спросила:— Они... с вами к Ленину ехали?

— Да.

Она снова помолчала, будто раздумывала, о чем еще спросить. Потом спросила:

— И много их?..

— Четверо...

— Что ж вы ушли, а они остались?

— Так вышло... Не могли они уйти, их басмачи схватили.

Досадно было, что она расспрашивает. Ведь ничем больше помочь не может... А блаженное, сладкое состояние мое порушилось, сменилось прежней тревогой, даже угрызением совести. «Что ж вы ушли, а они остались?..» Но нет, о письме я ей говорить не буду, никто о нем не должен знать.

И вдруг она сказала прежним, деловитым тоном:

— Я все разужаю. Все, все... А вы идите прячьтесь назад, лежите тихо и берегитесь чужих глаз!

— Но... как же ты...

— Все, все, скоро светать будет,— прервала она меня не допускающим возражений тоном. Она встала, я тоже.— Идите,— сказала она настойчиво.— А то проснется кто-нибудь, пойдет по дороге, не дай бог услышит...— Я стоял и глядел на нее.— Идите ж,— повторила она. Потом вдруг протянула руку и, коснувшись моего левого уса, сказала тихонько:— Только вот здесь помойте... в арыке...

И я повернулся и пошел обратно — через тополиную рощу, через песчаную площадку. Встретив арык, я смыл со своего поцарапанного лица следы крови вперемежку с грязью, не тронул только то место, какого она коснулась пальчиком. Кажется, я и сейчас чувствую это прикосновение.

Дойдя до конюшни, я взобрался по каркасу наверх, прилег в соломе. Со мной были остатки лепешки «чаваши», тутовое толлокно в кассе, но мне что-то в горло ничего не лезло. И заснуть я сперва никак не мог. Задремал я позже, когда уж солнце давно взошло и начало припекать. Новый день выдался жаркий и тянулся, казалось, дольше года. Я просыпался в поту, чихал от набившейся в нос и горло пыли, засыпал снова, опять просыпался, а день все длился, и конца ему не было. Я ждал вечера как избавления. Но от чего? От ожи-

данья?.. Умом я не слишком надеялся, что она принесет хорошие новости, но в сердце мое она вселила уверенность — и в себе, и в ней. В самом деле, не знаю, чего я ждал больше, ее вестей или ее самое...

Она появилась в сумерках: как всегда, словно выросла из-под земли и окликнула:

— Эй...

Все-то она разузнала, все увидела. Мои товарищи находились под замком в пустом амбаре русского торговца, в кишлаке. В стене амбара было зарешеченное окошко, она туда заглянула. Один, тот, что поменьше ростом, безмолвно сидит на ящике, другой, дородный, с крашеной бородой, ходит от стены к стене и время от времени выкрикивает: «Не имеете права!», руками размахивает; у третьего, похожего на солдата, окровавлена челюсть; четвертого она не разглядела, хотя он, кажется, тоже в амбаре. Видно, прикорнул в углу, в окошко не видать. По ее предположениям, басмачам допрашивать их надоело, хотя то, что от них надо было узнать, так и не узнали. Иначе б их прикончили, сказала она. Наш поезд с разъезда уже ушел, а товарный, конечно, стоит, он же без паровоза. На разъезде пусто, зато в кишлаке кроме басмачей есть и еще чужие, одетые, как «белые», в сукно. Похоже, они командуют басмачами, потому что она сама видела, как один из них ударил Мухитдина-курбаши камчой, а Мухитдин и его джигиты смолчали...

Я слушаю ее, рассказывающую без умолку, и думаю: ну и девочка! Ну и молодец! Могла бы заменить армейскую разведку!.. Она оживлена, но личико у нее усталое, чуть припухшее, она легонько поглаживает его пальцами, и в этих движениях — безотчетная прелесть.

— Тебя же домашние, наверно, обыскались — совсем пропала из дому!

— Нет, дома я была, показала, — говорит она, — никто меня не ищет... а вот вас — ищут!

— Ты откуда знаешь?

— Как откуда? Знаю... Кого ж еще, как не вас? Наверное, кто-нибудь заметил, что вы подались с поезда к кишлаку... Рыщут по улицам, по садам, даже меня один раз спросили, не встречала ли такого... высокого...

— Ну, а ты?

— Встречала, говорю, он в конюшне у мингбаши... — И она звонко, озорно рассмеялась, второй раз за время нашего знакомства. Но тотчас оборвала смех,

посерьезнела.— Вот, принесла вам...— И она сунула мне в руки сверток, который держала под мышкой. Это оказалась еще теплая кукурузная лепешка.

— Спасибо,— бормочу я. Она просто обескураживает, подавляет меня своей заботливостью, тем, что обо всем успевает подумать.

— Вот сейчас стемнеет,— говорит она,— и уйдете отсюда. Здесь теперь тоже опасно оставаться. Придется залечь в камышовых зарослях... Я вас проведу... там есть такое место на дороге, что можно незаметно... я проведу...

Она в самом деле благополучно перевела меня через дорогу; в темноте, в чудовищной путанице зарослей, где и днем-то мгновенно теряешь ориентировку и единственное, кажется, что можно определить, это в какой стороне река — по звуку и прохладе, она чувствовала себя как рыба в воде: легко отыскала прогалину, устроила меня там — и исчезла. А на рассвете появилась вновь — принесла кое-какие новости и еду...

В камышовых зарослях я пролежал два дня и две ночи. Промок с ног до головы, оброс бородой, на губах выступила сыпь, в зеркало я бы на себя теперь взглянуть не решился; но она всякий раз как приходит и приносит еду, садится и смотрит на меня неотрывно, пока я ем... На третий она с утра не пришла, так и пропала до вечера. Я уж себе места не находил, меня бил озноб, казалось, я потерялся в этих зарослях, как иголка в стоге сена, но главное, мне мерещились разгуливающие по кишлаку бандиты — мало ли что они могли с ней сделать... Едва стемнело, я уж приготовился выбираться из зарослей и идти на поиски — тут она и появилась. И с ходу сообщила:

— Я сказала о вас кузнецу из сгоревшего кишлака... Салиму-ака. А он уж сам знает, что делать...

Я еще не простил ей своих волнений.

— А он проверенный человек?— спросил я мрачно.

Она горделиво улыбнулась:

— Он о вас то же самое спросил!

— Ну и что?

— Я сказала «да».

Когда она улыбалась, сердиться на нее было решительно невозможно.

О кузнеце она больше ничего не сказала, рассказывала только, что творится и о чем говорят в кишлаке. А я ее слушал и думал, что, как странно, мы ведь до сих

пор не знаем имен друг друга! И не случайно: словно боимся обменяться ими, нарушить какую-то невидимую границу... Все-таки так глупо — я уже знаю, как зовут какого-то там кузнеца из погорелого кишлака, а ее имени не знаю! Я уж раскрыл было рот — задать этот вопрос, но она, словно почувствовав что-то, поднялась, заторопилась, исчезла, и у меня не хватило духу спросить. Когда она ушла, я стал думать, что надо было хоть о кузнеце расспросить, и тут же мне стало казаться: она назвала его имя каким-то особенным тоном... Пустяки, говорил я себе, она же еще ребенок... Птицы беспокоились на своих ночевках, крикала вдали какая-то заблудшая дикая утка, подо мной был сырой бугорок; вокруг, стоит не туда шагнуть, — трясина; дышала поблизости огромная река, камыш неумоимо шумел...

Бедная Аму, думал я, на твоих берегах, куда ни глянь — тут воюют, там дерутся, некогда людям и взглянуть на твою красу, некогда о себе подумать. Чем лежать, как загнанный волк, в сырых зарослях, не лучше ли в благовонном персиковом саду говорить о любви?

«Девушка, как же ваше имя?»

«...»

«А меня зовут Садык, да, Садык, я офицер...»

«И все молодые офицеры носят у вас такие красивые усы?..»

«Все, конечно! Но не всем выпало счастье встретить вас... Достаньте-ка из поясного платка еще одно яблоко...»

«Яблоко еще кислое, вот созреет — брошу его в реку, а вы поймите на том берегу...»

Раздается смех, река шумит... Нет, это камыш... Сон, только сон! Я задремал, что же меня разбудило?.. Далекий конский топот на дороге... он приближается... слышны голоса всадников... я тянусь к пистолету... Но что-то в близящихся голосах чудится мне знакомое...

— Юсуфзай! — кричу я во всю глотку, вскакивая, ломлюсь сквозь заросли, как медведь, с немислимым треском, едва не проваливаюсь в трясину, но удерживаюсь в последний миг, заросли навстречу мне тоже трещат, голова коня показывается, меня втаскивают в седло, и вот я уже на дороге, в окружении красноармейцев, что-то говорю, объясняю, спрашиваю, а глаза мои рыщут вокруг: нет, не видно нигде милой моей девочки...

Кто же их привел?

Снова появляется Юсуфзай, приносит бурдюк, поит меня водой и объясняет: эти вот джигиты ночью освободили от басмачей кишлак и разъезд, но понесли большие потери, в бою погиб их командир, сардор очень взволнован...

— Сардор тобою очень доволен, мы ведь знали о тебе почти все.

«От кого?» — хочу я спросить, но сдерживаюсь.

Мне приводят коня, красноармейцы верхами пускаются в путь, мы с Юсуфзаем — сзади.

Юсуфзай о чем-то мне говорит, кажется, его провало после долгого вынужденного молчания, я слушаю, а сам думаю безостановочно: неужели я так и уеду, не увидев ее? Неужели даже не попрощаюсь? Может, остановить Юсуфзая, объяснить ему — ведь постыдно не выразить хотя бы благодарности, когда тебе столько сделали!..

Мы проезжаем тополиную рощу, боковым зрением я замечаю в ней как бы тени двух всадников, но всадники меня не интересуют, мы едем мимо, а во мне крутится та же мучительная шарманка — как же так, не увидеть ее — это невысказано, попросить Юсуфзая — стыдно, это мне-то, мужественному, безжалостному шигавулу...

И вдруг я слышу такое знакомое, такое долгожданное, такое нежное:

— Эй...

Я спрыгиваю с седла; от тополиной рощи, простирая руки, спотыкаясь, падая, ко мне бежит девочка. Я устремляюсь к ней навстречу, она повисает у меня на шее, горит, задыхается, плачет, гладит мое лицо. Я притягиваю к себе ее худенькие плечи, и вдруг обжигающие губы на мгновение прикасаются к моим, весь мир кружится, она отталкивает меня обеими руками, вырывается, поворачивается, бежит.

— Подожди! — кричу я. — Подожди-и-и!..

Но она не поворачивается, отрицательно машет на бегу рукой.

— Постой! — кричу я снова. — Постой-ой!.. Как твое имя?!..

Она на мгновение останавливается, обращает ко мне отчаянное, залитое слезами лицо:

— Сумбу-уль! — кричит она. — Меня зовут Сумбу-уль!..

Из роши навстречу ей выдвигается всадник, который держит на поводу еще одного оседланного коня. Я успеваю горько, ревниво подумать, что это и есть тот самый кузнец Салим... Юсуфзай трогает меня за плечо, надо ехать, я взваливаюсь в седло, пыль, топот, через мгновение все это исчезает навсегда...

Я вспомнил ту историю из-за имени.

«Сумбуль Садриева...»

Продолжение истории знают все: мы с множеством трудностей добрались до Ташкента, но Туркестан был в блокаде, Оренбургская дорога перерезана, и мы передали содержание письма по радиотелеграфу: единственная возможность. Это, повторяю, всем известно. А вот стала ли та девочка Сумбуль Садриевой, известным ученым... вернее, была ли академик Садриева той беспокойной, горячей, незабываемой девчонкой по имени Сумбуль? Этого я не знаю. Поглаживаю свои серебряные как иней усы и думаю: приведет ли бог узнать? Да и зачем? Теперь — зачем?

Сумбуль Садриева...

Сумбу-уль...

На базе изыскательской партии в такое время мало кто бывает. В палатке главного гидролога есть, кажется, все, что может скрасить человеку жизнь: родниковая вода в бурдюке, овечий сыр в кувшине, закопанном в землю, на матрасе — двойная кошма, отличный полог для защиты от насекомых... Но Сабиру Тохтабаеву по-прежнему худо: голень все так же раздута, стала сиошной, рана гноится, суставы расслаблены. Мучит жажда, но смуглый до черноты лекарь, Гужсохта, сказал вчера перед уходом: пить как можно меньше. А Гуломали нет. Уже шесть дней его опустевшая палатка горела на солнце. Где ж его носит? Может, все-таки нашел что-то?

Из четырнадцати русел Чорданахра определены пока только шесть. Приблизительно определены. Если Гуломали найдет то, что обещал, — будет семь. Половина. Неплохо. Плохо, что время уходит. Просто улетает время. Опасность принятия правительством «Проекта Большой Аму» все реальней, все ближе. Вот что такое плоды предательства — подлости или слабости челове-

ческой: не сбеги доктор Сухайль с родины, можно было бы теперь выиграть по меньшей мере пять месяцев! А то и больше: уйма времени уйдет на то, чтоб изучить русла, и на то, чтоб договориться с племенами, заселяющими те места. Станный народ эти люди, не понимают собственной выгоды; странный народ — и разношерстный. А иные, когда говоришь: «к вам придет вода» — ведут себя так, словно у них начался пожар.

На прошлой неделе Сабир, изучая выявленную им самим вторую «нахр», познакомился с вождем кочевого племени, заселяющего земли в низовьях русла. Вождь — старый, но могучий, жилистый человек, с плотной волнистой бородой, подернутой проседью, с неизменно поблескивающими глазами, в пестрой чалме, с полотенцем на плечах — был одет в «пийрону тумбон»: национальную мужскую одежду, состоящую из рубашки свободного покроя, которую носят навыпуск, и кальсонообразных брюк с зауженными на щиколотках штанинами.

Он проворно соскочил со своей приземистой лошади, тепло поздоровался с гостем и велел стелить дастархан — на открытом месте, на самом солнцепеке. Звали его Хушрав-бобо; выглядел он, по правде говоря, хитровато и был постоянно в окружении четырех или пяти воинственного вида юношей.

— Значит, говорите, вода придет... — сказал он, выслушав Сабир, и к этому надолго свелась вся его реакция; он принялся о ком-то справляться у аксакалов, приказывал нести пищу: сушеный сыр из козьего молока, машевую кашу, суп с мясом, сваренный в чайнике, и еще множество других незнакомых Сабиру блюд, источавших дразнящие ароматы. Тем временем повеял ветерок из степи, стада зашевелились — на горизонте показались облака пыли.

— Сия благостная весть нами не одобряется, гость, — сказал наконец Хушрав-бобо, и Сабир в первое мгновение даже не понял, что это ответ на его сообщение. К тому же он был уверен, что услышит слова благодарности — ответ мало сказать что застал его врасплох: Сабир был просто обескуражен. Может, я не сумел им понятно объяснить, сказал он себе. Теперь, оглядев искоса аксакалов, он увидел, что они насупились, точно он принес им несчастье. Очень ему сделалось неуютно за этим дастарханом — словно незваному гостю.

— Почему же так, бобо?

Тон вождя племени, до сих пор очень сдержанный, осторожный, изменился, он стал не спеша объяснять:

— Наша жизнь здесь, дорогой гость, началась, когда из реки вода ушла и болота высохли... Вот и образовались эти пастбища, что вы видите! Мы по ним кочуем уже лет двести, а вы хотите снова принести нам болота...

Аксакалы после его слов стали тревожно переговариваться, но вождь одним движением руки прекратил это. Сабир, слушая вождя, кивал в знак того, что понимает объяснения. Ему и в самом деле стало все ясно: несколько столетий назад низовья реки, постоянно затопляемые, превратились в сплошные топи, у местных племен не было ни сообразительности, ни сил, чтоб использовать это обилие воды: они просто бросили земли и ушли. Когда же ушли и реки, болота постепенно высохли, поросли травой; ими-то и овладели пришлые кочевники. Что ж, их можно понять: иной жизни они себе представить не могут, эти бедные пастбища и есть их мать-земля! Но и им нужно попытаться объяснить, что беда заболачивания больше не повторится...

— Уважаемые аксакалы! — сказал Сабир. — Но ведь топей больше не будет, вода придет не сама по себе, ею будет управлять человек! Ведь не только на пастбища пойдет вода — сады будут сажать, оазис должен быть ухоженным, это в ваших же интересах. И вообще пришло время менять жизнь! Сколько можно кочевать, ведь сейчас в мире...

Еще не успев договорить, он понял — говорит совсем не то; он оборвал фразу, но на лица аксакалов уже легла тень отчуждения. Зато хитрый Хушрав сидел улыбаясь, как режиссер хорошо поставленной пьесы.

— Вы, может быть, не знаете, гость, — сказал он внушительно, проходясь ладонью по волнам своей обширной бороды, — но Афганистан кормят как раз эти кочевники! Не станет северных кочевий — не будет на базарах ни мяса, ни молока, ни шкур, ни шерсти... Между прочим, — добавил особо внятно и медленно, — правительство тоже знает, что значат кочевья для нашей страны...

В последних словах прозвучала уже прямая угроза. Сабир с ужасом видел свою ошибку, но еще не знал, каковы будут последствия. В этих местах новости распространяются не по радио, не газетами — из уст

в уста; и при каждой передаче обрастают преувеличениями и домыслами. Уже к вечеру среди людей племени началась чуть ли не паника! Но что было делать? Стихию не оставишь... И он отправился в другой оазис, расположенный у соседнего русла.

Туда был день пути, и весь этот день Сабир размышлял о кочевниках. Раньше при звуке этого слова он воображал полудиких людей, думающих лишь о сегодняшнем существовании: очистив догола одну территорию, они со всем скарбом перебираются на другую, готовя ей ту же участь. Здесь же были люди, вполне сознающие цену своей земли и, так сказать, все фазы своего круговорота на ней, свою роль в жизни страны, свою долговременную выгоду — и свое человеческое достоинство. Накануне, вечером, где бы ни появлялся — в юртах, у коновязей, у семейных очагов, Сабир всюду даже сквозь туман гостеприимства ощущал резкое недоброжелательство этих гордых тружеников, а кое-где ловил и открыто враждебные взгляды.

Но в соседнем оазисе его с первых минут встретили так радостно, что он сразу забыл вчерашнее. Здесь жили бедные трудолюбивые племена, которые ранней весной торопились напоить свои расположенные в низинах клеточки полей с бахчевыми и овощами, потом засевали подножья холмов ячменем, молили бога о дожде и ждали везенья. Каждый заботился о своем маленьком засушливом участке, обильно поливаемом только потом. И потому здесь в глаза бросались прежде всего не прополотые всходы, а межевые ограждения, меж камнями которых посеянные ростки поднимались заодно с колючками. У семей на счету были не только пара тощих волов да соха, но и каждая соломинка или коровья лепешка. И по обе стороны еле заметного древнего русла лежали уже желтые, иссохшие каменистые пространства.

Здесь осторожно сказанные Сабиром слова «вода придет» большинство поначалу даже не приняло всерьез, а кое-кто удивился, будто речь шла о несбыточном чуде. И все-таки благая весть полетела по хуторам, как прекрасная птица.

Угощение у вождя племени было не обильное, но людей собралось много, и беседа искупила некоторую скудость стола. Сабир оттаял душой. Он подробно рассказал о планах распределения вод Аму через древние русла Чорданахра. Конечно, это будет не скоро, заклю-

чил он, ведь план должна подкрепить наука, и правительство должно поддержать, и помощь улуса потребует... Это еще завтрашний день, но ведь во вновь освоенных районах Узбекистана, в их расцветших садах и зажиточных хозяйствах такой завтрашний день уже наступил! И Сабир стал рассказывать снова. Слушали его с открытыми ртами, со слезами на глазах, только один старик спросил под конец:

— Скажи, сынок, вот говоришь — завтра вода придет; а если придет, кто, к примеру, будет ею распоряжаться?..

Все молчали, и Сабир как бы очнулся. Не выронил ли он снова дыню, которую нес в подарок? Так они, выходит, слушали это просто как сказку! Неужели и эти, так жаждущие воды, не готовы ее принять и использовать? Ту самую воду, что придет сюда ценою стольких трудов, мучений, средств! Опять перед ним глухой стеною встает то, из-за чего уже не раз опускались руки и хотелось бросить все и уехать... Но вождь племени понял состояние Сабира. Это был высокий худощавый человек с обаятельным лицом, обрамленным длинными льняными волосами — их стягивала ременная повязка; далеко не старый, он, однако, звался уже Кулбобо — знак уважения соплеменников.

— Вода пусть приходит,— сказал он спокойно и уверенно,— а уж достойных людей ей в хозяева мы подберем, мы же дехкане, слава богу...

— Но, Кулбобо,— возразил кто-то,— вода нужна, у кого земля есть, а у кого нет — тем все равно...

Кулбобо это явно не понравилось.

— Вода — бесценна, вода святая, нельзя впадать в святотатство! — сказал он. — Давайте поблагодарим гостя за благую весть! Аминь, рабб-иль алямин¹.

Все стали подниматься, и Сабир тоже. Но настроение после этого примирительного «аминь» отнюдь у него не улучшилось. Ему вспомнилась Зулейхо, ее чистые как родники глаза. Теперь всегда было так: стоило пасть духом — эти глаза вспыхивали в его сознании, как спасительная звезда, и тянуло тут же пуститься в путь к старинной усадьбе дяди Гуломали, Шокалона. Однако в одиночестве его не оставили. Явился сам Кулбобо и проводил в «обогревальню» — нечто вроде гостиницы, расположенной близ мечети. На кошке —

¹ Формула из Корана, буквально: «Слава хозяину миров».

толстый матрац, на супе расстелена легкая скатерть, чай, хлеб, над очагом пытит черный кумган; чудесная ночевка! Но кто-нибудь все время приходил, уходил, появлялись новые посетители — пожилые и молодежь, оборванцы, что работают на бахче, пахарь, вернувшийся с поля... Слух о нем разнесся, все торопились задать свои вопросы, и Сабиру казалось — он находил с ними общий язык. На душе у него полегчало.

Оставшись наконец один, он готовился лечь спать, как вдруг острый укол пронзил его правую ногу, и тотчас заняло все тело. Он вскочил было, но взвыл от боли в ноге и повалился на кошму, мечась и крича. На крики прибежали люди — и остановились в испуге, ничего не понимая, тараща глаза; пожилой дехканин подошел к Сабиру, спросил, что с ним, но Сабир и ответить не мог, только кричал и извивался, показывая на ногу. Принесли фонарь, кто-то навалился на Сабира, не давая метаться. Нога раздулась как бревно, два человека не могли стащить сапог. Явился Кулбобо, крайне взволнованный.

— Что-то укусило? — спросил он Сабира.

— Н-не знаю...

— Найдите Гужсохту! Гужсохту позовите! — крикнул Кулбобо. Он положил голову Сабира себе на колени и влажной ватой вытирал ему лоб, покрывавшийся обильным холодным потом. Старик дехканин взял нож и разрезал сапог. Чудовищно вздувшаяся голень была твердой и белой. Наконец пришел Гужсохта — худой как щепка, полуголый, черный, словно только из копильни. Это был врачеватель племени, гадальщик и заклинатель. Он, видимо, сразу оценил положение; для начала сорвал портянку с ноги, скомкал и бросил в пустое ведро, стоявшее в углу, потом взял у Кулбобо вату, сильно протер вздувшуюся голень, осмотрел — и кивнул самому себе: нашел точку укуса. Сев на корточки, он присосался губами к найденному месту и стал отсасывать жидкость, яростно массируя ногу вокруг и то и дело сплевывая. Сабир кричал от невыносимой боли, пытался вырваться, но его держали несколько человек. На шее Гужсохты вздулись жилы, он сплевывал уже не слюну, а кровь. Голень превратилась в сплошной синяк. Это мученье длилось минут двадцать, потом Гужсохта острием ножа проколол место укуса, так что пошла черная кровь, дымом какой-то подожженной травы окурил рану и приложил золу. Принесли виног-

радный сок, часть его Гужсохта вылил на рану, остальное выпил сам. Лишь после этого он бросил свое измученное тело на супу рядом с больным. Боль в ноге ослабла, Сабир лежал рядом с табибом, оба обливались потом.

Никто из собравшихся не уходил. Гужсохта, видно, отдышался, наконец он поднялся, подошел к ведру, вытащил двумя пальцами скомканную портянку и встряхнул. Поднесли фонарь: на земляном полу лежал раздавленный каракурт — огромный, отвратительный. Все ахнули, забормотали. Гужсохта, не промолвивший до сих пор ни слова, обернулся к Сабиру.

— Бале!— сказал он хриплым голосом. Сабир слабо улыбнулся, но толком не понял, к кому относится этот возглас одобрения — к нему или к самому Гужсохте. Все снова заговорили, голоса были радостные, но Гужсохта сделал им знак умолкнуть и разойтись, показав на больного. Все сразу повиновались; они выходили, оглядываясь, улыбаясь Сабиру, точно старались его ободрить или выразить сочувствие. Возле супы остались только Кулбобо и знахарь. На дервиша похож, думал Сабир. Или... или на угольщика. Воистину «сохта» («обгорелый»)!

— Уважаемый табиб...— заговорил Сабир, еле ворочая языком,— вы... рискуя жизнью... спасли меня... от смерти... я ваш должник до... до... светопреставленья...— Гужсохта смотрел на него, не проявляя никаких чувств.— Сейчас у меня... нет ничего, чтоб... чтоб отблагодарить... но позвольте... посвящу вам... мою оседланную лошадь!

Гужсохта молча поднял с земли разрезанный сапог Сабира, потер кожу, поднес к носу, понюхал, снова швырнул сапог наземь.

— Откуда приехали, чужестранец?— спросил он.

— От... от ваших соседей... кочевников... а что?

Знахарь многозначительно глянул на вождя, тот на мгновенье опустил веки в знак понимания. Гужсохта порекомендовал пить как можно меньше в ближайшие два дня, пожелал выздороветь — и ушел.

Сабир с трудом приподнялся ему вслед:

— Отвяжите же... лошадь... Он что... обиделся?

— Нет,— с улыбкой сказал Кулбобо,— он не обиделся, но и не возьмет ничего, взимать что-нибудь с больного — грех, так он считает... Не в этом дело. Вы видели, как он нюхал сапоги? Они у вас выделанной

кожи, к голенищу такого сапога каракурт и близко не подползет!

— Что вы... что вы хотите этим сказать?..

— Кто-то нарочно сунул его к вам в портянки!

— Не-ет... нет, не может быть!.. Что вы, уважаемый Кулбобо!..

— А все-таки вспомните... Кочевники вас хорошо встретили?

Сабир вспомнил свое пребывание у них, злые взгляды... Но нет, нельзя и виду подать. Эти племена, должно быть, и так в не слишком тесной дружбе.

— Встретили... прекрасно,— сказал Сабир как можно тверже.— Я... никого не могу подозревать... И потом...— он помедлил, обдумывая,— потом... если б мне его сунули... на рассвете... что ж он столько... не давал о себе знать?

— Ну, так бывает!— сказал Кулбобо. Видно, и ему какая-то мысль пришла, он помрачнел.— Бывает,— повторил он.

— Нет... ерунда... сам заполз... может, на привале...— сказал Сабир. Кулбобо покачал головой.— И потом...— продолжал Сабир,— я же... человек, работающий в поле... у нас все... все бывает... и змеи... и каракуты... Теперь вылечусь... спасибо табибу! Выбросьте все... из головы, сардор... И спасибо вам!..

На рассвете Сабир настоял на том, чтоб уехать на базу. Чувствовал он себя еще скверно, на ногу едва мог наступить, но валяться здесь дольше, решил он, не следует. Его усадили на коня, трое юношей их племени его проводили. С коллегами на базе он вдаваться в подробности не стал, прошел прямо в палатку Гуломали. Самого главного гидрогеолога не было.

Оставшись один, Сабир впервые сам обнажил голень — и испугался: она по колено стала синей, утратила чувствительность, рана стала гноиться. Одно утешение — яда в крови теперь не должно оставаться, ведь его и не тошнит. Замечательный человек этот черный табиб! Как он выложился вчера, рискуя жизнью, а ведь сам-то — кожа да кости. Кто ему Сабир? Чужой человек, пришелец... Но — человек! Если бы не бескорыстная помощь этого полуголого, в лохмотьях, бедняка — не лежать бы тебе теперь здесь живым...

Чем можно отплатить за такое добро? Только снова, в который раз, дать зарок творить такое же бескорыстное добро этим простым, бедным, трудолюбивым

вым людям... Ах, если б только от него зависело!.. Но ведь стоит поверить в возможность какого-нибудь б о л ь ш о г о доброго дела, как тут же обнаруживаются едва одолимые препятствия... А теперь вот и Гуломали запропал. Ну да, они нашли несколько русел, но чтоб увериться — это именно те, о которых пишет доктор Сухайль, надо отыскать в с е ч е т ы р ь а д ц а т ь! Хорошо еще, если он, Сабир, пытаюсь сократить сроки и облегчить путь, не впал в ошибку... А если поддался соблазну удачи? Если все — не то? Ведь сколько бесценного времени потрачено!.. И что тем временем делается в Кабуле? Ну конечно, люди из «Джеймс Моррисон» во главе с этим господином Лалом Махдий землю носом роют, чтоб навязать правительству свой проект. И это мое разлеживание им весьма кстати... О черт, как не везет! Сабир попробовал вернуться на другой бок — и застонал от боли в ноге. Как еще он добрался до базы с такой голенью...

В полночь его разбудил стремительно приближающийся конский топот, который разом смолк недалеко от палатки. Сабир с трудом приподнялся навстречу решительным шагам, поднял фитиль в фонаре.

— Гулом?.. — спросил он.

Откинув полог палатки и как бы вырываясь из прохладных голубоватых объятий ночи, Гуломали с шумом швырнул свой хурджун наземь. Сабир почувствовал — чем-то он доволен.

— Где ты запропал? — сказал он.

— Есть в термосе кофе?

— Кофе нет, я приехал вечером и заснул как убитый...

Гуломали, должно быть, сразу заметил болезненную слабость его голоса:

— Эй, постой-ка, глянь на меня... — Он направил фонарь на его лицо. — Что с тобой, дружище? Ты так спал с лица, точно месяц в тюрьме просидел!

— Что со мной может быть! — сердито сказал Сабир. Не стоило пока ничего говорить Гуломали, пусть сперва о своих делах расскажет... — Говорю же — просто устал как собака.

Еще раз недоверчиво глянув, Гуломали зажег примус, поставил на него медную посудину с водой, чтобы сварить кофе.

— Но, слушай, Гулом, имей совесть, скажи, наконец, хоть слово! Пропадал почти неделю, теперь кофе

варишь, рассуждаешь о моем лице... Нашел ты хоть намеки на русло?..

— Нет,— сказал Гуломали, стуча в полутьме банками; что-то уронил и, кажется, разбил. О черт! Его невозмутимость раздражала Сабира, да и нога болела — нашел время в кошки-мышки играть!

— Нет?.. Совсем ничего?..

— Не нашел, говорю же! Ну, не смог найти, что ты хочешь!.. Дай хоть чашку кофе выпить! Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не имел...

— Извини,— сказал Сабир, осторожно подвигаясь к столу, сколоченному из досок.— Я, кстати, тоже голоден...— Он приподнялся, сел на складную табуретку.

Гуломали допил кофе, вытянул губами последнюю каплю.

— То русло, которое искал, я не нашел,— сказал он.

— Это я уже слышал...

— Но я нашел кое-что другое, так что ездил не зря...

— Что другое?.. Нам нужно это седьмое русло, черт возьми!

— Я нашел... самого доктора Сухайля...

— Что-о?..

— Что слышишь...— Гуломали наклонился и начал рыться в своем хурджуне.— Вот!— сказал он, наконец выпрямляясь. В руках у него был большой самодельный конверт, он вытащил из него толстую растрепанную тетрадь и положил на стол.

— Что это?..

— Это сохранили люди, которые похоронили доктора Сухайля...

— Похоронили?!.. Значит, он...

— Да, к сожалению, я нашел его не живого, а мертвого. Точнее — его могилу. Но нашел!.. Смотри... Читай!

— Но... где могила? И кто эти люди?..

— Могила — в горах. Горцы нашли среди камней исковерканное тело и похоронили. Эта тетрадь была у него за пазухой. Они сочли за благо ее сохранить. Получить ее от них было не так-то просто... Хотя они ведут полудикую, с нашей точки зрения, жизнь, это на редкость добродушные и честные люди! Однако чужих они боятся и подозревают во всевозможных злых умыслах... Но я им рассказывал о воде, они стали на-

зывать меня «мираб», и в конце концов я завоевал их доверие. Слово за слово, они и рассказали мне о погибшем человеке, тетрадь показали — они считали ее амулетом доктора, представляешь!.. Впрочем, до известной степени так оно и было... Прочтешь — поймешь. Я, как только проглядел несколько строк, сразу понял, кто был этот погибший! Ты читай, читай... Это не тетрадь — бомба! Настоящая бомба!

Сабир подвинул поближе фонарь, но хлеб отодвинул — все-таки тетрадь лежала на мертвом теле! — и принялся читать: «Я встретил их в Мазари-Шерифе, в невзрачной кофейне... учился в Лондоне... так неожиданно, на старости лет... в изыскательской группе... с того дня... нити между нами оборвались... я понял, что он не имеет никакого отношения к науке... теперь он будет стараться... меня дискредитировать... или вообще уничтожить... надо разгласить их планы...»

Сабир дочитал, задыхаясь. Нога болела, но он вроде этого и не чувствовал.

— Ну... дочитал?! — спросил Гуломали.

— Дочитал... Кошмар какой-то! А мы-то думали... Значит, он просто не уберется... А мы так-таки и поверили, что он предатель!

— Ясно... но мы-то... взяли грех на душу, да простит нас аллах...

— А господин Лал-то, а? Обыкновенный убийца! Гангстер с геологическим дипломом!..

— Кто знает, какие там у него дипломы...

— А я... ей-богу... я так и знал... так и чувствовал — он должен быть чем-то в этом роде!

— Что ж ты не поделился?

— Чем делиться? Доказательств-то никаких...

— Ну, а теперь что будем делать?

— А что теперь? Еду в Кабул. Можешь считать: провокация под названием «Проект Большой Аму» разоблачена. Господин Лал сам себя выдал...

— Ну, положим, еще не выдал. Не надо так спешить. Ты уверен, что одно это — достаточное доказательство?

— А как же! Это же документ! Собственноручный текст! Это даже для суда доказательство. И потом — написано для газеты, ты видел конверт?

Сабир глянул и только теперь заметил на конверте надпись тем же почерком — интеллигентным, изящным: адрес редакции «Кабул таймс».

— Да...— сказал он.— Боролся до последнего часа... в полном смысле...— Он помолчал, потом сказал решительно:— Все равно, надо как следует обдумать. Не забывай: мы с тобой — заинтересованная сторона... Если...

— Никаких «если»! Не было у нас доказательств. Я тебе говорю: это и суд бы учел! Теперь главное — времени не терять...— Гуломали бережно вложил тетрадь в конверт.— Будь уверен, когда правительство с этим ознакомится, компанию «Джеймс Моррисон» по головке не погладят... А как только устранится это главное препятствие — примемся всерьез за работу. Так что я еду в Кабул...

— Когда?

— Завтра! Вернее, сегодня... На рассвете!

— Да... Ты говоришь — главное препятствие... Главное — это верно... Препятствий хватает!

— А в чем дело?

— Да вот — эта моя поездка в племена...

— Что-нибудь случилось?

— И да и нет...— И Сабир рассказал и о кочевниках, и о землепашцах.

— Ты понимаешь,— закончил он возбужденно,— в сущности, они все против! Даже те, кто — за! Опять то же, что и у твоего дяди!..— Он совсем было забыл о ноге, встал машинально и, охнув, опустил на табуретку.

— Да что с тобой такое?!..

— Нога-а!.. О-ох..— Пришлось показать ногу и все рассказать.

Гуломали очень обеспокоился:

— Нужно везти тебя к врачу!

— Но...

— Что за «но»!

— Послушай, ты опять суетишься... Кто мне поможет больше, чем тот знахарь? Он сказал, чтоб я просто отлежался...

— Ну и что?

— Ну и то, что уже действительно легче...

— Не очень-то легче, как я вижу... Знаешь что — попробуем убить двух зайцев сразу: я поеду в Кабул, а тебя отправлю к деду. Тебя и врачу покажут, и ты деду расскажешь о Сухайле. Это во-первых — ведь если ему эту новость не сообщить, он потом смертельно оби-

дится... И, во-вторых, он нам поможет в переговорах с племенами.

— Но он такой старый человек... — Сабир вспомнил, как выглядел Сардор тогда, в кресле, перед тем, как они уехали.

— Все равно, лучше, чем он, никто этого не сделает... А может, кроме него, и вообще никто не сделает! Ты не знаешь моего деда...

Когда Сабир открыл глаза, его словно бы обдало тусклым жаром; воздух, казалось, был горячим и непрозрачным, тело пылало. Он не мог вспомнить, даже приблизительно, когда потерял сознание. Припоминалось только, как отчаянно разбалчивалась нога оттого, что терлась о конские ребра, пока он сидел в седле; ну, конечно, он выехал на рассвете и ехал почти целый день; дорога казалась ему на этот раз нестерпимо долгой: длинные горные долины по сторонам сделались похожи одна на другую, ему было не до их красоты; кишлаки, празднующие навруз, гузары, кишащие людьми, качели на площадях, украшенные степными цветами, женщины, отбивающие тесто о камни, чтобы испечь сангюн — «каменный хлеб», орущие босые ребятишки, надоедливые звуки камышовых свистулек, соревнования по стрельбе из лука на полянах — «Гуд-и-паррон», конный цирк на тюльпановом базаре, — все это слилось в одну громадную, бесконечно тянущуюся картину. Сперва, он помнит, у него голова стала кружиться — еще подумал: значит, в крови яд остался и воды утром слишком много выпил. Вцепился в луку седла, боялся ослабить хватку, чтоб не свалиться с лошади. Конь, бедняга, привычно шел дорогой, даже ход замедлил, видно, чувствуя состояние всадника. Да, еще несколько раз он, Сабир, полоскал рот водой из старой отцовской солдатской фляги, которую всегда возит с собой; кажется, уже смеркаться начало... вот, вот, видно, тогда, в сумерках, он и потерял сознание...

Но теперь, он чувствовал, лежит, удобно лежит, и рядом кто-то есть. Неподалеку конь фыркает, с хрустом жует сено... Тот, что рядом с ним, обрисовывается смутной тенью то справа, то слева, кладет ему на лоб мокрое... Потом пространство перед глазами Сабира понемногу проясняется, и он видит ветку абри-

коса, качающуюся над ним; от этого качанья голова у него снова кружится, он прикрывает веки.

— Гость... гость... как вы себя чувствуете? Где болит?

Какой странно, отдаленно знакомый женский голос... Сабир открывает глаза, но вокруг снова туман.

— Где я?..

— Не волнуйтесь, у друзей... Ночью вас привезла сюда ваша лошадь, вы скорчились в седле и были без сознания... Вам лучше?

Господи, какой сладкий голос. Но к горлу тут же подступает тошнота...

— Тошнит...

— Вот кислое молоко, глотните...

Сабир чувствует у себя на губах деревянную ложку, в рот проникает прохладная кислота катыка. Он приоткрывает глаза... Прямо перед ним какое-то черное облако... Нет, не облако — это густые черные волосы... Они перевязаны белым платком... И вот лицо появляется, всплывает, останавливается перед ним — овальное, бледное, невозможно прекрасное, как во сне... огромные, словно бы молящие глаза, чуть вспухшие губы...

— Зулейхо... — шепчет Сабир.

— Ну вот, узнали! Слава богу... Я вас тоже сразу узнала, когда увидела на лошади... Хотя вы были на себя не похожи. Но я вспомнила: это вы приезжали тогда с Гуломали-ака...

Сабир собирает все силы, чтобы прийти в себя, чтоб глаза не закрывались и смотрели на нее без помехи, чтобы, может быть, даже встать — стыдно лежать здесь перед ней такой развалиной, — но голова кружится, сил нет...

— Зулейхо... — шепчет он снова.

— Что? Я слушаю...

Что-то надо придумать, что-то спросить, нельзя произносить ее имя всуе.

— А дядя Шокалон... ваш отец... он здоров?

— Да, он здоров, здоров! Он уложил вас сюда и велел, чтоб я присматривала за вами. У вас был солнечный удар, отец привезет доктора.

— Нет, это не солнечный удар... это другое... раньше... — Ни за что нельзя ей рассказывать об укусе, о посиневшей ноге, рядом с ней эти отвратительные подробности невыносимы. — Мне уже лучше... я подни-

мусь и так... без доктора... тем более — табиб меня уже смотрел...

— Да? И что?

— Сказал — все в порядке!..

— Какое там в порядке — видели бы вы себя на лошади!

Он чуть не сказал: плохо, что вы меня такого видели!

— Но теперь я отлежался... скоро встану... а... дед ваш... Хайридин-бобо... он тоже здоров?.. Он приезжал тогда... мы с ним беседовали...

— И он здоров, спасибо...

— А домашние?..

— Они все на наврузе...

— Ох... значит, вы одна дома...

Она вспыхивает, чуть отворачивает голову:

— Да...

— Вот беда какая... Из-за меня вы и на празднике не повеселились...

— Это не страшно! Ведь большой праздник был вчера!.. Чаю хотите? Смотрите, сколько с праздничного дастархана вкусных вещей...

Он чуть скашивает глаза — в самом деле, на маленьком столике рядом — множество разных сладостей, хлеб, кишмиш, орехи; пиала наготове...

— Чаю — хочу...

И он пьет чай — она поит его. Он наслаждается не столько горячей терпкой жидкостью, которая и вправду словно омывает все внутри, сколько немимолетной близостью девушки, сознанием, что она здесь — только ради него и не исчезнет, как случайное виденье, по воле неизвестных сил. Ему становится все лучше с каждой минутой. Вскоре он и впрямь уже в силах встать; и, невзирая на ее возражения, привстает, потом садится. Видит поодаль свои сапоги, вычищенные, чинно стоящие рядком; потом замечает свою гимнастерку — она лежит на краю супы, выстиранная, выглаженная, аккуратно сложенная. Горячая волна благодарности окутывает его, на глазах вот-вот слезы выступят. Никогда ни к кому — ни к матери, ни к бабушке, ни к сестре — не испытывал он такой благодарности за столь простые заботы. Но она... Это все равно что звезда небесная спустилась бы с неба почистить его сапоги и выстирать рубашку! Он смотрит на нее — она возится с чем-то и вроде бы не замечает его взгляда, он смотрит и видит

ее как бы в легком тумане. Ага, слезы все-таки чуть смочили веки... И ему кажется — нет, не кажется, так и есть! — она стала иной, чем помнилась с прошлого раза. Красота ее как-то упрочилась, расцвела, стала еще более властной и победительной. На ней уже не ситцевое платышко, из которого она выросла, а новое, широкополое, достаточно длинное. Сшитое на деревенский манер, оно немного скрадывает фигуру, зато его широкий атласный пояс плотно обхватывает талию. Когда она нагибается, становится видна пышная зрелость девичьего стана.

Он встает, умывается — она опять ахает, уговаривает его еще полежать. Но он чувствует — ему уже все под силу!.. Умываясь, он случайно забрызгивает водой свои начищенные сапоги, она стремительно кидается их вытирать, а он не знает, куда деться от смущенья. Она старается это замять.

— Хайридин-бобо,— говорит она с прелестной улыбкой,— уверяет, что я узбечка... Да! Мы, говорит, состарились, но ты не забывай родину отцов и дедов...— Она смеется.— Правда, мой отец вовсе не с той родины...

— Зато мать — оттуда...

— Мать — оттуда...— повторяет она, затуманившись.

— Хайридин-бобо у вас еще крепкий старик,— говорит он, чтоб нить разговора, не приведи господи, не оборвалась. Сколько же ей, однако, лет? В прошлый раз это казалось так очевидно, а сейчас — нет, он бы не взялся определить...— Зулейхо,— говорит он,— а сколько... сколько вы классов школы окончили?

— Четыре! В наших кишлаках больше не бывает... А у вас что, в каждом кишлаке большая школа?

— Зулейхо...— Какая радость произносить ее имя! Если бы он мог преподнести этой девушке все, что она пожелает, всю красоту, все знания, все богатства мира!..

Умывание холодной водой заметно ободрило его. Нога, правда, еще болит, но слабость уже прошла. Он взглядывает на небо. Он давным-давно должен бы находиться в другом месте... Сколько времени потеряно... Нет, не потеряно! Ему кажется, что он теперь только обрел время — время жизни, в которой есть настоящая, без горечи, радость, подлинная, без сомнений, цель. А все-таки ехать надо... Нельзя откладывать.

— Мне... мне нужно ехать, Зулейхо...— Как это, оказывается, трудно выговорить...

— Ой, но ведь отец привезет доктора...

— Надеюсь, что нет, и к тому же мне лучше, а доктор, я ведь говорил, меня уже смотрел...

— Не уезжайте не позавтракав, это нехорошо.

Неужели она и впрямь огорчена, или ему показалось?

— Но у меня действительно неотложное дело, Зулейхо! Я ехал... я ехал с важным поручением к Сардору Садыку...

Да, он так и думал — это имя произвело действие. Зулейхо молча взяла две лепешки, еще какой-то еды, положила в хурджун гостя. Потом пошла в сторону конюязи.

Сабир поднял хурджун, догнал девушку, перебросил суму через седло, взял в руки поводья — и замер перед Зулейхо. Слова не получались.

— Неловко, что я...— пробормотал он наконец,— что я так побеспокоил вас... и вашего отца...— Он положил правую руку на шею коня, погладил.— Это все он виноват, коняга мой...

— Да, если б он вас не привез, вы б и не приехали...— Она тоже положила руку на холку.— У вас хороший конь... Лучше, чем вы сами!

Губы у нее, кажется, чуть дрожали.

Сабир наклонил голову, чтоб этого не видеть, сунул ногу в стремя, снова помедлил — и поднялся в седло. Кожа на шее коня подрагивала, блестела.

Зулейхо сняла руку с лошади. Она смотрела в землю. Он наклонился:

— Зулейхо!.. Прощайте — и не обессудьте. Я еще появлюсь, чтобы выполнить желание вашего деда, ладно?

Она стремительно и недоуменно вскинула голову, в глазах у нее что-то сверкнуло.

— Чтоб рассказать вам про Узбекистан!— крикнул он, уже тронув коня. Конь быстро прошел открытые ворота, заржал коротко — и полетел как ветер.

На этот раз Сабир застал Садыка Сардора во время вечерней прогулки. Привязав коня у ворот, он пошел старику навстречу, вдоль арыка, поросшего низеньким кустарником: высокая фигура Сардора видна была из-

далека. Они встретились у миндалевого дерева, осыпавшего лепестки. Сабир приветствовал старого воина почтительно и сердечно, и тот, в свою очередь, обнял и прижал его к сердцу — как сына.

Чтоб не делать крюка, они перешли арык по переброшенному бревну и вошли во двор через боковую калитку. В гостиной сели в кресла, стоявшие посреди разбросанных или сложенных стопками книг. Хозяин провел ладонями по лицу, как бы в знак молитвы, потом потрогал чайник, не остыл ли, и предложил гостю утолить жажду.

— Только сейчас,— сказал он, передавая пиалу,— я понял причину моей сегодняшней тревоги... Должно быть, с утра чувствовал, что вы ко мне поспешаете,— и ждал вас... С какой вестью, сын мой, пожаловали?

Старик, конечно, ждал новостей о их поисках и работе. Известие о гибели Сухайля будет для него тяжелой неожиданностью... тем более что наверняка вызовет угрызения совести. Надо его как-то подготовить, начать издалека... И Сабир стал рассказывать о найденных русле, сказал, что эти находки в любом случае представляют интерес для науки; бегло помянул о поездке в племена...

— Да,— сказал он,— что ни говори, а если б доктор Сухайль мог нам помочь, дело двинулось бы куда быстрее. Он ведь уже нашел то, что мы ищем.— Старик нахмурился. Сабир сделал вид, что этого не заметил.— Но, несмотря ни на что,— продолжал он,— доктор внес в дело ирригации севера вклад неоценимый... научный, политический... героический вклад!

— Что вы говорите такое? Неоценимый? Героический? Чего ж он тогда сбежал?..— Седые брови Сардара сдвинулись, он вперил грозный и недоуменный взгляд в Сабир, не замечая слуги, пришедшего с дастарханом и ожидавшего, пока хозяин снимет ладони со стола.

И Сабир рассказал о находках Гуломали.

Старик слушал, подрагивал щеками и губами. Дослушав, он встал, снял с головы феску и обернулся к стоявшему в углу книжному шкафу.

— Аллах да простит меня, но и ты прости, Сухайль...— Голос его дрогнул, он протянул руку, распахнул дверцы, вытащил одну за другой три книги, протер пыль, поставил обратно. Сабир понял — это

были книги доктора. — Сухайль, — сказал старик хрипло, — да проглочу я свой язык, которым проклинал тебя!.. И ты ушел, как тысячи наших, что отдали жизнь во имя родины... А я не был с тобою в твой страшный час одиночества! Не был... Я клял тебя, когда ты лежал, раздавленный камнями... М-м-м! — Он ударил себя рукой по лбу и замолк надолго. Так он стоял — изваяние горя. Потом лава ярости заклокотала под пеплом. — А эти, — сказал он бешено, — эти коварные, двуличные палачи! Лазутчики! Змеи! Столетиями нас обирают! Посылают на смерть лучших из лучших...

Он вдруг покачулся. Сабир успел подскочить, не смотря на больную ногу, подвел его к креслу, усадил, налил горячего чаю. Старика трясло.

— Сынок, — сказал он, — не уходи, не оставляй меня наедине с горем...

— Нет-нет, Сардор, что вы! Я останусь! К тому же у меня к вам долгий разговор... Успокойтесь, Сардор. Сказать правду, для нас только теперь наступает время настоящей, спокойной работы. Пусть только вернется из Кабула Гуломали...

Старик пил чай маленькими глотками; должно быть, он понемногу приходил в себя — лицу его возвращалась та ясная величавость, что была ему свойственна. Он осушил пиалу, слегка наморщил лоб, видимо, что-то припоминая.

— У Икбала, — сказал он, — есть такие строки:

Хоть ночь за ночью тьма нас кроет снова —
пред светом дня дрожит, теряя мглу.
И от добра, умершего ль, живого,
покоя нету правящему злу!

— Да... — сказал Сабир. — Звучит так, точно сказано прямо о докторе... Увы, — он покачал головой, — я мало знаю о творчестве Икбала, хотелось бы знать, Сардор, чему он учил, о чем мечтал?

Старик чуть заметно улыбнулся.

— Он мечтал о таких людях, как вы, сын мой...

— Я?!.. Но... Таких, как я, очень много. Что ж о них мечтать? Надо просто оглядеться!.. Ведь я всего-навсего сын дехканина, убитого на войне.

— Да, вы правы, все мы просто люди, простые люди, но дела наши меняют нас — либо растят, либо превращают в ничто. Большие дела делают больших лю-

дей! Ведь вы говорили в прошлый раз — вместе с наставницей, Сумбуль-ая, провели тысячекилометровые каналы в пустыне, создали моря... Разве для этого вам не пришлось по-новому взглянуть на мир, шире видеть, думать крупнее, заглядывать далеко вперед? Разве большое дело, которое делает человек, не становится его жизнью?.. Нет, вы не такой уж обыкновенный человек, сын мой...

— Вы преувеличиваете, Сардор. Мне вот вы кажетесь необыкновенным человеком!.. Гуломали говорил мне: вы стремитесь просветить свой народ, проповедуете ему высокие идеи, раскрываете людям идеалы Икбала...

— Видите ли, у нас интересы людей ограничиваются семьей... ну, в крайнем случае, общиной, племенем. Конечно, этот общественный эгоизм коренится в условиях жизни, это — равнодушие поневоле; и география у нас, сами знаете, не простая... Потому я и говорю всегда: идеалы Икбала, вера в человека, которую он исповедовал, у нас особенно важны. Его замечательные поэмы «Тайны своего я» и «Секрет самоотречения» должен знать каждый мусульманин! В них мусульманская мораль тесно связана с проповедью общественной активности... А без такой активности мы далеко не уйдем! Мы слишком долго топчемся на месте — века, века, сын мой! Икбал говорил: «Хастам агар меравам, гар наравам — нестам!» Пока я движусь — я есть, остановлюсь — меня нет... Человек, его талант — это не возможность, это свершение. Росток либо растет — либо умирает! Так и человек — либо творит, выполняет свой долг перед людьми и страной, и при этом растет, совершенствуется... либо умирает раньше смерти, повисает сухой веткой, стоит мертвым стволом...

— Это мудро... И ведь сейчас — самое время превратить это в жизнь!

— Да, конечно! Именно сейчас, особенно сейчас... — Он задумался на мгновение. — Икбал сказал:

Кто истый муж — народу будь слугой,
и в этом все, бессмыслен путь другой!

Сабир почувствовал, что искренне взволнован. Он ехал сюда, чтобы попытаться использовать влияние старика, но теперь сам ощутил это влияние. То, что он

услышал, так совпадало с его недавними впечатлениями, с его надеждами и мечтами...

— Знаете, Сардор,— сказал он,— пожалуй, еще неделю назад я не был бы так готов воспринять то, что вы говорите... Но за эту неделю я многое увидел собственными глазами. Я уже говорил вам — ездил в племена, пытался выяснить, как они относятся к нашему проекту. И с огорчением убедился: они решительно не готовы принять воду! Да, да! Одни ее ждут, даже мечтают о ней, другие считают ее просто злом для себя, злом номер один для своей жизни и уклада... Но и те, и другие равно не готовы к приходу воды! Это парадоксально для безводных, в сущности, районов, но это так! И я знаю почему: они не в силах подняться над узкими интересами своего клочка земли, своего стада, увидеть что-то за пределами своего узкого мира...

— Вот именно, сын мой: они невежественны и потому эгоистичны...

— Ну, у нас сказали бы не совсем так: они социальны не готовы к прогрессу! Строй их жизни ему противоречит!

— Ну да, ну да, а я разве не сказал того же: их эгоизм порождают условия жизни!.. Но что вы хотите, разве мы можем в несколько дней или месяцев сломать, изменить вековые традиции, перестроить древний уклад?

— А зачем тогда наша работа, для кого, для чего?

— Сын мой, человек должен делать свое дело независимо от того, увидит ли он плоды своего труда...

— Да, да, конечно, но не в нашем случае! Ведь приди к ним сейчас вода, она у одних встретит яростное сопротивление, у других равнодушие, а в итоге не просто пропадет зря, а еще и вред принесет, заболотит, испортит земли, вместо того чтоб их возродить, улучшить... Великое благо обернется немалым злом! Так уже бывало, вы сами знаете.— Видите ли, Сардор, я не отношусь к традиции так фатально, так, простите, традиционно... Я думаю — ее нужно все-таки менять... иначе просто невозможно. И здесь мы не обойдемся без вас, без вашей помощи...

— Моей помощи?

— Да, Сардор, вы знаете, что значит для них ваше слово. Одно дело, когда все пытаюсь объяснить я — чужак, пришелец, молодой человек, другое дело, если скажете вы. Ведь ваше имя открывает здесь все двери...

— Ну, теперь я вам скажу: преувеличиваете, сын мой!.. Но что вы хотите, чтоб я им сказал? Может быть, они ко мне в чем-то и прислушаются, но я не заблуждаюсь: свои, кровные интересы они поставят выше моих слов! Хотя, может, и не подадут виду...

— Но в том-то вся и штука, Сардор! Нужно показать им, в чем их действительные интересы! И чтоб они поверили. В конце концов, мы ж не обманывать их собираемся — напротив, открыть им глаза... Если б вы могли выступить на Джирге племен...

— На Джирге?..

Сабир вдруг заметил, что старик страшно устал. Впрочем, он и сам чувствовал давящую усталость.

— Да, Сардор... Но, простите, я совсем заговорил вас... И завтра будет день, мы успеем все выяснить и обсудить...

Старик не стал спорить. Постели были уже готовы. Сардор отправился в спальню, Сабир лег тут же на веранде. Ему казалось, он уснет мгновенно, но сон долго не приходил. Звездная ночь месяца савр¹ была полна трепетом, дыханием, налетающий ветерок, казалось, осыпал попеременно белые лепестки цветенья и звезды с небосвода. Падающая звезда обозначает чью-то обрывающуюся жизнь, все мы в это и верим, и не верим... Сабир вертелся с боку на бок, поглядывал на огромное, полное сияющих точек небо — и наконец заснул. Разбудил его скрип. Был уже рассвет. Бадью тащат из колодца, сообразил Сабир. Скрип смолк, должно быть, пили воду, потом цепь, раскручиваясь, загремела снова. Шаги, дверь веранды отворяется, кто-то входит, тяжело дыша, опускается, кажется, прямо на пол у двери.

Сабир поднимается в темноте:

— Кто там?

Человек молчит, тяжело дышит, и тут отворяется внутренняя дверь, с фонарем в руках, в белой рубашке, выходит Сардор. Луч фонаря ловит сперва входную дверь, а потом и человека рядом — человек сидит на полу, прислонясь к стене, и рукою заслоняет лицо от света.

— Оставь фонарь, дедушка...

Это Гуломали, он все еще тяжело дышит, рубашка промокла от пота. Сабир подходит к нему:

¹ С а в р — месяц мусульманского лунного года, соответствует времени примерно от 21 апреля до 21 мая.

— Гуломали! Что случилось? В чем дело?.. Ты что, пешком добирался?

Гуломали, не отвечая, стаскивает сапоги. Потом взглядывает на деда — тот остановился прямо перед ним.

— Слушай, ну что случилось?— говорит Сабир.— И где... где тетрадь?

— Не до тетради... Дед, слушай... Я был в Кабуле, но не смог добраться до дворца...

— Подожди,— говорит Сардор. Он зовет слуг, велит принести таз с водой и полотенце.— Встань, умойся,— говорит он внуку.— Как следует ополосни лицо в холодной воде... И голову, голову в воду!

Сабир помог другу умыться, слуга принес горячего чая с лепешками.

— Дед,— сказал Гуломали,— в Кабуле светопреставление. В небе непрерывно кружат самолеты, в самом городе словно некончающееся землетрясение. Все дуканы закрыты, калитки домов заперты. Дворец окружен войсками. На берегах реки — пальба. Чиновники попрятались. Не поймешь, кто кого боится. Полная паника...

— Но даже при этом тетрадь...— нетерпеливо начал Сабир — и наткнулся на останавливающий взгляд Сардора.

— Тетрадь...— сказал Гуломали.— Кому она там нужна — тетрадь... Встречался я с двумя чиновниками... разыскал кое-как... сказал насчет нашего проекта. Куда там! Просто смеются. Нашел, дескать, чем сейчас заниматься!.. Люди, мол, озабочены тем, чтобы хоть жизнь спасти...

— А куда ты коня подевал? — спросил Сабир.

Гуломали не ответил.

— Гуломали,— сказал Сардор,— а что говорят военные?

— Они никого к себе не подпускают!

— А настроение какое? Вообще?..

— Настроение? Вообще? Все говорят об Абдул Кадыре... о генерале Абдул Кадыре.

— Об Абдул Кадыре?— переспросил Сардор. Глаза его сверкнули, высокая фигура подтянулась, стала, кажется, еще выше.

— Да, да, о том самом, вашем ученике...

— Ученике!.. Он не ученик, а выдающийся полководец! Ну, слава аллаху, у него-то дурных намерений быть не может...

Гуломали глянул на него исподлобья, так, чтобы старик не заметил. Потом сказал Сабиру:

— Конь у наших, не беспокойся...— Сам он словно бы тоже несколько успокоился, пришел в себя.

Старик вышагивал по веранде взад-вперед, взад-вперед.

— Дед,— сказал Гуломали,— а дед...— Старик остановился, глянул.— Идемте-ка внутрь, поговорить надо...— Старик кивнул.— Извини, Сабир!

Они ушли в комнаты. Сабир не обиделся, понял, что секреты — не от него. Видно, Гуломали не хочет открывать старику всей правды, чтоб его не волновать. А может, чтоб развязать себе руки — если впрямь что-нибудь страшное заваривается, Сардор возьмет да и не отпустит его!.. Но разговор явно затягивался. Пусть их, решил Сабир, полежу еще немножко...

Он прилег — и провалился в сон, а проснулся с ощущением, что проспал что-то важное. День сиял вовсю. Гуломали и след простыл. Зато Сардор был здесь, непривычно нарядный, в роскошном ширазском колухе, он степенно прохаживался по двору, и осанка была у него самая что ни на есть генеральская.

— Нашему Афганистану всегда везло весной!— сказал он, увидев Сабира.— Авось повезет и на этот раз... Коня своего выглядываете?.. Не обижайтесь, его взял Гуломали, я вам дам другого. И что он временно оставил вас и базу — тоже не досадуйте, пожалуйста: у джигита есть свои долги, которые надо платить... В решающие минуты он должен быть рядом с соратниками!.. Впрочем, они мне, конечно, ничего не сказали толком, но я все понимаю...— Он глянул на небо, на деревья, глубоко вздохнул.— Да, савр на дворе... Славный месяц савр! Я уже видел один такой радостный савр, сын мой... Дай бог ему повториться. Будет, будет на нашей улице праздник!

Что за дела у них грядут, с чем они связывают свои надежды, Сабир гадать не хотел. Нет, сказал он себе, какие бы перемены ни произошли, пусть даже Гуломали вовсе оставит его одного, → он, Сабир, проекта не бросит, не откажется от идеи использования русел Чорданахра. Ни за что не отступится! Ведь это не только даст дешевую воду засушливым областям, это еще и для бу-

дущего опыт бесценный. Уникальное научное и техническое достижение!.. И он шел к нему так долго, так трудно...

Он прогуливался со стариком меж тополей, но ко вчерашнему разговору не вернулся. Не то чтоб не рискнул — ясно, Сардору, как и Гуломали, сейчас не до того. Впрочем, они и вообще, прогуливаясь, не разговаривали, занятые каждый своими мыслями.

Около полудня Сабиру привели коня. Он распротился, не скупясь на благодарности, обещал давать знать о себе и обо всем — и отправился на базу.

Надо срочно отправить Сумбуль-аёе подробные гидрогеологические и топографические характеристики всех шести русел, думал он по дороге. А может, уже пришел ответ от нее на предыдущее письмо? Скитания Гуломали не позволили обобщить выводы всей группы. Ну ничего, с этим он и сам справится. Правда, есть кое-что, что сделать без участия Гуломали невозможно... Посмотрим, посмотрим... Тонкая женская фигура мелькнула на склоне сбоку от дороги, солнце высекло искру из какого-то украшения у нее на шее, и Сабир сразу вспомнил Зулейхо. Как странно, он не вспоминал о ней почти сутки! Острая, щемящая нежность разлилась у него в груди. Как ты там, Зулейхо?.. Зулейхо-о...

На базе дела оказались куда хуже, чем он ожидал. Вспомогательный персонал и некоторые лаборанты ее покинули, оставшиеся сидели сложа руки: некому было распорядиться о работе или отпустить их. В палатках о чем-то бесконечно спорили до хрипоты, перебранка между топографом и геодезистом едва не дошла до драки. К приезду Сабира только что вернулся из Кабула второй геодезист — единственный здесь обладатель мотоцикла. Этого толстого, спокойного парня словно подменили: он весь дрожал, без конца пил воду и неустанно подтверждал свои слова клятвами, хотя никто не подвергал его рассказы сомнению. Должно быть, он сам едва мог поверить тому, что видел.

— Клянусь! — говорил он, и в глазах у него была паника. — Там настоящий конец света! На улицах и площадях все орут во весь голос, один — «Да здравствует революция!», другой — «Мусульмане, побойтесь греха!» — клянусь, я чуть не оглох. И вертолеты еще режут в небе. Беспрерывно режут — клянусь, только

один пролетел — и уже другой... А возле дворца пушки гремят, пыль над городом вровень с горами стоит, клянусь! То вдруг все начинают вопить: «Президент убит!», то кричат: «Скрылся президент!» — и снова: «Правительство свергнуто!» Клянусь, свихнуться можно, попробуй понять, где правда... Кто-то бежит как ошпаренный в страхе, кто-то стоит и радуется как сумасшедший. Я уж бродил там, дороги не разбирая, не чаял выбраться — и вдруг, клянусь, возле здания Радио встречаю нашего инженера Гуломали! Глазам своим не верю, клянусь! На руке у него — красная повязка, и все к нему: «Товарищ Коргар! Товарищ Коргар!» А он меня увидел, подзывает, здоровается, я ему: «Что это будет-то?» А он, клянусь: «Что будет, то будет... Дурачок, что будет — то уже есть! Революция, говорит! Народное правительство! Не вешай носа! Беги на площадь Баге Умум, все там собрались, будет большая джирга, и ты все узнаешь!» Клянусь, так и сказал...

— А вы не спросили инженера Коргара, когда он вернется? — сказал Сабир.

— Э, куда там! У него рот до ушей, покрикивает на толпу, а о нас, клянусь, и забыл совсем.

— Эй, толстяк, — прервал его топограф, — что ты все клянешься, расскажи лучше, что там было на площади Баге Умум?

— А что было!.. Клянусь, не знаю — меня ж туда не пропустили из-за моего драндулета! Я и сам заторопился: здесь вы, дома дети — клянусь, не знал, куда и ехать, вот сюда пригнал... Так что теперь будем делать-то? Если там всерьез бой пойдет, что станется с нашими родными?.. Не видали вы нынешнего Кабула, не то, клянусь, и сами бы голову потеряли...

Этот вопрос — «что будем делать?» — и впрямь словно придавил всех. На базе оставалось семнадцать человек, большей частью молодежь, и все из разных мест. Те, кто был родом из глухих городков, успокаивали себя — у нас, мол, все спокойно. Вам бы только покой, говорили с досадой другие, столичные жители, вам бы только все по-старому!.. О работе никто и не заикался. Вдобавок к вечеру того дня, когда вернулся Сабир, полил дождь. Белая палатка Коргара стояла на откосе, под циновки потекла вода, зажурчали мутные ручейки, полог двери намок и шумно хлопал под ветром. По мокрому брезенту металась тень от качающегося фонаря. Сабир поглядывал на озабоченные лица

людей — на них явно читалось: тревога, тревога, тревога... За себя, за родных, за то, что будет завтра! Взрывное слово «революция» иных явно пугало. И в самом деле, как все пойдет? Не обернутся ли эти события неожиданным селем, что сметет в мгновение ока многие жизни, надежды, планы?.. А если даже нет — разве не может случиться, что выношенная, взлелеянная ими идея Чорданахра надолго отойдет на второй или на десятый план, как стало не до нее даже Гуломали и старому Сардору? Неужели придется свернуть все работы и отправляться домой?.. У него сердце заныло, он даже не думал, что так сросся со всем этим — с этой работой, этой страной, этими людьми... Гуломали, Сардор... старый Хайридин... и Зулейхо!.. Зулейхо...

Дождь лил не переставая. Сабир знал, что в месяце савр это здесь явление обычное — такие дожди на редкость благотворны, недаром говорят: «савр год делает!» Они как бы упреждают многонедельный страшный «афганец», дующий тут в знойную пору. Но сами они долги и нудны.

Конечно, дождь и назавтра не прекратился. Палатки и вся одежда вымокли, выползавшие наружу принесли на сапогах пуды грязи. Дождь не кончился и на четвертый день; однако, невзирая на бездорожье, базу покинули еще три человека. Остальные с тоской выглядывали наружу; серое небо, опустившееся, казалось, до верхушек деревьев или коньков палаток, по-прежнему изрыгало некончающиеся, избыточные струи...

В конце концов Сабир остался с завхозом и одним носильщиком. Носильщик, чуть согбенный, средних лет холостяк по имени Бабашах, все пытался успокоить Сабир: «Прожили мы столько времени без вашей воды и дальше, если аллаху угодно будет, проживем — смотрите, какой дождь льет! Лишь бы в стране было тихо...»

Ну что ж, думал Сабир, для них в этом, наверное, есть свой резон. Только он-то с этим не в силах согласиться, хотя и у него внутри растет печальная уверенность, что дело их отодвигается на годы...

Дождь кончился почти через неделю. Они развесили на протянутых веревках вещи, принялись приводить в порядок инструменты, образцы почвы, документацию. Выйдя в очередной раз из-под полога палатки к вытасченному под открытое небо столу, Сабир увидел приближающегося всадника. Он узнал его сразу: Гуло-

мали!.. Тот подскакал, легко спрыгнул с коня, привязал уздечку к седлу. Они обнялись.

— Ну,— сказал Сабир.— Все знаю, товарищ Коргар! Поздравляю...

Гуломали счастливо кивнул и, сияя глазами, снова обнял друга, долго хлопал его по спине.

— Ну так как?..

— Хорошо!— сказал Гуломали.— Хорошо... Потом расскажу подробно. А как здесь обстоят дела?..

— Сам видишь!— сказал Сабир. База являла вид пустоты и разорения.— Все разбежались, все вымокло... Ясно, товарищ главный гидрогеолог?

Должно быть, против его воли в этих словах прозвучал невысказанный упрек, и «главный гидрогеолог» это уловил. Он уселся в седло, выставленное для просушки, и сказал с веселой мольбой в голосе:

— Ты уж прости, Сабир! Но ведь... ведь ты сам говорил: проблему воды надо решать прежде всего в социальном плане!..

Сабир вдруг рассердился.

— Я тебя уже один раз поправлял,— сказал он сухо.— Это сказал не я, а Ленин.

Гуломали рассмеялся, не принял его сухого тона.

— Тем более!— сказал он.— Не сердись, такова эта сложная жизнь. И в ней не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Ну же, не дуйся, все прекрасно, посмотри вокруг!

И он обвел вокруг рукой, как бы указывая. Сабир почти машинально огляделся. Вокруг и правда было прекрасно. Мокрая земля еще парила, но меж туманом уже сверкала всем многоцветьем отмытых красок. Поля и склоны дышали перевозданной свежестью. Пестрые бабочки садились на полевые цветы. Да ведь на носу Первое мая!— вспомнил Сабир. Чуть не забыл за всеми заботами...

— Ладно,— сказал он.— Я и не думал ни на что обижаться. Но что будем дальше делать? Который день работа стоит, персонал разбежался. Я в ваши внутренние дела вмешиваться не вправе, так что и слова не мог сказать. Может, мое пребывание здесь сейчас просто излишне?..

Гуломали резко встал.

— Ты что! Ты что-о?!.. Работа только начинается! О людях не беспокойся, найдем людей... На завтра со-

зывается джирга в кишлаке Пайки. Помнишь?.. Где проживает мой дядя Шокалон.

Помнит ли он!.. Сердце в нем трепыхнулось, как птичка в ладони.

— Помню,— сказал.— Большая джирга?..

— Да, в ней примут участие представители и племен, и кишлаков.

— И это что — по поводу воды?

— Да. Главным образом... Видишь ли, Сабир... Раньше я работал здесь просто как специалист. Теперь я отвечаю за эту работу еще и перед своей партией. Наше дело стало делом государственным, понимаешь? Не в том смысле, как это раньше было, что правительство могло принять и оплатить проект... Нет! Это ведь теперь не только проблема орошения — это в то же время внедрение в жизнь того, что дала революция! Ты же сам говорил... Мы постоянно натыкались на необходимость социальных перемен, чтоб люди могли принять воду! Так теперь дорога для таких перемен открыта... И все это надо обсудить с народом.

— Слушай, Гуломали, но ведь если народ хашаром поддержит строительство, это в самом деле будет самый дешевый проект!

— Еще бы... Ну, в общем, проблем уйма.

— Ты говоришь, в кишлаке дяди Шокалона?— спросил Сабир осторожно, боясь выдать свои чувства.— Может... может, мне тоже туда с тобой поехать?

Гуломали засмеялся, хлопнул его по плечу:

— Ну конечно! Теперь мы всюду будем вместе!

Гуломали Коргар очень возмужал за эти последние дни. Только теперь, взглядевшись, Сабир заметил морщинки у глаз, седые волоски на висках. Но главное — он, должно быть, внутренне изменился, словно в нем заработала некая мощная пружина, создававшая огромную скрытую напряженность, выдаваемую лишь блеском глаз да особой, резкой четкостью движений. Сабир почувствовал нечто вроде доброй зависти к нему...

В тот же день они оставили лагерь на попечение завхоза и носильщика, а сами отправились в дорогу. Дорога была довольно широкая, кони шли рядом.

— Теперь,— сказал Гуломали,— я могу наконец открыто тебе во всем признаться... Ведь мы, «парчамисты», вышли из подполья!

— Поздравляю...— сказал Сабир.— Но... что такое «парчам»?

— Ну, слово «парчам» ты знаешь, оно значит — «знамя»... В студенческие годы мы в политическом кружке издавали газету под таким названием. В этой газете — заметь, впервые в нашей стране!— был напечатан портрет Ленина. Позднее нас стали преследовать как «гяуров, поклоняющихся Ленину». Что нам оставалось делать — пришлось уйти в подполье... А теперь наша партия...

Сабир смотрел на него и думал: странно, как это я не разглядел в нем эту сторону? Это явное отсутствие личной жизни — и притом редкие, но таинственные отлучки... Сдержанность в политических высказываниях, которую можно было бы принять за аполитичность, если б не иные, вдруг прорывавшиеся вспышки возмущения... Нет, можно было о чем-то догадаться. Просто, думал Сабир, я плохо разбираюсь в людях. Но сейчас — сейчас он заряжает меня новой энергией!..

Старый фаэтон, запряженный парой лошадей, прибыл в Пайки, когда уже опустилась вечерняя прохлада. Люди, собравшиеся на площади у мечети, встретили его было подозрительными взглядами, но, разглядев среди выходящих высокую фигуру Садыка Сардора, оживились и расступались с радостными приветствиями, освобождая дорогу.

О джирге знали в кишлаке, конечно, все до единого — и все старались как можно скорее управиться с домашними делами. В доме на краю площади старик со старухой пропускали прошлогодний хлопок через чигирик — старик поднял последний мешок очищенных семян, понес с маслобойню. В маслобойне стоял невыносимый запах. Хозяин держал в руках бутылку хлопкового масла. Отлив старику часть масла в обмен на принесенные семена, он заторопился на сборище. Там, около сложенного уже костра, стоял старик дервиш, хозяин маслобойни отдал ему бутылку с маслом. На крыше оташхоны призывно зарокотали сурнаи джирги. Кони, стоявшие на привязи у противоположного края площади, испуганно всхрапнули. Костер вспыхнул, старик дервиш брызгал на него хлопковым маслом, чтоб горел ярче, освещая пространство вокруг. Люди устремились к оташхоне. Там собрались и кишлачные аксакалы,

и знатные землевладельцы, и вожди племен. Никогда не дружившие друг с другом, гордившиеся лишь своей властью над людьми, они только для вида величественно приветствовали друг друга. И хотя в глазах сквозила тревога или озабоченность — последние события многих ошарашили, все сохраняли внешнюю невозмутимость, из-под приспущенных век оглядывая прибывших на фаэтоне. Никто не высказывался: все ждали, не начнет ли кто другой...

Когда в оташхону вошел вождь племени шикашим, все встали. Этот с виду невзрачный, худощавый, нервный человек, родом с Воханского перевала, был широко известен своей воинственностью, жестокостью, приверженностью племенным традициям. Весь в черном, с неизменным кинжалом за поясом и в столь же неизменном сопровождении пяти телохранителей, он, разговаривая с кем-то, имел привычку отводить глаза, чтоб лишний раз не разгневаться. Сейчас он вошел в оташхону вместе с козлобородым маулави. Едва он переступил порог, Шокалон тут же принес дастархан.

— Специально приготовил виноградное вино, уважаемый Якубхан! — сказал он, зажег свечу от лучины и отступил назад. Но вождь и не глянул на дастархан и вино. Остальные гости последовали его примеру, только толстый краснощекий заминдар Махбубшах, сидевший рядом с Садыком Сардором, налил себе изрядно вина, выпил и, безмятежно улыбаясь, вытер губы большим платком.

Звуки сурнаев снаружи стихли, стало слышно, как трещит костер. Когда собравшиеся в оташхоне вышли на площадь, гудевшая толпа почти мгновенно замолчала — замерли даже ребятишки, игравшие неподалеку.

С ковра, на котором уселись почетные гости, поднялся Гуломали. На него воззрились в крайнем удивлении: как осмелился встать этот молодой парень, если здесь сидит столько аксакалов? Или такие теперь порядки при новой власти?.. Гуломали здесь не очень знали — он хоть и был местным уроженцем, но большую часть жизни провел в Кабуле. Во взглядах, обращенных на него, читалось только гневное недоумение. Гуломали это, однако, не смутило.

— Новое правительство меня не уполномочивало, — сказал он, обращаясь к джирге, — но, как известно, наша апрельская революция одержала победу под руководством партии, в которой я состою. И от имени этой

партии я к вам сейчас и обращаюсь: джирга должна выступить в поддержку центрального народного правительства!

По толпе прокатился гул голосов, а люди, сидевшие на ковре, переглянулись. Они знали, конечно, о чем сегодня пойдет речь... Но чтобы оратор обратился не к ним, а к толпе босоногих, ничего не решающих бедняков?..

— Внимание! Внимание!— крикнул Гуломали, стараясь перекрыть еще не смолкший гул.— Давайте обсудим!.. Задавайте вопросы, я отвечу. И как вы решите — так и будет!

Но площадь, напротив, смолкла. Гуломали словно повис в этом безвоздушном молчании, и, глядя на него, Сабир почувствовал себя вдвойне лишним.

— Племянник,— сказал дядя Шокалон, не вставая со своего места на ковре,— ведь мы еще не знаем, что даст нам новое правительство... Когда оно нам в чем-нибудь поможет, вот тогда и поддержим!

Что он, из родственных чувств решил помочь племяннику, протянул ему ниточку, чтоб тот больше не висел меж небом и землей? — думал Сабир. Э нет, конечно нет, вон как он, договорив, искоса глянул на Якубхана, словно ожидая одобрения... Якубхан, однако, сидел как обычно, глядя в сторону, с невозмутимым видом идола. Поддержал Шокалона какой-то человек из толпы, с интеллигентным, изрезанным морщинами лицом, окруженный кучей ребятишек:

— Правильно, ты скажи, парень, что собирается нам дать новое правительство?

Гуломали разом ожил, как оживает остановленный кадр, когда вновь запускают пленку:

— У правительства планы очень большие! Дехканам и животноводам, которые здесь присутствуют, я прежде всего должен сообщить: правительство всем им даст землю! Это первая задача нашей партии. Вторая задача — дать не просто землю, но землю орошаемую: значит, дать еще и воду! Это не мечта, это живое и близкое дело. Вот тут, на нашей джирге, сидит советский ученый, известный мираб Сабир Тохтабаев. Он хочет повернуть к северным нашим землям часть воды из Аму. Он знает, как это можно сравнительно легко сделать. Но у правительства еще мало средств, поэтому тут нужна ваша поддержка и помощь. Если мы устроим всеобщий хашар, как это в обычае у нашего народа...

тогда приход воды обойдется вдвое дешевле! Вот я и говорю вам: поддержите новое правительство — и вы поддержите самих себя. Недаром наша новая власть именуется народной...

Однако ответом вновь было долгое молчание. После мучительной паузы в толпе поднялся, опираясь на посох, тощий старик. Его огромная чалма казалась непосильной тяжестью для худого, и без того согбенного тела. Он осторожно сплюнул насвай, прочистил горло и обратился к Гуломали:

— Сынок, но ты скажи — откуда вы возьмете для нас землю?..

Теперь наконец по толпе прокатился гул — точно ветер прошумел — и смолк в ожидании ответа.

— Но это же ясно, бобо,— сказал Гуломали,— не с неба, конечно, возьмем, на нашей земле отыщем... Разве вы не знаете, у нас немало заминдаров, которые имеют, в полном смысле слова, лишнюю землю, некоторые даже не обрабатывают свои излишки? Ведь знаете?.. Вот, по фирману правительства, некоторые крупные владельцы земли должны будут поделиться своими землями с дехканами. Разве это не справедливо, а? И разве законы ислама толкуют не о том же?.. А все эти излишки земли мы между дехканами поделим поровну! Такие планы у правительства, так говорит сама революция!

Внизу снова прокатилась волна оживления, но на сей раз в ней был явный тон беспокойства или тревоги. Это почувствовали, конечно, и сидевшие на ковре, но лица у них были пока что каменно-безучастные.

— Сынок,— снова поднялся давешний старик,— вы уж меня извините, а... а вы сами возьмете эту землю?

— Но, уважаемый бобо, я не дехканин, я инженер!

— Ага!— сказал старик, точно и ожидал такого ответа.— Значит, сами не возьмете, а нас подзуживаете: хватайте, мол, чужое... А потом будете стоять в стороне да смотреть, как мы режем друг друга?.. Э нет, будьте спокойны, сынок, не такие уж мы глупцы...

И старик, прихрамывая, стал выбираться из толпы.

Вскочил чернобородый молодой еще парень.

— Бобо правду говорит!— закричал он.— Нельзя зариться на чужое имущество! Грех это, грех!

Его тут же поддержали:

— Правильно! Не дозволено это!

— Вы увидите, а мы останемся, братишка...

— Это не в обычаях нашего племени!

— Каждый лишь то имеет, что аллах предписал!

Гуломали, должно быть, все же не ожидал такой реакции — может, надеялся на спор в самой толпе... Он оглянулся, это у него, видно, невольно вышло, от растерянности, но те, на ковре, встретили его взгляд той же холодной безучастностью, стараясь не показать даже своего торжества — так, дескать, и должно быть, все в порядке вещей... Только старый Сардор глядел на внука с печальным одобрением, однако Гуломали этого не видел. Между тем некоторые из толпы стали покидать площадь вслед за стариком в огромной чалме, и тут вскочил тот самый человек с интеллигентным лицом, который задал первый вопрос. Потом выяснилось: это был сельский учитель, Нурмухаммед Пайки. Прижимая ребенка к груди, он закричал:

— Эй, подождите! Подождите! Нельзя отвечать такой черной неблагодарностью на доброе дело! Новое правительство хочет поступить по справедливости. Оно собирается поделить излишки земли чересчур богатых — разве это не по-честному? Разве это не в согласии с верой? Разве богатые не обязаны платить закят?.. Но ведь это то же самое! Вы не возьмете землю — я возьму! Когда это считалось грехом засеять поля?!..

— Ты возьмешь?.. А что, заминдар отдаст тебе свою землю?

— Зариться на чужое запрещено шариатом, мусульмане!

— Конечно, не дозволено, грех это великий!

— Какое там справедливое правительство — это шайка грабителей!

— Нам земля нужна, да здравствует революция!

— Эй, остерегись, нас и так распри губят!

— Кровь же прольется...

— Грех, грех! Пусть скажет маулави Саид-миан!

Казалось, этот распоясавшийся гвалт ничто не остановит. Но стоило подняться с места Садыку Сардору, как площадь умолкла мгновенно. Он поднял руку, и под таинственное потрескивание костра зазвучали стихи:

Муж в этот мир придет и разобьет оковы,
Развалины зинданов мне видны.
Засветятся сердца в сиянье дня такого,
Как звезды с поднебесной вышины!

Последняя строка, казалось, еще долго висела в воздухе, в наступившей глубочайшей тишине, пока кто-то в толпе не выдохнул:

— Икбал...

— Икбал! Икбал! — подхватили другие голоса. — Слава Икбалу!

— Вы правы, — сказал Садык Сардор, — именно Икбалу принадлежат эти строки... И я хочу спросить вас, о человек, покидающий собрание... — Старик в чалме был уже на краю толпы, но обернулся. — Вас, кажется, зовут Низамеддин, не так ли?.. Я знавал вашего отца, и он, и ваш досточтимый дед всю жизнь гнули спину на заминдара... Или я ошибаюсь? Увы...

В сем мире человек еще, как прежде, раб,
И гнется перед злом, несовершенству рад...
Какие у раба достоинства от века?
Покорность небесам — да вечный страх утрат!

Видите, Икбал и о вас сказал... Вот вы говорите: «Земля чужая, брать ее грех». Так ведь?.. А ну-ка, досточтимый маулави, — сардор повернулся к сухонькому человечку с козлиной бородкой, сидевшему рядом с Якубханом, — а ну-ка, напрягите свою память и прочтите, прошу вас, суру Бакра из священного Корана!

Маулави вздрогнул, кинул взгляд на Якубхана, но тот сидел все с тем же каменным лицом, на котором прочесть ничего нельзя было. Тогда старик повернулся лицом к Қаабе и затянул тоненьким голоском:

— Сураи аль Бакра. Бисмилля-ху... Есулунака маза юнфикуна кул ал-аф-ва...

— Довольно, маулави, спасибо! — Старик уселся, Сардор повторил стих своим густым голосом и тут же перевел на простонародное дари: — «И они спросят у Тебя: что отдать людям? И Ты ответишь: лишнее». Вы поняли, мусульмане? Мавлона Икбал, толкуя эту суру в своем стихотворении, говорит:

Священный сей завет — вот правда наших дней:
Все лишнее отдай тому, кто победней!

Вы видите: переделывая землю и давая ее вам, правительство действует в строгом соответствии с Кораном, а грех — великий грех! — в том, чтоб алчно держать в руках лишнее! Наши заминдары давно погрязли

в грехах, и правительство дает им возможность смыть их с себя!..

Толпа как-то разом облегченно вздохнула, в свете костра мелькали просветленные, успокоенные лица, но тишину нарушил голос Шокалона:

— У кого лишнее, у кого нет — это знает только аллах. Сардор, не берите на себя грех гордыни...

Тут Гуломали вступился — он сел на свое место, когда Сардор поднялся.

— И правительство тоже знает, поверьте, дядя! — сказал он, не вставая. — По земельной реформе на каждую душу выделяется по шесть джарибов земли. У вас в семье четверо — значит, вам положено двадцать четыре джариба. А у вас их четыреста!

Шокалон вскочил, лицо его исказилось:

— Кто это мерил мои земли? Они мне принадлежат испокон веков! Мне и моим предкам! Чьи земли я присвоил, скажи, чьи? Ну, скажи, если знаешь! И когда присвоил?.. Мы-то на чужое не заримся, это вы хотите взять недозволенное!..

Сардор все еще стоял, выпрямившись во весь свой рост.

— Нет, они ничего не возьмут, Шокалон, — сказал он. — Ничего они не возьмут, это правительство им даст, и даст по закону!..

— А мы не отдадим свою землю... Не отдадим — и все!

— Что ж, не отдадите сами — отберет правительство. И разделит по справедливости меж бедняками, что поливали их своим потом!

— Ах, потом... потом поливали!.. А вы хотите, чтоб кровь пролилась?..

Сардор помедлил мгновение — видно, для того, чтоб приглушить гнев. Потом сказал:

— Выходит, вы не афганец, Шокалон... Нет, не афганец, раз грозите кровью собственному народу! Я человек военный... и слишком хорошо знаю; наши бывшие порабитители... захватчики, которые лезли к нам отовсюду... только и ждут таких слов.

Шокалон прикусил язык: понял, что не следовало говорить такого на джирге, да еще кому — Сардору! Остальные на ковре молчали тоже, но вдруг среди общего молчания прозвучал густой, чуть хмельной бас:

— Нет, если правительству нужны наши земли — пусть берет, я согласен! — Это высказался краснощекий

толстяк Махбубшах.— У меня земли много, пусть берут! Пахотную землю можно отдать, а вот р-родную землю — н-нет, никогда-а... Сардор, мы вас уважаем! Уважаем вас, Сардор!..

Стояли уже все — и на площади, и на ковре. Только Якубхан и еще несколько человек около продолжали сидеть. Но тут и суровый вождь вскочил — должно быть, не мог снести, что этот спор заслонил его. Сабля зазвенела, ударясь обо что-то. Все, стоявшие рядом или перед ним, подались назад — все, за исключением Сардора, и они остались вдвоем, лицом к лицу: маленький, молчаливо-яростный Якубхан — и высокий, спокойный Сардор.

— Правительство,— сказал Якубхан низким голосом,— если уж вознамерилось свершить такое... должно было сначала поговорить не с теми, кто берет, а с теми, кто дает! Нищему, сколько ни давай, все будет мало...

— Здесь только такие глотку и дерут!— с торопливой злостью вставил Шокалон.

— Вы назвали нас нищими, Якубхан?— сказал Сардор.— Мне не послышалось?.. Но на джирге не принято оскорблять друг друга.

— Это не оскорбление, Сардор! Это простая истина!— Якубхан сделал шаг к высившемуся над ним старику и презрительно ткнул в него указательным пальцем: — Вот вы — вы... дожили до старости, а не имеете и тех шести джарибов земли, которые разрешает ваше новое правительство! Кто в этом виноват?..

Но Сардор снова сдержал себя:

— У меня нет земли, Якубхан, это правда... Зато у меня есть убеждения!

— Убеждения! С них-то и начинаются все смуты... когда у этих убежденных не получается обратиться в свою веру остальных! Но, если хотите знать, у меня тоже есть убеждения — моя вера во всемогущего аллаха! И она не мешает мне владеть землей, ибо я знаю: все, что у меня есть, дано мне аллахом!

— О великий аллах!— возгласил маулави из-за спины Якубхана. И забыл молитву.

Якубхан повернулся к толпе, словно показывая, что больше не желает говорить с Сардором, а обращается теперь только к ней.

— Убеждение,— сказал он,— это, конечно, святое дело. От него зависит и мирская, и загробная жизнь. Но

человек не имеет права все время шеголять этим — при всех случаях, как, например, прокладка арыка и кусок хлеба для бедняка. Зачем каждый раз, покупая насвая на одно афгани, потрясать сотенными бумажками?.. Убеждение нужно прятать поглубже, как кошелек! Ведь сказано: «Не поминай имени аллаха всуе...»

— Значит, кусок хлеба для бедняка — это ничто? — сказал Сардор. — Или прокладка арыка, от которого зависит, может, жизнь сотни человек? Ничто это для вас? Вот какова ваша вера! Так я вам скажу, что это за вера — вера в жестокость и бессердечие!

— Не заговаривайтесь, вы, дряхлый чтец назиданий!

— Не-ет, я не заговариваюсь. Вера — как кошелек... Правильно: кошелек — вот ваша вера! Такие, как вы, и ввергали наш народ в кровавые распри, отбрасывали его на сотни лет назад. А теперь, когда правительство...

— Правительство! — крикнул Якубхан тоном открытой издевки. — Я не признаю такого правительства!.. Это вы, вы подбрасываете кости этим разбойникам...

— Эй, человек, не проклинай своего народа — не то он проклянет тебя!

У Якубхана глаза налились кровью, он сжал рукой рукоять сабли и шагнул к Сардору. Толпа остолбенела, Сардор стоял прямо, не двигаясь. Когда Якубхан обнажил саблю, старик сделал шаг ему навстречу. Толпа выдохнула, как один человек. Бесстрашие старика и выдох толпы, должно быть, чуть отрезвили Якубхана, он опустил саблю и стоял, тяжело дыша, не сводя глаз с Сардора. Старик сделал еще шаг к нему — и положил руку на эфес сабли. Якубхан понял, наверное, что проиграл эту схватку — проиграл потому, что нельзя было при всей толпе поднимать руку на столь знаменитого человека. А теперь мериться силой было уже и поздно, и глупо. Выгодней было уступить. Он убрал руку с эфеса и позволил Сардору взять саблю. Старик, держа ее одной рукой за рукоять, взялся другой за острие и стал сгибать, как лук.

— Вот так, — сказал он, — я сломал некогда саблю головореза Бачасако и отдал ему в руки!

Сабля со звоном переломилась пополам, Сардор бросил обломки под ноги и вытер руки о халат.

Якубхан, с прикушенной до крови губой, повернулся, спрыгнул с помоста в толпу и тотчас исчез в ней. Несколько мгновений спустя послышался топот множества копыт, над краем площади поднялось облако пыли.

Толпа быстро поредела — нашлось немало осторожных, которые не пожелали быть свидетелями столь опасного поединка. Но и любопытных тут было немало, и заинтересованных — тоже. И после того как почетные гости, что с ковра, разошлись, Гуломали еще долго, едва не до полуночи, вел разговоры с доброй сотней людей — на площади, у ночного костра; говорили, говорили — пока все-таки не утвердили текст заявления джирги...

Сколько ни упрашивали Шокалон и Махмубшах остаться, Сардор не согласился. Уже за полночь они втроем — Сардор, Гуломали и Сабир — отправились на фаэтоне в обратный путь.

Ночь была темная. В придорожных кустах и деревьях, выхватываемых из мглы светом их фонаря, испуганно просыпались и хлопали крыльями птицы, лошади всхрапывали то и дело, словно чуя не то засаду, не то погоню; и обоим молодым людям в проносащемся мраке чудились нескончаемые таинственные опасности.

— Этот Якубхан теперь ни перед чем не остановится, — сказал Гуломали, нахлестывая лошадей, и от его слов Сабирджану сделалось совсем жутко; из сопровождающего их облака пыли, казалось, вот-вот вырвутся настигающие преследователи.

А Садык Сардор сидел, прислонясь к задней стенке фаэтона, вытянул ноги — и, должно быть, спал; усталость его одолела или усыпила качка — хотя фаэтон бросало, как бешик под рукой сумасшедшей няньки... И оттого, что он уснул, обоим парням было еще больше не по себе. Они-то, грешным делом, думали: поговорят по дороге, он им разъяснит многое, и посоветует, и успокоит...

Лошади устали от скачки, люди — от долгой езды, мрак, казалось, все более сгущался, конца дороге пока что не предвиделось. Но старик вовсе не спал — в фаэтоне после долгого молчания вдруг прозвучал его бодрый голос:

— Ну, чего приуныли?

Голос этот показался им прямо-таки гласом небесным; даже лошади, услышав его, оживились.

— Знаю,— говорил между тем Сардор,— знаю, о чем задумались: в стране — беспорядки, у кого что на душе — неизвестно, а тут ночь, всякое может случиться...— Им стало разом и немножко стыдно, и смешно, и много спокойней оттого, что он угадал их мысли. А старик продолжал:— Но в этой тьме ночной я вижу свет: душу народную. В такие исторические моменты она угадывает правду и решает судьбу страны!..

— Дед,— сказал Гуломали,— если сейчас появятся парни Якубхана и нас порубят, не будет ни света, ни исторических моментов!

— И все-таки, сын мой, мудрость гласит: коли враг дрогнул, ты должен смело идти вперед! Не теряя ни секунды, не давая передышки, чтоб земля у него под ногами горела!.. Так учил нас генерал Махмуд Валихан, а он знал в этом толк, можешь мне поверить...

Слушать Сардора было приятно, успокоительно, но не стоило вдумываться в его слова — только раздражаться зря; все равно ведь не поймешь, думал Сабир, на что так упорно надеется этот старый Дон Кихот — видел ведь, как восприняли люди намерения нового правительства... А что ждет его, Сабира? От недавних мечтаний и планов его сейчас словно пропасть отделила...

И снова старик почуял, угадал его настроение — и, заговорив, попал в самую точку!

— Сынок, Сабирджан, а вы, я вижу, совсем нос повесили, почему? Думаете, мол, здесь теперь не до меня?... Ох, ошибаетесь! Да вы теперь будете тут самым дорогим человеком! Революция для нас прежде всего что означает? Реформу землевладения и водопользования! Так ведь? Теперь в министерствах вас будут принимать с распростертыми объятиями, проекты всяких провокаторов мешать вам не будут, и, не тратя сил на ненужную борьбу, спокойно займетесь делом...

Гуломали оглянулся на старика, в полутьме мелькнула его невеселая улыбка: верно, вспомнил позавчерашний Кабул, о котором рассказывал,— в городе нет света, дуканы и харчевни, магазины и мастерские закрыты, люди еще в страхе прячутся по домам, в любой махалле пустынно, как на кладбище...

И тут что-то гроыхнуло. Гроза, что ли? Да нет, непохоже... Грохот повторился — и не прекращался больше, превратившись в мерный топот копыт.

— Всадники!— воскликнул Сардор.

— Что будем делать?— спросил Гуломали.

— Ничего! И не гони зря лошадей, сынок, мы не во-ры, чтоб убежать. А потом — нас и так догонят, вон как скачут...

«Не тратя сил на ненужную борьбу, спокойно...»— вспомнил Сабир только что сказанные им слова. Да... Спротивляться они не могут, оружия нет. Топот копыт настигал их, казалось, со скоростью смерча.

Рука Гуломали, державшая плеть, бессильно опустилась, лошади тут же перешли на шаг, и всадники почти сразу догнали их. Слышалось прерывистое дыхание нескольких коней; одна группа обходила их слева, другая — справа, внутрь фазтона ворвалась настигшая пыль, острый запах конского пота, седел, сбруи. Позади скакало еще несколько всадников, видно, хотели сперва окружить, а уж там останавливать...

— Эй, как вы там?!— раздался громкий голос справа. Черт возьми, удивительно знакомый голос... Все трое в фазтоне вскочили на ноги.— Да вы что, спите?!.. Ну и беспечность...

Это был голос Хайридина-бобо, а тот, что тут же раздался слева: «Уважаемый Сардор, ну и рискнули вы нынче!»— принадлежал не кому иному, как Махмубшаху — густой, медлительный бас... Теперь они уже разглядели и его фигуру, возвышавшуюся в седле, как гора.

Фазтон остановился, всадники тоже, трое путников вылезли на дорогу. Хайридин-бобо и Махмубшах были со своими нукерами. Они собрали людей и поехали вслед за Сардором и его спутниками, опасаясь за их жизнь.

— Только зря беспокоились, уважаемые!— говорил Сардор.— Ну, что могло случиться?.. Что ж мне теперь прикажете — по своей земле ходить в окружении телохранителей?..

Сабир чувствовал после пережитого страха некую расслабленность, а к старику Хайридину испытывал прямо-таки нежность: таким добрым, спасительным, милым был его голос, раздавшийся вместо окрика убийц!

— Как здоровье ваше, Хайриддин-бобо?— спросил он старика по-узбекски. Хотелось сделать ему что-нибудь приятное.— Были, значит, на джирге?

— Да, родненький, были... Такие вот у нас, значит, дела. Сами видели все, своими глазами, а?.. Мы, пока догоняли вас, чуть не померли от беспокойства — а вдруг, думали, опоздаем!..

Тут как раз донесся голос Махмубшаха; он сидел на лошади и разговаривал с Сардором:

— Нет, не знаете вы Якубхана, Сардор, не знаете! Еще хорошо — он сдержал себя на виду у всех, но такое оскорбление не только Якубхану трудно перенести! Взбесился он теперь, взбесился! Люди слышали — решил собрать джигитов и податься в горы!..

— Э, худшим хищником, чем сейчас, он не станет,— сказал Гуломали.

Хайриддин всполошился:

— Не говори так, родненький, не говори! В юные мои годы в Сурхане вот так басмачи и появились, страна разделилась на две части, кровь полилась как вода... Не приведи бог!

— Да страна давным-давно на два лагеря раскололась! Или вы считаете себя в одном стане с Якубханом?

— Э нет, это пусть дядя ваш водится с волками! Такие, как Шокалон, ради дохода и семью готовы надвое расколоть, пусть хоть перебьют друг друга...

При этих словах старика Сабир ощутил как бы острый укол в сердце. Семью расколоть... перебить друг друга... Но ведь это семья Зулейхо!..

Тут бас Махмубшаха прогремел снова:

— Сардор, вы уж теперь не ходите по племенам да родам, лучше посидеть дома!..

Сардор усмехнулся:

— У меня же нет излишков земли, Махмубшах. Это вы подали опасный для Якубхана пример, так что лучше сами хоронитесь за воротами, как примерная невестка!

Все рассмеялись, кроме Махмубшаха; он гневно взмахнул плетью и остановил смех:

— Сардор, не смейтесь! Вы меня знаете — я не из тех, кто хватает других за глотку из-за клочка земли... Но я афганец! И смело пойду против сабель и сотни таких, как Якубхан!

— Предателей!..— сказал Сардор.— Да, предателей! Он ведь готов отречься от родины из-за пахотного

надела. Таких приходится бояться, вы, конечно, правы... Родина — такая вещь, что кто потерял ее — тому терять уж нечего... — Он поднял глаза на Махмубшаха: — Между прочим, мой партийный внук пригласил меня на собрание в кишлаке Куйи Кала, вы со мной не поедете?

— Вы будете там речи произносить, а я что?

— Фигуру свою показывать! — сказал Сардор со смехом, и все снова расхохотались.

— Нет, — сказал Гуломали. — Фигуру показывать не надо, Махмубшах-ага! Я серьезно, серьезно... Повторите свои замечательные слова: «Мы готовы отдать пахотные земли, но родную землю — нет!» — и этого будет достаточно... Кроме шуток, такие слова и убивают якубханов!

— Ладно! — согласился Махмубшах. — Завтра, значит? Будем там, будем! В точности, как заревут карнаи, и мы там будем!

— Э, — вступил Хайридин-бобо. — Какое завтра? Сегодня уже! Уж полночь позади! Куда теперь ехать?.. Завернем к нам! И лошади должны отдохнуть...

Дом Хайридина-бобо и в самом деле был недалеко, оттуда удобно добираться до Куйи Кала, так что решили отпустить джигитов, а сами отправились к старику. Переехали мост через безводный канал, повернули к старому загону, вдоль стены которого шелестели тополя. Дом Хайридина-бобо был по соседству, его отделял от загона лишь глинобитный дувал. Во дворе было пять или шесть мазанок с плоскими крышами, свет фонаря над очагом скудно освещал ворота. Два засыхающих абрикосовых дерева у ворот, казалось, и сейчас, ночью, изнывали от жажды. Хайридин-бобо прежде всего послал свою захлопотавшую старуху к колодцу, а сам подмел осыпавшиеся безвременно листья, расстелил на супе циновку и кошму и пригласил сестр Сардора и Махмубшаха. Сабир и Гуломали задавали корм лошадям, поили их; потом не торопясь присоединились к старшим.

— Хайридин, — сказал Сардор, — не утруждайте Хатчу в столь неурочный час! Все равно еда пропадет зря, кто теперь есть станет! Достаточно будет по пиале козьего молока и кусочку лепешки...

Старик Хайридин согласился, и, выпив козьего молока, все улеглись спать — старшие в мехмонхоне, молодые на супе. Все, кажется, уснули мгновенно, только

Сабиру не спалось. Почему, бог ведь... Ему мешал и шелест тополей, и стрекот кузнечиков. Кто-то обошел супу со стороны дувала, чья-то тень остановилась против него, сделала несколько шагов и застыла. Сабир настороженно ждал, не двигаясь. Тень шепнула голосом Хайриддина-бобо:

— Сабирджан?..

— Бобо? Вы?

— Я, я, родненький. Не разбудил вас?

— Нет, я не спал... А вы что бродите?

— Извините меня... Хотел поговорить с вами, а то утром вы ведь сразу уедете...

— Пожалуйста, бобо, я вас слушаю...

— Это не простой разговор... Вы меня извините...

Я насчет своей внучки...

— Зулейхо?!— Сабир резко поднялся и сел.— Что с ней случилось?

— Ничего, слава аллаху... Пока — ничего... Но как мне за ней присматривать, я ведь уж совсем стар, сын-нок. Как-то у бедной девочки сложится жизнь?

— А почему... почему вы должны присматривать? Она ведь живет в родной семье...

— Э-э... Они не хотят ничего знать. У них нет сердца. Велят что-нибудь, поручают, и все, а до души девчонки им дела нет. А сейчас и вовсе... Шокалон-то сегодня уж и места себе не находит, говорит — если новые власти отберут землю, так за оружие возьмется. Может, и к людям Якубхана примкнет. А что тогда будет с домом? С Зулейхо? Родненький, поймите, она ведь одна — продолжательница рода нашего, на нее были все наши надежды...— Старик всхлипнул, помолчал, справляясь с собой.— Видите, вот так мы со старухой горючими слезами обливаемся: неужели от нас и следа не останется в этом мире?

— Но почему не останется следа?— спросил Сабир в тревожном недоумении.— Почему? В чем дело?

Старик снова заплакал вместо ответа. Потом сказал, глотая слезы:

— Только мы со старухой знаем, от отца скрывает... от всех... Страдает она, свет очей моих... Мучается, грустит...

— Но отчего?..

— Бедняжка все смотрит на дорогу... Вас ждет.

Сабира обдало мгновенным жаром, как тогда, в мехмонхоне, когда он ее впервые увидел.

— Пос... постойте, бобо...— Он натянул сапоги, взял старика за рукав и повел за ворота. Отойдя немного, они присели под старым тутовником.— Бобо... повторите еще раз... что вам сказала... Зулейхо...

— Ничего, родненький... ничего она нам не сказала! Но мы и так знаем. Она вас ждет не дождется... сохнет...

Сабир не мог больше сдерживаться, припал головой к плечу старика:

— Я знал, бобо... я чувствовал...

Старик наклонился к его лицу, вгляделся:

— Э... кажется, заботы мои только удвоятся! Чему ж ты радуешься, родненький? Разве пара вы друг другу?.. Это ж горе — не радость!

— Какое горе, бобо?.. Вы подумайте! Это ведь любовь! В мире есть любовь!! Такая красавица... Зулейхо... меня полюбила!

— Ох, все это красивые слова, родненький... рассуди — ты живешь там, на другом берегу Аму... Что ж будет с девушкой, она уже и сейчас, когда ты еще здесь, от тоски исходит?

— Да все будет хорошо, бобо! Ведь... ведь и в вашей стране нынче хорошие новости! Вот проведем мы в кишлаки воду... а там... Поверьте вы мне, Аму больше не будет таким жестким рубежом... нет... она станет рекой дружбы!

— Твоими бы устами да мед пить! Пусть все, что ты зарабатываешь, пойдет на свадьбу, сынок! Хватило бы только у нас сил на шокалонов да якубханов...

— Вам что-нибудь сказали, бобо? Грозили?

— Ну, Якубхан всем пригрозил, кто не по его поступит... А Шокалон все пытался нынче влезть ко мне в душу. Я думаю, он и злится, как змея, на которую наступили, знаешь ли... И сам же от страха дрожит. Сказал мне шепотом: дескать, люди, что поддерживают новую власть, будут сожжены со всем добром, прах их, мол, по небу развеют... А хоть бы и так, что мне с того? Уйти я, родненький, никуда не могу, однажды уже пришлось отречься от родины да испить на чужбине чашу скитаний. Этого мне на всю жизнь хватит!.. Нашел я здесь себе пристанище, здесь моя дочь родилась. И земля здешняя, и народ мне родными стали. Что ж, на старости лет и от второй родины отречься?— Голос его зазвенел слезами.— Да никуда я не уйду, здесь помереть хочу!— Он стукнул кулаком по земле и за-

плакал. Сабир представил себе, что так же старик разговаривал и с Шокалоном, а тот его урезонивал, и глаза хитрого стариковского зятя горели злостью. Старик меж тем затих, только изредка всхлипывал. — Вот, поделился с тобой своей болью, родненький... Ну, скажи, что я буду делать, если зять заберет с собой свет моих очей, внученьку, Зулейхо-о?..

Если говорить начистоту, так в юности я просто дураком был. Рассудите сами, не будь я такой наивный, пошел бы в примакки к Хаджикулу-пансаду? Да еще седьмым зятем! Шестерых дочек пансад с легкой душой повывадал замуж из дому, а седьмую, младшенькую, она его любимица была, не захотел от себя отпускать. Тут я и подвернулся, бедолага! Ему, ага, не зять нужен был — батрак. А у меня — ни отца, ни брата, чтоб уму-разуму научили. Где мне было разгадать пансада, эту старую лису — он ведь такой ласковый был, да все ко мне — «сынок, сынок», я и попался на удочку.

Это я теперь так говорю. А в ту пору — куда там! Удалая молодость! Да и нелегко было тогда жениться — сколько лихих джигитов по бедности так бобылями и прожили!.. А тут мне — бесплатная свадьба, бесплатная жена, никакого тебе калыма... Любой гордец, любой умник клюнул бы на такую наживку! И завидовали мне, многие завидовали: это ж надо, мол, какое счастье сироте привалило...

А Хатча, я вам скажу, в девушках была — что твой раскаленный уголек. Увиделись мы с ней впервые за свадебным пологом, а прикипели друг к другу на всю жизнь. Конечно, теперь она на куцую метлу похожа, старушка моя, а в то время — ну точь-в-точь наша Зулейхо, как две капли воды! Только что росточком была помене. Пансад, как рассердится, звал ее «пучеглазой». Ничего себе пучеглазая!.. Да такие глаза, как у нее, только у детеныша лани и бывают.

Недолго я в слугах ходил. Через год, считай, моя ясноглазая родила славного такого малыша. В доме пансада это уж такой день был — из праздников праздник: дом-то испокон веку бабьим царством слыл, одни девчонки на свет являлись. Хаджикул надыхаться не мог на единственного наследника, да и мое положение на том упрочилось. Пансад меня иначе и не звал, как

«Бутам» («Верблюжонок мой»). Сам-то он за последнее время сдал, а я тем паче ходил грудь колесом, уж и позабыл вроде, что и сирота я, и примак в этом доме... Стал даже покрикивать иной раз — на пастухов, на челядь, а они величали меня «молодым хозяином».

Тесть мой белый яхтак носил, белые штаны, вообще любил ходить во всем белом. Он такой невысокий был, вроде меня, глазки маленькие, хитрые, зато борода окладистая. Прозвище «пансад» ему в наследство досталось от отца, а так-то он был просто бай, да и богатство его все, кажется, заключалось в шести или семи отарах овец, что круглый год паслись в шерабадских степях.

Прошло еще малость времени, и сделался пансад такой мрачный, что и малыш уже не мог его развеселить. Двадцать восьмой год шел, сами знаете, тугие времена для баев. Потерял он покой, молчалив стал, как подушка, по ночам все исчезал куда-то, вернется, бывало, серей стены, глаза ввалились, и вместо намаза — за счеты!..

Губит богатство человека, губит!.. Сам видел. Одряхлел Хаджикул прежде времени, сгорбился. Жалко мне его было, я уж старался, что он скажет, без промедления выполнять. Однажды в полночь он ко мне в спальню заходит: «Мы должны уйти, сынок!» А я, не раздумывая: «Как прикажете...»

А дочка его, жена моя, из-под одеяла:

— Куда уйти, отец?..

А он:

— В Ауганию...

В Афганистан, значит. Он тогда для нас такой неведомой страной был, словно из сказки, только по слухам про эту «Ауганию» и знали. И тесть тоже, наверно. Глянул я на него тогда: худой как щепка, лицо изможденное, только борода как была. Ах ты бедняга, думаю, видно, здорово тебя припекло, как же мне тебя не пожалеть, ведь как отец мне родной...

А жена моя — они, бабы, то ли умней нас бывают, то ли чутье у них какое — откинула одеяло, забыв стыд, и кричит отцу:

— Что это за место? Зачем нам туда ехать?!— И в слезы.

А отец на нее как цыкнет!

— Цыц!— кричит.— Не твоего ума дело!!— Хлопнул дверью и вышел.

Наутро в доме поднялся плач — до неба. Женщины рыдают, как на похоронах. Ну, я-то мужчина, мне раскисать не положено, я — рядом с тестем, хожу, покрываю. И надо же, в замороченной моей башке и мыслишки не мелькнуло: что же ты, дурак, делаешь? Куда едешь? Что ты в тех краях потерял? Чего там не видел? Ну, он — бай, у него богатство, а ты что? Был голытьба, голытьбой и останешься, терять тебе нечего, кроме родной земли да праха предков! А и светило б тебе тестево наследство, так что? Легко достанется — легко и расстанется! Ветер принес — ветер унес!..

Так нет же, ничего этого мне тогда в голову не приходило. Словно заколдовал меня старик. Одно в мозгу — сделать все, как он велит, да побыстрей. Видно, беспощадность какая-то во мне тогда проявилась, бедная Хатча даже побаиваться меня стала. Прижмет младенца к груди да и следит за мной из-под век. А глаза-то у самой от слез красные.

Кое-как приготовились мы к отъезду, за неделю увязали в узлы, что с собой брать, поуничтожали, что нельзя в дорогу. Знаете, как в народе говорят: если думаешь, что беден, — так рискни, перекочуй! И сколько всего затерялось в той суете — только потом, долго еще, вспоминалось понемножку. Прощай, край родной, прощай, привычная жизнь! И дом, что близким мне стал, холодный стоит, мрачный, опустелый, словно только-только мертвеца вынесли...

Пансад кого-то нанял, кого-то подкупил, да и решил отправиться вперед, взяв с собой двух жен и драгоценности; ну и несколько слуг с ним. А был у него пастух по имени Гулмат-игрок, так я с тем Гулматом должен был гнать овец. Место встречи обговорили, о сроке условились, и пансад уехал. Я, по правде говоря, обрадовался: Гулмату, думаю, довериться можно, человек крепкий, надежный; было же у него, как-никак — в схватку с двумя волками вступил! И жив остался, верх одержал... Выглядел он не ахти, но самые гордые байские сынки, игроки самые заядлые, при нем хвост поджимали. Игрок он, говорили, не слишком честный, но отчаянный. В самой крайней беде не теряется — вот и выходит сухим из воды. Гулмат и указал пансаду укромное местечко на Аму, где на пароме можно переправиться на тот берег. Говорили, он так уже переправил одного каршинского бая.

А на меня все домашние хлопоты свалились. И за укладкой следить, и за тем, чтоб женщины лишнего не болтали, и чтоб вопили не слишком, и чтоб еды в дорогу вдосталь запасти... Всѐ! Я и сам переменялся. Еще в ночь побега пансада отколошматил бедняжку Хатчу — за то, что ревела, прижимая к себе орущего ребенка. До того я в жизни руку на женщину не подымал. Что-то со мной произошло, я словно что бесценное потерял, а что, понять не мог. Злой я стал, безжалостный, сон у меня пропал; все мне хотелось отомстить кому-то, но кому, за какие дела?..

А тут еще Гулмат, как приехал хозяина проводить, все дразнил меня: «бай-ота», «бай-ота!» Вот ему бы в морду дать, да я побоялся...

Когда вышли мы в путь, гоня овец,— стало мне еще хуже. Гулмату-то все нипочем. Холостой, любил да умел пожить себе в удовольствие. А у меня ребенок, жена... Гулмат на деньги, взятые у моего же тестя, нанял двух подпасков да щербатого пастуха, а сам зажил себе без забот, все прочее свалив на меня. Хоть и звал меня по-прежнему «бай-ота», с эдакой улыбочкой! На деле-то, конечно, он всем командовал — даже моей женой: то — огонь разожги под казаном, то — похлебку свари... А бедная Хатча и так весь день верхом, ночью овец доит, сыр готовит, за ребенком глядит!.. Слава аллаху, хоть малыш-то нас в пути не подвел — веселый, бодрый, меня увидит — носик морщит, улыбается, а глаза у самого — ну как чарас! Я Хатчу как мог старался беречь, стыд во мне сидел за ту трепку, что задал ей дома, и она это чувствовала, простила. Посмотрим друг другу в глаза — и легче станет: словно прочитаем там надежды наши — пройдут эти лишения, забудется; где ни есть, а отыщем себе кров; лишь бы сыночка нашего довести здоровым да самим уцелеть...

А Гулмат сварит бузу, выпьет, потом разляжется в тени саксаула — и давай прихорашиваться, усы подстригать! Кому он в этой пустыне понравиться хотел?.. Правда, когда добрались до берега, исчез и пропал всю ночь. Утром появился, усталый как собака, а на вторую ночь мы снова овец погнали. К утру остановились, уперлись в стену камыша. И Гулмат опять куда-то пропал. Но, видать, по делу на этот раз: нашел нанятых прежде людей, все вроде устроил... и сызнава сел бузу пить! Он, правда, сколько ни пил, допьяна по-настоящему не напивался. Так и тут: встал и давай подпасков

наставлять. Аму здесь неглубоко текла, плоский берег прямо переходил в камышовые заросли. С берега казалось — зарослям этим шумящим края нет, но когда стемнело, мы погнали овец потайными тропами и скоро вышли к броду. Перед нами река текла под луной, мерцала потихоньку, поплескивала, видно было — мелко тут и спокойно. До черневшего камыша на том берегу — рукой подать! Я удивился: сколько было разговоров, а переправа такая легкая!

Злился я в последнее время на Гулмата, а тут увидел — знает он дело, все умеет предусмотреть. Сразу, как начали переправу, он при свете луны разделил стадо на две части, одну подпаскам оставил, а другую шербатому пастуху, и все это — движения не останавливая! Велел шербатому выпить для смелости — тот пошел впереди стада с белым козлом-вожаком и своим «куррей, куррей» двинул караван вперед. Мы с женой шли сзади, вели лошадь на поводу, а на ней бешик с ребенком навьючен, чайник, котел, прочий скарб...

Овцы ночью не блеют, по запаху идут — прижимаются друг к другу, только гнусавое их сопение и слышно. И то не очень — камыш шумит, скрадывает остальные звуки-то, да и вода поплескивает. Вода хоть и холодная, да мы-то уж больно разогрелись, только приятно было. Дно каменистое, с песчаными мелями, стадо то идет, то плывет — движется к тому берегу, как облако. Переправа была чуть меньше версты, ближе к полуночи мы уж на твердую землю ступили и вздохнули облегченно. Но что-то во мне свербило, тревожило — видно, не верилось, чтобы все так легко могло сойти, иначе зачем столько приготовлений? Я сказал — на твердую землю выбрались, только не слишком она была твердая, кругом камыш, под ногами чавкает, хлюпает, и не поймешь, то ли земля, то ли болото... Ну, ладно, попетляли мы по тропам, ноги у овец вязнут, а вытасшат — тут же след водой наполняется. Помучились изрядно, лица и руки расцарапаны, за ворот понабились эти липучие семена с камышовых метелок, мошкара, чарыки мокрые. Несу я сыночка своего, завернутого в чекмень, сзади Хатча лошадь в поводу ведет, задыхается, чуть не падает. А я себе говорю: «Терпи... терпи... терпи... Скоро полегчает...»

Только оказалось — это все были цветочки. Не зря у меня на душе свербило. Камыш редеть стал, полоска рассвета обозначилась, глянул я вперед — чуть не ах-

нул: не берег был впереди, а река — дикая, стремительная, мутная и уж такая страшная под тусклой луной! У меня — как молния в мозгу: значит, не перешли мы еще реку, это под нами островок, а главная глубина, главный страх — впереди еще, впереди! Это, знаете, хуже нет: когда уж думаешь — опасность миновала, расслабишься, и тут тебя — новый страх под дых!..

Гулмат подошел: что, говорит, жутковато? Ничего, мол, нам еще повезло, этот островок, где мы сейчас, чаще под водой бывает, а теперь мы половину реки прошли. Вторая половина хоть опасная, да узкая, тут нас плоты ждут...

И как он это сказал — чую, качается все под ногами! Островок-то не сушей был — сплетением корней камыша! И как раньше я этого качания не заметил — поверил, что под нами твердый берег... Что значит вера человеческая! Ну, думаю, завел-таки нас Гулмат-игрок! Пути назад нет, здесь — преисподняя под ногами, теперь лишь бы плоты прочные оказались... Ведь тут уж не протока тихая — настоящая Аму, тот самый коварный Джейхун, про который страшные сказки рассказывают. Ширины-то — всего двести шагов, да от этой пучины бегучей так холодной смертью и несет, так и веет!.. И ревет как, гудит — у-у-у! — только эхо на том берегу черном отдается...

Плот мы с Гулматом нашли шагах в пятидесяти ниже по течению — стоял спрятанный в камышах. Там на берегу люди живут — специально тополя растят; потом соединяют необтесанные стволы крепкими веревками и продают плоты. Нам-то приготовили целый паром — два старых плота да один новый. Канаты, что на берег протянуты, провисают, окунаются в серые гребни, деревянный настил прибит к бревнам, и так это все неуклюже на воде покачивается, что меня затошнило даже, голова закружилась. Но Гулмат сказал: не трусь, вишь, паром крепкий, перила по краям! И, чуешь — свежими опилками пахнет?.. Почему-то меня эти свежие опилки успокоили. А тут подошли двое полуголых, бородатых, с топорами. Гулмат с ними долго шептался, потом пастуху крикнул: «Начинай давай!», и щербатый наш пастух тоже крикнул свое «Хайт!», волкодав его давай кружить вокруг стада. Овцы-то уж разлеглись было, подмяв камыш, но тут зашевелились, поднялись, один из подпасков подтащил белого козла к входу на паром, протолкнул туда, ну и овцы за ним мутной рекой

потекли... Сперва-то деревянный стук под копытцами их пугал, потом набилось дополна, прижались друг к другу, затихли. Овец триста вместилось, так я думаю, да еще осталось небольшое место для нас с конем.

Паром осел слегка — груза-то! — тяжело так заколыхался на волнах; вокруг посветлело, а волны, наоборот, вроде как темней сделались, коричневые такие, тугие, страшные. Сейчас, думаю, распростимся мы вконец с родной стороной, с людьми, с кем жили вместе, и так мне горько стало и боязно, что даже и Гулмат этот, пройдоха недобрый, и полужнакомые пастух с подпасками показались близкими и милыми. Прости нас, прах наших предков...

А Хатча завывала:

— Похоронят нас на чужби-ине-е!.. — И это словно из моей груди вырвалось.

Паром снова заколыхался — видно, вода прибывает, поднимает волну. Мы еще не взошли на деревянную площадку, Хатча где-то позади ребенком занята, Гулмат, не теряя времени, наваливается со своими людьми на канат — и тут... И тут впереди у парома что-то треснуло, что-то тяжело в воду шлепнулось, и еще, и еще, и еще!.. Один из подпасков как заверещит, пастух дурным голосом завопил, Гулмат метнулся на паром, я за ним... да где там! От напора ли такой кучи овец, или от чего еще — передние перила сломались, рухнули в воду, с ними и белый козел-вожак — а овцы за ним, в воду. И прыгают, и прыгают, и прыгают — спаси аллах, кажется, страшней этого я ничего не видел! И ведь что сделаешь — через такую плотную махину стада никакими силами не пробьешься, хоть до пролома вроде рукой подать. А и пробьешься — разве отару удержать в таком потоке, это она тебя в воду столкнет, и вся недолга. Пастух попробовал проскочить туда по спинам овец, да упал, стал барахтаться поверху, встать не мог. Мы тоже пробовали, лезли, орали, надрывались — все без толку. Река около парома вся черная от овечьих спин, овцы погружались одна за другой, отчаянно взблеивали перед концом, а в воду шлепались все новые, все новые... Господи боже мой, есть на свете создание глупей овцы?.. Площадка уж порядком освободилась; передних было, конечно, не удержать, но можно хоть несколько задних спасти — схватить за ноги, что ли... да у нас от ужаса, от отчаяния руки опустились. Гулмат рядом со мной только матерился без удержу,

безнадежно; сзади причитали подпаски; плакала в голос Хатча...

Через минуту остались от всей отары только желтоватые лужицы мочи на досках парома.

Я вам уж и не скажу, о чем думал в ту минуту. Сперва вроде бы о Хаджикуле-пансаде, как он у нас на глазах превратился из богача в нищего; потом, как-то мимоходом, кто тут виноват... А кто виноват? Продавцы плота? Овцы? Река?.. Потом, вспоминаю, подумал, что Гулмату еще расплачиваться с теми двумя. Как они разберутся? У тех топоры, и Гулмат с оружием...

И в этот самый миг раздался пронзительный, дикий, нечеловеческий вопль Хатчи; в нем и слов было не разобрать, но столько ужаса, что я, разом забыв про овец, повернулся и кинулся на берег. Остальные — тоже. На островке, хоть туман уже поднимался, было светло — по берегу, в бессмысленном каком-то отчаянии металась Хатча, ломая руки.

— Что? Что-о?!.. — крикнул я.

— Горе, горе! Горе-е-е!..

— Хатча!

— Бешик! ¹ Беши-ик здесь стоял! Ребенок мой... ребено-о-ок!

У меня сердце оборвалось; а все же почему-то я запомнил красные ичиги Хатчи, доверху перемазанные глиной, и платок, почти сорвавшийся с растрепанных волос. Я оглянулся в ужасе — куда бежать? Что делать? Берег был пуст, река накатывала огромные, страшные волны и проносила мимо. Хатча глянула на меня белыми глазами, взвыла — и метнулась к реке. Я, оглушенный, даже не понял сперва, что это значит, но мимо меня налетел Гулмат, схватил ее за подол:

— К-куда? Стой, дурная женщина! — и отбросил рывком на берег.

Хатча упала в грязь навзничь, вскочила, как подброшенная, — и снова к реке. Тут уж я на ее пути оказался — и так огрел оплеухой, что она отлетела и растянулась на грязи:

— Где ребенок, ведьма-а-а?!..

Дурной, безудержный гнев меня ослепил — на эту проклятую реку, на судьбу, на воющую женщину, что дала исчезнуть моему сыну, дала слизнуть его с лица

¹ Б е ш и к — колыбель.

земли как клок пены — я мог бы ее забить до полу-смерти, если б не спутники, что меня схватили.

— Где бешик стоял? — спросил Гулмат.

Она приподняла лицо, залепленное грязью, кровью залитое — и мотнула головой в сторону небольшой прогалины меж камышами: там еще висели выполосканные пеленки. Бешик, значит, стоял там, она пеленала ребенка, тут — на пароме случилось, и она, как все, кинулась к парому, на миг забыла о малыше, прибывшая вода накрыла еле выступающий участок островка — и ушла, смыла, унесла с собой бешик... Это было так ясно, так страшно, словно я своими глазами увидел! И другие, конечно, тоже. Все-таки кто-то вошел в воду, стал шарить руками вдоль берега, кто-то в камыши — искать... Зачем? Державшие отпустили меня, я мешком на землю осел... Потом посмотрел на жену — она лежала неподалеку, словно куча тряпья; на свою руку глянул, что ее ударила, кое-как встал на ноги, подошел к ней, еле выдавил из себя слово, горло не слушалось:

— Хатча...

Подняла она лицо — не лицо, а лепешку сохнувшей грязи с потеками крови. Только щелочки глаз приоткрыты да дырка рта... Подняла — и говорит слабым таким, бессмысленным голосом:

— Я пеленала ребенка в бешик... — И снова: — Я пеленала ребенка в бешик...

Я хотел наклониться к ней, а она вдруг как заголотит истошно:

— Я пелена-ала ребенка в беши-и-и-ик!..

Как ни тяжко мне было, а тут дрожь меня пробрала — неужели, думаю, умом тронулась? Неужто мне еще и жену потерять? Наклонился к ней, говорю:

— Хатча... Хат-ча-а... Слышишь, Хатча... Не виновата ты... никто не виноват... судьба это, Хатча...

Тут она вдруг приподнялась, села, привалилась ко мне, обхватила мои ноги руками — и как зарыдает, закричит, завоет... Так, что и Аму, проклятой этой Аму, мне не слышно стало.

Когда Хатча затихла немного — только всхлипывала, вскрикивала, хваталась за меня, но уже не оглядывалась больше на берег, на то место, где стоял бешик, — поднял я ее и потащил к парому. Остальные привели и привязали лошадь, перетащили на паром скарб. Мы сели, где было посуше, прижал я ее к себе лицом, чтоб

реки не видела,— и поплыли мы, неизвестно куда, неизвестно зачем, неизвестно с чем.

Я тоже к жене прижался, поглаживал ее, как ребенка, поглаживал — и вдруг так ясно увидел перед собой огромные, черные, как чарас, глазенки моего сыночка, так ясно, что и сам затрясся, заплакал в голос. Так мы с ней и сидели, как одно несчастное существо о двух спинах, сидели, качались в рыданиях, а когда я опомнился, глянул — паром уж прошел середину реки. Ну, да мне теперь все равно было, куда доедем, где окажемся, только б эта несчастная съезжившаяся женщина была со мной...

На берегу нас ожидали люди пансада. Что-то я им сказал, они глазели на нас во все глаза, переводили взгляды с одного на другого, потом повели куда-то пешком, кружили по закоулкам, а вечером погрузили весь скарб на верблюда, мы с женой сели на лошадь, в конце концов добрались до кишлака Куйи Кала. Ночь и день мы ехали, прибыли к вечеру, и я чувствую: чем ближе подъезжаем, тем жену все сильнее трясет. Понял я: и в ужасе она перед встречей с отцом, и тот ужас, что на реке, заново переживает. Приехали, сбросила она накидку с головы — господи, гляжу, да она вся седая! В девятнадцать лет...

Как там мы встретились, не хочу вспоминать. Страшные вести доконали пансада. Прямо-таки добились — не мог руки поднять ни на меня, ни на дочь. Стал я для него с того дня хуже чужого. Протянул старик после того недолго — в той стране благоденствия для мусульман, куда он так торопился. А за ним и его жены вскоре в лучший мир отошли.

Ну, а мы все-таки молоды были, кусок земли засеяли, добрые соседи нашлись, друзей обрели, никто нас не считал чужими, а потом и дочка родилась, солнышко наше, понемногу стиралось прежнее горе.

Чужим я тут не стал, а дураком остался. Надо же, Айпарчу, дочку мою, красавицу из красавиц, о которой вся округа гудела, поклонялась, от женихов отбою не было — и отдал Шокалону, этому злодею, шакалу, зверю бесчувственному! И воротилось ко мне мое невежество. Бог меня снова покарал. Впервые здесь почувствовал: безродный я! Ведь знал же, видел, как губит человека жадность, как богатство сушит... И снова на удочку попался, снова глупость подвела... Чую, чую, что и Зулейхо своей лишусь. Жила во мне искорка на-

дежды: через нее свяжет меня судьба с родной землей, протянется ниточка к могилам моих предков! Нет, рвутся корни, без следа уйду я из этого мира, без следа...

Сабир другу своих обид не высказывал: понимал, что творится и в стране, и в душе у него. Но ведь и то правда: дела в изыскательской группе Гуломали забросил совершенно. Будто, вопреки его собственным словам, они не имели никакого отношения к революции и ее реформам! Приятель Сабира сделался заядлым оратором, ездил на выступления в любую погоду, дни и ночи пропадал в поездках по собраниям и митингам, а то исчезал и на целые недели. Самое трудное время, все расчеты заброшены, нужно во всем разбираться, а его нет!.. Митинги митингами, но ты все-таки в первую очередь гидрогеолог, а? И можно ли, затратив столько трудов, бросить на полдороге такое дело?

Правда, после трехмесячных скитаний, окончательно, видно, выбившись из сил (недаром ходит, привязав к ногам какие-то целебные листья!), Гуломали вернулся на базу, принялся восстанавливать распавшуюся группу. Нашел помещение в родном кишлаке — домик на окраине из нескольких комнатенок. Тихое место, удобное для запутанных расчетов: в кишлаке почти безлюдно, иной раз за целый день голоса никто не подаст, собака не залает. Дехкане с семьями на выпасах, на лугах, в полях. Конечно, их будоражат слухи о событиях в столице, но полевые работы, подготовка к зиме для дехканина всегда на первом месте...

Специалисты базы так и поместились в домике на окраине, остальных, включая носильщиков, расселили по домам местных жителей. Сабир и Гуломали заново смастерили из ящиков стол, сиденья, шкаф, пришлось чинить и порванные пологи: жара еще не спала, мухи и комары по-прежнему не дают покоя. По временам откуда-то доносится запах хлеба; неподалеку в грязном пруду часами безмолвно стоят огромные яки, на полумесяцах их громадных рогов сидят галки; птицы зачастую питаются тут же, на косматых спинах меланхолических громадин.

— Тыфу ты, господи! — время от времени брезгливо сплевывает Гуломали. — Скоро ли мы покончим с этой средневековой идиллией?..

Но Сабиру здесь нравится. За прудом вдаль видны холмы. До основной трассы проектируемого ими канала можно дойти пешком, и они в иной день по несколько раз туда выбираются, выясняя на месте многие детали. А вечерами при свете керосинового фонаря или лампы корпят над проектом.

Все бы ничего, если б не холодность, возникающая в их отношениях. Гуломали, хоть долгое время к работе и не прикасался, в каждый свой приезд начинал суетиться: дескать, материалы же готовы, проект нужно скорей представлять на утверждение... Сабир возражал, и эти споры оставляли все нарастающий осадок взаимного раздражения.

— Слушай,— сказал сегодня Гуломали,— ведь ты же человек из советской страны! Должен же ты понять: сегодня это уже не просто проект, а фактор огромной революционной важности!

— Я-то понимаю,— сказал Сабир,— мне долгое время казалось, что ты этого не понимаешь... Так все забросил...

— Были дела!— сказал Гуломали сердито.— Ирония твоя ни к чему... Я о другом говорю...

— Почему о другом? О том же... и ты и я говорим о том же...

— Оставь казуистику! И пойми: скорейшее принятие такого проекта новым правительством означает на деле переход на сторону революции тысяч и тысяч дехкан!

— Я уважаю твой революционный дух и целиком на твоей стороне. Так что ты лучше сядь, а то шея покривится...— Потолки в комнатухах были очень низкие — стоя, невольно наклоняешь голову. Гуломали сел на ящик рядом с самодельным столом.— Я все понимаю, Гуломали, все... Но ты говоришь сейчас как митинговый оратор, как политик... как заинтересованный член своей партии... только не как гидрогеолог!

— Ах, вот оно что!.. Хорошо, я выскажусь и как гидрогеолог. Кратчайшая трасса выявлена? Выявлена. Аму дважды в год выходит из берегов, тогда избыточная вода и будет накапливаться в Сангкосе¹. Выходит, для водохранилища мы будем брать только избыточную воду, ведь ты об этом все время печешься, не так ли?.. А переброска воды из Сангкосы в долину обойдется по-

¹ Сангкоса — буквально: «каменная чаша».

чти безо всяких затрат! Эксплуатация русел Чорданахра — это такое открытие, которым ты вправе гордиться!.. Мы уже выявили одиннадцать русел из четырнадцати — выявили и исследовали. Правильно я говорю?

— Все правильно...

— Ну вот! Готовится указ о земельной реформе. Если к нему приурочить утверждение проекта — знаешь, что это будет? Какое впечатление произведет?.. Мы дадим дехканам не сухую корку хлеба — хлеб с маслом!

— Постой, постой! Опять политика... Уж ты поверь, меня научили в политике разбираться и в лозунгах тоже, я в твоей агитации не нуждаюсь, сам кого угодно могу агитировать!.. Но подумай своей головой: поспешность в нашей работе опасна в первую очередь с политической точки зрения! Конечно, очень эффективно разом издать указ о земельной реформе — и принять наш проект! Красивый ход! Красивый, если последующие ходы правильно просчитаны... А если нет? Если в итоге, прости меня за образное сравнение, ты и сам потеряешь фигуру, и молодое правительство подведешь? А? Что это будет за политика?

— Я уверен, наши расчеты правильны!

— Ты уверен!.. А я вот не совсем уверен. Здесь нужна точность, а неточность грозит катастрофой. И сколько их было, таких катастроф... Вот ты бросаешься красивыми словами: Каменная чаша, открытие... Мы же — геологоразведчики! Разведчики... Если разведка сообщит неправильные данные, можно целую армию угробить! Хотя бы эта твоя Каменная чаша. Что это такое? Затвердевшие слои песка. Разве мы достаточно точно просчитали уровень возможной фильтрации? А в случае фильтрации — знаем ли мы точно, куда пойдет вода?.. То-то. А даже если тут все в порядке — чтоб действительно образовалась чаша, нужно взрывать слои песка. Так?..

— Так...

— А можешь ты определить направление взрывов? Я — не возьмусь, пока не проконсультируемся с «Союзвзрывпромом», есть у нас такая организация... Кстати, единственная в мире, занимающаяся этими уникальными взрывами... Решать такое дело, с ними не посоветовавшись, — в нашем положении чистая авантюра! Ну и сами русла Чорданахра... то, что ты именуешь так громко «открытием»... Конечно, если удастся их ис-

пользовать, проект будет самым дешевым в мире. Но прежде чем представить его на утверждение, я хочу узнать мнение о нем Сумбуль-ая. Я ей написал, но такие вопросы в письмах не решаются...

— Короче, тебе хочется поехать домой...— упавшим голосом сказал Гуломали, не сводя глаз с циновки на полу.

— Э, ничего ты не понял... совсем не в этом дело...— Тон у Сабира был неожиданно грустным.

Гуломали поднял на него глаза:

— Слушай, ты же видишь, какая ситуация... Сейчас день — на вес золота. Может, дни все и решают! На кого работает время — на нас или на наших врагов?.. А если ты сейчас уедешь — когда-то еще вернешься!..

— Я не могу сейчас представить материалы проекта.

— Ишь какой каменный! Домой торопишься... домой...

Втайне Сабир испытывал угрызения совести. Конечно, причиной его упорства было все то, что он высказал Гуломали; но домой ему хотелось... Хотелось — это Гуломали угадал. И всего-то два часа... два часа лету отделяют его от светлого двухэтажного домика с окнами на водохранилище; два часа — и он среди родных, в цветущем совхозном поселке... Водоохранилище! Сейчас самое время искупаться... Он вообразил себе прохладу прозрачной голубой воды. Уже полгода снится она ему по ночам. И еще снится, будто входит он домой через заднюю дверь, с полотенцем через плечо, а мать как раз возвратилась из своего детского сада, она в белом халате, наливает ему чаю, журит за то, что поздно встал, ставит в пример сестренку, которая уже ушла в школу... И Сабир целует мать, приговаривая: «Воспитательница моя дорогая...»

Все его детство прошло в детском саду, где мать работала воспитательницей; оттого он и до сих пор так называет ее в шутку. Услышать бы сейчас ее милое ворчание... И Сабир представил себе, как складывает в рюкзак свои вещи — старую фотокамеру, и полевой бинокль, и старую отцовскую флягу, и радиоприемник «Россия»... Коргар не прав, если думает — а ведь явно так думает, судя по интонациям!— что ему, Сабиру, хочется удрать отсюда, от их сложностей и трудностей... Нет же, нет! Но он действительно устал. От кочевой жизни, напряжения, неопределенности. Ему бы

подышать воздухом родного дома, окунуться на неделю-другую, как в голубую влагу водохранилища, в безоблачное существование долгожданного гостя, в атмосферу безгранично ласковой материнской заботы; сунуть голову под подушку, в конце концов, — и забыть, забыть обо всем на неделю... Забыть, отдохнуть — чтобы снова набраться сил и для громадной работы здесь, и для всех треволений; разобраться в себе самом, наконец! В своих чувствах, в которых, кажется, он все-таки запутался...

Во дворе кто-то набирал воду из колодца. Должно быть, вернулись с гор топографы. Сейчас, сбросив пыльную одежду, они будут поливать друг друга водой из ведра. Так повторяется каждый вечер, это их единственная возможность и освежиться, и порезвиться... Но вддали прозвучал голос муэдзина, возвестивший начало вечерней молитвы, и все сразу стихли. Ну да, многие члены группы, молодые люди, прилежно совершают намаз...

Гуломали, сидевший на подоконничке, вдруг резко поднялся, пошел к двери, сказал с порога:

— Завтра поговорим!..

Тон был странный, непонятно, что за ним крылось: обида, раздражение, тревога, усталость...

По кирпичным стенам здесь змеились трещины, штукатурка облупилась, вместо двери висел старый палас, но потолок в этой комнатке был выше, поэтому Гуломали ее для себя и выбрал. Он зажег свечу, закрепленную на перевернутой глиняной кассе — и подвинул к себе книги, подаренные ему когда-то Сабиром: старые труды географов и путешественников, изучавших Аму. По правде говоря, у него редко находилась для них свободная минута, но если уж случалась, он, взяв их в руки, всегда чувствовал радость предстоящего общения. Сейчас, однако, было не так — мысли витали далеко. На майданах кишлаков, на улицах Кабула, Мазари-Шерифа... Все в его жизни, и прежде непростой, теперь многократно усложнилось. Дни, шедшие, казалось, шагом, теперь понеслись — то ли кони по крутым дорогам, то ли сель в горной долине. И все неразрывно сплелось в его сознании и быту — работа и политика, здешние коллеги и товарищи по партии... «Твоя вторая жизнь!» — говорит Сабирджан. Почему

вторая? Кто может сказать, что для него важнее? Напрасно Сабир старается в разговорах отделить их одну от другой... Но только бы успевать... все успевать! Выдержать этот ритм. Только бы поток с ног не сбил... Он почувствовал боль в колене, сбросил сапог, поправил целебную повязку, снова обулся. Ему вспомнилась раздувавшая голень Сабира. Да, теперь и сомневаться нечего: подбросили тогда каракурта!.. А ведь Сабир всего лишь «иностранный специалист»...

За спиной у него зашуршал старый палас в дверном проеме. Сабир, наверное,— тоже, значит, обо мне думал... Гуломали приподнялся, чтобы встать навстречу..

— Не двигаться!— резко выкрикнул незнакомый высокий голос.

— Ну, хватит дурака...— начал Гуломали, но голос снова крикнул:

— Не двигаться! Руки!..

Нет, это не шутка. Главное, голоса-то этого он никогда раньше не слышал... Гуломали поднял руки.

— Вот так...— сказал голос.

Гуломали встал с поднятыми руками.

— Я ж сказал: не двигаться!

— Ладно уж,— сказал Гуломали примирительным тоном,— не могу же я с поднятыми руками сидеть...

А голос молодой, думал он, кто бы это мог быть?

Человек за спиной, должно быть, задел палас, зашуршало, и Гуломали тотчас повернулся к нему, не опуская рук.

— Стой!— крикнули от двери, а взгляд Гуломали уперся в наставленный на него черный пустой зрачок пистолета. Да, это не шутка. Гуломали с трудом заставил себя отвести глаза от дула и взглянуть на того, кто держал пистолет. У двери стоял незнакомый смуглый парень в огромных грубых ботинках, военных брюках, простой черной рубашке. Волосы до плеч, чуть пробивающиеся усики. Глаза из-под густых бровей посверкивали угрожающе, но руки дрожали, значит, опыта мало, увы, такие-то неопытные еще скорее могут пальнуть, хоть с перепугу... «Ну и ну!— думал Гуломали.— Ночь вокруг, никого, дом на окраине... Неужто мне уготован такой глупый конец?»

И тут повезло. Скрипнула где-то дверь, шаги слышались, ночной гость на мгновение повернул голову на звук, но Гуломали этого мгновения хватило: в стремительном броске он успел выбить из рук парня писто-

лет, а остальное было просто; после недолгой схватки свалил парня, скрутил ему руки, прижал к полу посредине комнаты. Парень тяжело дышал, постанывал от боли.

Шаги между тем приблизились, зашуршал палас, вошел Сабир.

— Эй, в чем дело?— спросил он удивленно.— Кого это ты?..

— Вот, пожаловал молодой человек...— сказал Гуломали с натугой.— Побеседовали...

Но Сабир увидел пистолет на полу, быстро глянул на обоих — дышат как загнанные лошади, оба в поту — и все понял; поднял пистолет, осторожно положил на стол.

— Может, отпустишь его?— сказал он.— Теперь не уйдет...

Гуломали отпустил руки парня. Встал, уселся на стул, подвинул свечу так, чтоб освещала прищельца. Сабир стоял между парнем и дверью.

— Вставай... ты!— сказал Гуломали.

Парень неловко поднялся, разминая руки, сгорбил-ся, отворачивая лицо от света.

— Ну!— сказал Гуломали.— Может, объяснишь, что это все значит?

Парень молчал.

— Я тебя спрашиваю! Язык проглотил?.. Или дать тебе разок, чтоб назад его выплюнул?..

— Ну, дайте!— с вызовом сказал парень своим высоким, еще чуть ломким голосом.— Дайте!.. Что хотите делайте! Я вас не боюсь! Боялся — сюда бы не пришел...

— Это мы поняли, какой ты бесстрашный... Может, хоть скажешь, один ты явился или твои дружки где-то рядом притаились? Которые не такие смелые! Ну? Скажешь, нет?..

— Я один пришел,— сказал парень угрюмо.— Можете верить, можете не верить...— Помолчав, он добавил глухо:— Мне свидетели ни к чему...

— А! Ясно,— сказал Гуломали.— Выходит, ты террорист-одиночка... И что? На самом деле меня убить собирался? Или поугагать?.. И вообще — чем я тебе не угодил?

Парень снова замкнулся в молчании. Потом быстро повернул голову в сторону Сабира, взгляделся — и принял прежнюю позу.

— Ну? Будешь говорить?..— Гуломали терял терпение, в нем вдруг закипела яростная злость на этого чертова молокососа.— Так за что ты меня убить хотел?!

Парень поднял на него глаза.

— Не вас!— сказал он.

— Не меня?.. Вот так-так! Явился ко мне, целился в меня, а убить хотел не меня! Интересно... Не меня — а кого же?..

На скулах у парня заиграли желваки.

— Его!— сказал он и мотнул головой в сторону Сабира.

— Совсем хорошо! Слыхал?— спросил Гуломали Сабира.— Его, значит! Ну, а его-то за что?..

— За то...— сказал парень, сжав зубы. И вдруг выпалил отчаянно:— Пусть оставит в покое Зулейхо!..

Гуломали в первое мгновение опешил — такого поворота он меньше всего ожидал. Потом глянул на Сабира — тот, казалось, переменялся в лице, а может, и нет, темно в комнате... На языке у Гуломали повисло насмешливое восклицание, но он сдержался.

— Слушай!— сказал он парню.— Ты вообще кто такой? И при чем здесь Зулейхо?..

— При том!— сказал парень.

— А все-таки?.. Ты-то кто такой?— И пока он вторично задавал этот вопрос, в мозгу у него уже догадка мелькнула. Ну да... так, наверное, и есть...— Слушайка,— сказал он.— А ведь я тебя, кажется, знаю...

Парень вскинул на него затравленный взгляд.

— Знаю, знаю...— сказал Гуломали.— Ведь ты сын доктора Сухайля, не так ли?..

Парень молчал, на скулах опять желваки выступили.

— Тебя же старшие спрашивают... Будешь ты отвечать?!

Видно было: в парне происходит яростная внутренняя борьба.

— Это мой бывший отец!..— наконец выдавил он.

— Так я и думал...— сказал Гуломали.— Бывший, значит! Интересно, как это отец может быть «бывшим»...

— Так и может... Был, а теперь его для меня не существует!

— Это почему?

— Потому... потому что он трус... и позорно покинул родину!.. У меня не может быть такого отца!— Парень

выкрикивал все это. — У меня другой отец! Приемный, но настоящий! Бесстрашный офицер... Он меня воспитал!..

— И сюда послал! Да?

— Нет! Сюда он меня не посылал... Он даже не знает, что я здесь. Но куда бы ни послал — пойду! Потому что люблю его!.. Горжусь!..

Парень тяжело дышал. С полминуты длилось молчание.

— Послушай,— сказал Гуломали.— Только что дуло твоего пистолета глядело мне в лицо...

— Я не хотел вас убивать!

— Допустим. Допустим, ты хотел убить не меня, а вот его — моего самого близкого друга. Но, убей ты его, неужели б меня оставил в живых, а? Если б в твоей власти было! Ты же сам сказал — тебе не нужны свидетели?..

— Раз вам так хочется... пусть будет по-вашему!

— Хм... мне, положим, не очень этого хочется... но так выходит. Выходит, что не зря твой пистолет был в меня нацелен!.. А раз так, то я думаю — вправе я узнать, что у тебя на сердце?.. — Гуломали помолчал.— Я тебе вот что хочу сказать... Тебя обманули насчет твоего отца. Доктор Сухайль — никакой не предатель... Напротив, он замечательный ученый... и человек, достойный высокого уважения! Никуда он не уехал... он погиб. Его убили!..

Юноша сверкнул глазами:

— Сочинить можно все! А доказательства?.. Почему я должен вам верить?

— Доказательства... доказательства ты получишь. Мы нашли дневники твоего отца, они были при нем, убитом...

— Что?.. Вы нашли его убитого?

— Нет, убитого нашли не мы...

— А-а! Я так и думал...

— Молчи, мальчишка!.. Убитого нашли не мы — горцы, которые его и похоронили... А дневник передали нам.

— И где же он?

— Он передан в редакцию газеты, она его напечатает. И когда ты прочтешь, ты...

— Угу! Я уже читал одну такую газету. Потом несколько месяцев ходил в лицее, не смея поднять голову!.. В той газете говорилось, что он бросил жену, ре-

бенка, родину, от которой отрекся, и бежал... А что будет написано в этой? Почему этой я должен верить больше, чем той?.. Газета! Одни лгут одно, другие — другое... — Он передразнил интонацию Гуломали: — Знаменитый уче-еный... уважаемый челове-ек...

Гуломали захотелось его ударить, он едва сдержался.

— Слушай... тебя, кажется, зовут Аурангзев?.. Слушай, Ауранг... Я говорю с тобой от чистого сердца... Клянусь хлебом, тебя обманули!.. Не бери грех на душу, не порочь имя отца...

Глаза парня опять засверкали яростно:

— Это не я — это он опорочил мое имя!..

Друзья переглянулись: говорить с ним, кажется, бесполезно...

Сабир сказал, глядя в землю, чтоб не встретиться с парнем глазами:

— Ауранг... Ты пришел сюда убить незнакомого тебе, совершенно чужого человека... Скажи, сколько тебе лет?

Парень не ответил, только глянул на него безглаголиво. Гуломали вскипел:

— Слушай, ты, молокосос! Человек, которого ты пришел убить ни за что ни про что, вежливо с тобой заговаривает, а ты даже не отвечаешь?!.. Чему тебя учили, ты, мразь?.. Ты вообще знаешь, что такое убить человека?..

— Не беспокойтесь, знаю. И убивал не раз! И все они были врагами нашего великого Садра!..

Ярость Гуломали вдруг улетучилась, в нем воцарилось ледяное спокойствие.

— Ну что ж, — сказал он. — Тогда и мы твои враги. Тебя не зря сюда послали. Не зря! Бери свой пистолет, стреляй, убивай! Ну?..

— Никто меня не посылал!

— Посыла-али! Ты и сам, может, не заметил... Ну, глянь на меня, в глаза посмотри: я кто? Преступник? Предатель?

— Не знаю я! И не в вас пришел стрелять, говорю же! В него! Сам я пришел, сам! Пусть оставит Зулейхо...

— Ну и сосунок же ты...! А злой сосунок! Тот, что кормящую грудь до крови кусает... Или нет! Просто ты глуп. Как же я не сообразил! У пистолета ведь врагов не бывает, ему все равно! На кого повернут — в того

бабахнет. Так и ты — просто пистолет в чужих руках... Зулейхо!.. Да с девушкой тебя так же вокруг пальца обвели, как и с отцом! Может, скажешь еще — ты ее любишь? Если любишь — зачем человека убивать пришел? А если ты убийца — зачем тебе любовь?..

— Не оскорбляйте!— крикнул парень срывающим-ся голосом. Он вдруг сделал движение к пистолету, но Гуломали загредел:

— Стреляй, стреляй! Убивай! Выбрал себе профессию, сын ученого!.. Видел бы твой отец — второй раз бы умер...— Он задохнулся, перевел дыхание.— Знаешь ты, кто это?— закричал он, указывая на Сабира.— Да ты его мизинца, волоска не стоишь! Я за него с тысячьо таких, как ты, стал бы драться! Да он... он научил меня родную землю любить! А ты... ты ее позоришь! Называешь отцом подлого офицера, пославшего тебя убивать!..

— Не оскорбляйте!— снова закричал парень, срываясь на визг.

В груди Гуломали словно вулкан извергался — померещилось ему, видно, только что ледяное спокойствие. Дрожа от ярости, он вскочил и со свирепым видом пошел на парня.

— Бейте, убивайте!.. Терять нечего!— кричал парень рыдающим голосом.

— Во-он! Вон с глаз моих!..

Парень смотрел на него расширенными глазами, не понимая или не веря.

— Убирайся! Убирайся, чтоб я тебя не видел!..

Парень попятился к двери, щупая рукой пространство позади себя, пока не ухватился за край паласа.

— Во-о-он!— кричал Гуломали вне себя.

То ли глаза Гуломали застлало яростью, то ли еще что — не увидел он, как этот гадкий недоросль выскочил: только коснулся паласа в двери — и сразу исчез, будто привидение. Еще мгновение слышен был стихающий топот ног — и все.

Гуломали вернулся к столу задыхаясь. Черный пистолет так и лежал на столе, ловя вороненой гривой отблеск свечи.

— А-а, черт...— сказал Гуломали, опускаясь на стул.— Забыл я... надо было и пистолет вслед швырнуть...

Сабир, все еще стоявший на месте — только малость подвинулся, когда Гуломали гнал парня из комнаты, — покосился:

— И зря бы это сделал...

— Пусть увидит, что мы его не боимся!

— Нет, я не к тому... Не стоило его гнать... Ведь мальчишка еще! И сын доктора Сухайля! Может, смогли бы его убедить...

— Оставь ты! Что сын Сухайля — так потому и отпустил... А убедить — поздно его сейчас убеждать. И времени нам для этого не оставили! Из таких вот злобных недорослей, из гаденышей этих — и создают все проклятые организации — «Родина», «Борцы за веру», «Львята»... Не-ет, их словами не убедишь — ты неужто не понял?.. Отец у него, видишь ли, настоящий... Ах ты дрянь! Дрянь, дрянь, дрянь!!! — Он шумно выдохнул. — В руки таких «отцов»-офицеров весь его лицей попал... Недавно у них в учебном корпусе без следа исчезли четверо наших агитаторов... А ты — убедить...

— И все-таки...

— Что — все-таки?.. Будь у нас по крайней мере эта тетрадь... Знает же он, наверное, почерк отца... Но ведь, как назло, она уже сколько месяцев валяется в редакции! Эх, будь время, поехал бы я в Кабул, устроил бы им хорошенький скандал! Головотяпы... Или — враги. Кто их знает, кто там сейчас в редакции сидит...

— Тетрадь — это еще не все... Мы сами...

— Опять он за свое!.. Не зли меня, пожалуйста. Не зли! Сам чудом избежал только что дурацкой смерти — и сам же готов давать убийце уроки воспитания... Себя бы, черт возьми, перевоспитал лучше. И зачем ты, скажи, увлекся этой пучеглазой?..

Лицо Сабира мгновенно закаменело от обиды. Он не прощаясь вышел, а Гуломали до половины ночи ворочался, терзаясь, что обидел друга. Но если б не этот проклятый щенок-убийца...

На следующее утро они разошлись по разным участкам трассы и встретились только в обед — там же, на трассе. Молча кивнули друг другу, сняли изрезанные колючками сапоги, уселись на зеленой траве. Гуломали заговорил первым:

— Сабир... ты уж прости меня, а? — Сабир кивнул. — Но хочу тебя все же спросить: ты что... Манзуру свою... в самом деле... забыл?

Сыр и хлеб были уже разложены на скатерке, Сабир разливал по кружкам горячий кофе из термоса. Поставил кружку Гуломали, налил себе, отхлебнул.

— Забыл!.. — сказал он наконец. — Глупое слово какое-то. Что я, ребенок маленький, что ли? Любил, любил — и вдруг забыл! И она тоже не карандаш на чертеже — взял резинку и стер... Годы с ней связаны, боль, радость — что, я могу ее забыть? Не-ет... И еще недавно собирался я бороться за нее до конца — сам мне советовал!

— А теперь что?

— Теперь... Знал бы я — что теперь... Видишь ли, когда я сюда ехал... это ведь все в один узел завязано... Когда министерство водного хозяйства меня сюда направило... ну, словом, я тогда понимал — непросто мне бороться за свою любовь... с этим самым Самадом Деряевым! Он парень не очень красивый, но умный, способный... настойчивый парень. От своего в жизнь не отступится — или того, что считает своим. А Манзура... я чувствовал — Манзура меня любит, а чего-то все-таки не решила. Чего? Этого я и не знал. И думал: в Деряеве дело. Он все бил в свою точку, одно ему помешало: они с Манзурой в науке лбом о лоб столкнулись! Ну, я и решил — негоже мне этим воспользоваться. Пусть время само решит... И уехал. Ну, а здесь... тогда... ты знаешь... увидел Зулейхо... и все перевернулось.

— Что, стало уже не до Деряева?

— Смеешься... а я мучаюсь. Не могу разобраться, какой мой долг больше.

— Долг! Долг долгом, а чувства твои где?

— Еще недавно, помнится, ты мне внушал: главное — долг перед женщиной! Ладно, ты не спорь — скажи, что бы на моем месте делал?

— Ничего б я на твоём месте не делал — не могу я оказаться на твоём месте... Ты же счастливчик!

— Остришь!

— Почему острию... серьезно говорю. Любят тебя — это что, не счастье?

— И я люблю! А умом понимаю... умом... Зулейхо ведь, в сущности, недоступна для меня!

— Это почему?

— Не притворяйся, сам знаешь.

— Не знаю — но допустим. Так ведь если любишь, бороться надо!

— Опять бороться... и здесь бороться... Устал я везде бороться.

— Тогда гляди — ни с чем останешься. Потом не жалуйся!

— Что бы ни случилось, как бы ни вышло — Зулейхо всегда будет для меня светом... единственным светом!

— Если б человеку было этого достаточно... — сказал Гуломали, и в голосе его прозвучала горечь.

— Да, да... прости... И все же... Как-то, знаешь, в последнее время стал я понимать верующих.

— Неудивительно, ты же у нас и сам в небесах паришь!

— Опять ты остришь... А я без конца думаю: как быть, как поступить?.. Ночью не сплю — думаю. По ночам, ты же знаешь, все по-другому — и страх, и энтузиазм, все — без границ. Плюнуть, думаю, на всю дипломатию и остальное, увезти эту девушку, счастье ей построить... А утром проснешься — видишь: чистой же воды донкихотство...

— А она это знает? Понимает? Ребенок почти...

— Прекрасно она все понимает!

— Так тебе и сказала?

— Сказала! Глаза ее сказали.

— Ах, глаза-а... Столистник сказал: хоть и сто языков у меня — а говорить не умею...

— Плохо ты ее знаешь. Она умная, смелая... чистая...

— Ну, это она. Допустим, смелая, допустим, все понимает. Но решать-то — тебе!.. Ох, вспомни, недаром я говорил: за слишком красивой девушкой беда по пятам ходит.

— Тьфу! Плюнь через левое плечо!..

— А, боишься!

— Ведь сам знаешь — судьбу дразнить не стоит... А что решать мне — ты прав, конечно. Решу, Гулом. Клянусь — решу. Как надо решу. Только дай еще сроку немного...

Они замолчали, сидели, смотрели задумчиво вдаль — туда, где, они знали, за голубоватой дымкой течет, бушует в низинах Аму. Вечное движение — и вечная преграда, вечное единение — и вечная граница. Но, как говорит Хайридин-бобо, Аму такая река, что ежели человек приходит к ней с благими намерениями — улыбается ему счастье, а если с дурными — пусть пеняет на себя, все у него прахом пойдет...

Шли дни, и Гуломали становился все мрачнее и озабоченнее; Сабир не рисковал заговаривать об этом, хотя чувствовал, что заговорить надо и что он,

Сабир, в чем-то виноват перед другом; был ведь у них разговор, и не один, да он все о себе, о себе, а по сути-то и личная беда, и сегодняшняя жизнь Коргара куда тяжелей, чем у него. Да Гуломали сам же не хотел ни о чем говорить, оправдываясь перед собою, думал Сабир; ну, не хотел, возражал он себе мысленно, а ты пробовал его разговорить? Нет!.. То-то. Он-то тебе помогал облегчить бремя, вникал в твои сложности, а ты?.. Только попрекал его тем, что он работу забросил. А каков бы ты был на его месте?.. Вот в том и заковыка, что не старался ставить себя на его место, смотрел на все со своего бугра. Что там у него творится, что назревает?.. Молчит ведь, — только в прошлый разговорча обмолвился об исчезновении четырех агитаторов в военном лицее. Наверное, были его товарищи по партии, а может, и близкие ему люди; а главное, такого уже немало, наверное, произошло, только он, Сабир, об этом не знает. И не слишком вникал до сих пор, занятый проектом да личными переживаниями.

Осенний, но еще жаркий день клонился к закату, когда Сабир, сидевший в своей комнатке за расчетами, услышал конский топот, оборвавшийся у соседнего домика. Кто это — к Гуломали кто-нибудь или сам Гуломали?.. Он убрал со стола материалы по техническому и экономическому обоснованию проекта, которые заново просматривал, и вышел из комнаты.

Потный, плохо обтертый конь переминался, привязанный к колодцу. Сабир шагнул в комнату Коргара. Гуломали, в пыльной с дороги одежде, лежал на складной кровати. Он привстал при виде вошедшего.

— Привет! — сказал Сабир.

— Привет! Заходи...

— Ты лежи! Голодный небось? И пить хочешь?..

— Есть малость... Я сейчас чай заварю!

— Лежи, лежи, я сам заварю!

И Сабир принялся возиться с чаем. Оба молчали. Вскипела вода на спиртовке, душистый аромат свежезаваренного чая потек по комнате.

— На, держи пиалу!

— А ты?

— И я... Ого, выпил уже! Давай налью... Есть будешь?

— Потом... — сказал Гуломали.

И они опять замолчали, втягивая губами горячую жидкость.

— Слушай,— сказал наконец Сабир нерешительно.— Неловко мне к тебе в душу лезть... А все-таки — что у тебя творится? Поделится бы — мы все же друзья... Я вот тебе про себя все выкладываю...

— Да,— сказал Гуломали.

— Что — да?

— Выкладываешь.

— Да что происходит?

Гуломали вместо ответа поставил пустую пиалу на пол и отвернулся — лег на раскладушке лицом к стене. С минуту висело в комнате тугое, нагнетавшееся, точно воздух в шину, молчание. Потом Гуломали вдруг дернулся, точно его что кольнуло, подскочил, повернулся лицом, сел в кровати.

— Ладно!— сказал.— В самом деле, чего в молчанку играть? Не хотел я тебя вмешивать... настроение портить... пугать тебя, по правде говоря, не хотел. Но теперь тебе все равно уезжать. Так у нас пошли дела... не думал я не гадал... За последнюю неделю потерял очень многих близких людей — кто погиб, кто исчез. В стране началась война... Да, да — настоящая война, где явная, где скрытая!.. Я мучился тем, что нахожусь далеко от места боя, — так теперь он сюда пришел, бой. Помнишь кишлак, где мы джиргу проводили? Пайки? Вчера Якубхан там устроил великую резню! Истребил половину жителей!

— Стой! Это ж кишлак твоего дяди!..

— Ну да! Не волнуйся, дядя не пострадал! И дом его тоже. Пострадали другие. Двести десять человек! Мужчины, женщины, дети, старики...

— За что-о?..

— Ты еще спрашиваешь за что? Ты же был на джирге!.. Это еще не все: многих, кто не успел спрятаться, он угнал с собой в горы... может быть, в Пакистан. И такое произошло не только в Пайки. Такое происходит в стране повсюду....— Глаза у Гуломали запали, лицо почернело — а в первый момент, когда вошел, Сабир принял это просто за следы дорожной усталости.

— Слушай... что ж будем делать?

— Что ты будешь делать, ясно,— сказал Гуломали, полез в брошенный на пол рюкзак, вытащил какой-то пакет, протянул. Взяв его в руки, Сабир сразу узнал фирменный конверт советского посольства.— Прислали тебе. Видишь, с пометкой «срочно»...

Сабир вскрыл конверт, пробежал глазами вложенный листок, прочел вслух. Сабиру Тохтабаеву предлагалось прибыть в посольство «в полной готовности», Посольство часто вызывало специалистов, но чтобы «в полной готовности»...

— Отправят тебя домой,— сказал Гуломали.

— Но как же... Гуломали...

— Очень просто. Уедешь — и все. Ты ведь сам собирался!

— А ты что?..

Гуломали упрямо наклонил голову, глядя на него, и промолчал.

Сабира охватило предчувствие беды — грозной, неотвратимой.

Они обнялись. Крепко, по-братски.

— До утра у тебя есть еще время,— сказал Гуломали,— поезжай, попрощайся с Зулейхо... И с дедом моим тоже, если хочешь!

— Неужели мы так и расстанемся?— сказал Сабир.— А как же наша работа?

— Работу... работу будем продолжать — я здесь, ты там...

— Ты здесь...

— Да. Что ж делать, так вышло. Авось еще доведем наше дело до конца! Заберешь с собой основные материалы... все, что нужно. Да! Я скажу завхозу — возьми у него мотоцикл в Пайки съездить. Чтоб быстрее!

— Спасибо...

— Ну... прощай.

— Как? Мы разве больше не увидимся?..

— Мне придется сегодня же... сейчас же... уехать по делам. Может, еще у Сардора встретимся? Но ты не спеши, оставь время для Зулейхо. Ну, ну... не горюй. Мы же еще молодые, верно? Никуда от нас эта жизнь не убежит!

Они снова обнялись. Острое щемящее чувство охватило Сабира, когда, около часа спустя, он в последний раз помахал Гуломали рукой. Тот, со своим привычным рюкзаком, в ладно сидящем седле, кивнул головой, повернул коня, взмахнул камчой и умчался. Какие разные ощущения могут порождать в нас одни и те же привычные звуки!.. Сейчас удаляющийся топот копыт звучал для Сабира похоронной музыкой. Увидятся ли они еще?.. Что за чушь, оборвал он себя. Увидятся, конечно увидятся!..

Мотоцикл вздымал на широком проселке ярое, нескончаемое облако пыли. Еще издали Сабир заметил у перекрестка, где сворачивать на Пайки, неподвижную человеческую фигуру. Скоро стало видно: женщина. Она стояла одиноко, покрытая поверх одежды темной старушечьей шалью. Кто б это мог быть? — думал Сабир с проснувшейся вдруг тревогой.

Это была Зулейхо. Он узнал ее, когда подъехал уже совсем близко, — она побежала навстречу. Зулейхо-то узнала его первой, хотя никогда не видела ни на мотоцикле, ни в мотоциклетном шлеме. Он резко затормозил, соскочил в пыль, положил, почти бросил мотоцикл наземь, тоже пробежал несколько шагов. Они встретились, Зулейхо положила ему голову на грудь.

— Почему вы стоите здесь, на дороге?

Девушка подняла к нему милое, заметно похудевшее лицо, на котором огромные глаза казались еще больше. В них была безысходная тоска.

— Я уже второй день сюда прихожу... Гуломалиака передал — вы уезжаете...

Господи боже мой! А он-то, пока она стояла здесь вчера и высматривала каждую движущуюся точку, сидел у себя и в который раз просматривал все бумаги, чертежи, сводки, потом разбирал кучу ненужных скопившихся вещей, решая, что взять с собой, что бросить... Жгучие чувства вины, стыда, жалости едва, казалось, не расплавили ему сердце. Ну почему, почему не может он взять в ладони этот чистый, прекрасный цветок и увезти с собою? Почему?..

— Зулейхо... — сказал он тихо, не в силах выразить всю переполнившую его нежность. — Не хотите прокаться?.. Ветерок...

— Идемте!

Они неслись на мотоцикле по спускавшейся вниз дороге, вдоль высохших пастбищ. Зулейхо крепко обхватила Сабира за пояс, прижалась сзади. И в этот час, грозивший расставаньем, может быть навсегда, ему казалось пределом желанья вот так ехать куда-то, с прижавшейся к нему девушкой, лишь бы не отрываться от нее, лишь бы не утратить, не потерять бесследно в неодолимом круговороте событий. Верст через пятнадцать в похолодавшем встречном потоке почувствовалось приближение большой реки. Они остановились на обочине. Вначале, когда смолк треск мотоцикла, для их полуоглохших ушей наступила, казалось, ве-

лика и всеобъемлющая тишина; но вскоре звуки вернулись — и отдаленный глухой гул Аму, доносившийся как бы с неба, и на его немолчном фоне серебряное пенье жаворонка. Они пошли по скошенному полю, медленно, без цели. Потом остановились, огляделись.

— Сабир-ака, Сабирджан, что ж теперь будет?

На ее лице были отчаянье, смутный блеск надежды.

Он глядел не отвечая.

— Сабирджан-ака! Вы уедете... а я? Что же я? Вы сюда вернетесь?..

Она заплакала. Он чувствовал себя чудовищем, но не мог сказать ни слова. Этому лицу, этим глазам он соврать не мог, а правды не знал — не знал, действительно ли сможет вернуться, разрешат ли ему, пустят ли сюда? А если не разрешат?.. Она каким-то усилием остановила рыдания, проглотила слезы, сказала изменившимся голосом:

— Вы знаете, что хочет сделать мой отец?

— Что?— спросил он пересохшими губами.

— Сначала говорил... если власти отберут землю — уйдет в горы... Теперь... после резни... вы знаете про резню, про Якубхана?.. Ужас что было... Знаете?— Сабир кивнул.— Теперь говорит — не будем ждать этой реформы, уйдем сейчас — и вернемся с муджакидами...¹

— И что... он и вас хочет забрать?

— Всех! И меня... Мне кажется... я ему там зачем-то нужна... А я боюсь!.. Так боюсь, Сабирджан-ака! Он отдаст меня кому-нибудь! Кому-нибудь из своих!— Она снова зарыдала.

Сабир обнял ее, прижал к себе, гладил и целовал дивные, пушистые, пахнувшие как ароматная трава волосы, и она чуть успокоилась.

— Бобо Хайридин приезжал... был у нас... Отец и его уговаривал уехать. Но бобо — ни в какую: мы, говорит, уже однажды бежали с родной земли... родину потеряли, сына потеряли, все потеряли! Если, говорит, во второй раз предам землю — не примет она меня потом!.. И стал сам отца уговаривать... и я молила... и матушка... Бобо ему говорит: вас, говорит, и не тронут, речь о заминдарах, у кого тысячи и тысячи джарибов! А он: забыли, что говорил мой племянничек? Бобо

¹ М у д ж а к и д ы — борцы за веру; так называют себя многие афганские душманы.

ему: да это он в запале! А отец: он в запале и землю отберет, если дадимся! Такие, как он, все и запалили, весь пожар!.. И давай ругаться... Он теперь такой стал — отец... По ночам приезжают люди, гонцы от Якубхана, видно; он с ними уезжает, возвращается утром, глаза кровью налиты... Мы все устали... страшно нам — сил нет!

— Зулейхо! — сказал Сабир. — Я все молчал, потому что думал... как сказать... как объяснить вам... Не было б для меня большего счастья, чем забрать вас с собою!.. Навсегда... Но сейчас это невозможно... Это нельзя сделать в один день... а я должен ехать! Не могу не ехать!..

— Я понимаю, понимаю!

— Знаю, что понимаете! Вы не только самая прекрасная... самая замечательная... вы умница! Клянусь, я сделаю все, чтоб вернуться к вам... за вами! Все, что только смогу! Мне нет жизни без вас, Зулейхо!

Она подняла голову, посмотрела на него долгим взглядом. В глазах ее возникло и разрасталось сиянье.

— Я вам верю, Сабирджан-ака! Потому что когда вы рядом... или когда думаю о вас... ведь такое горе вокруг... и у меня... а я чувствую, что и счастья такого, как во мне, никогда еще не знала!

— Зулейхо... любимая...

— И знаете... как ни горько... а я ведь рада... рада, что уезжаете... здесь опасно для вас! А я подожду... подожду. Лишь бы вы были... хоть где-то. А я терпеливая. — Губы у нее задрожали, но она остановила дрожь. — Я вас — пускай сгорю — не забуду!.. Только и вы... у себя... на том берегу... думайте обо мне!.. Приходите к Аму... смотрите... или слушайте — и думайте!

— Клянусь!..

Она прикоснулась к его руке — нежно-нежно... и значительно, словно передавала в этом прикосновении что-то важное. Он так и понял. И молчал — будто слушал. Потом она отняла руку — и улыбнулась: милой, прощающей, любящей — и чуть виноватой улыбкой. Сказала тихонько:

— Я зна-аю... кусочком души вы уже там... у себя...

— Родина ведь, Зулейхо... Там у нас просторно... Летишь самолетом — а внизу степь без края... пашни, поля... голубые каналы... И в водохранилище у нас — где мы живем — такая голубая вода!.. Хлопок уже бутоны завязал...

— Бобо рассказывал мне... о Сурхане. Я слушала как сказку.

— Это не сказка. Это быль. Земля наша... Но...— Он запнулся.— Я знаю, как у вас сейчас трудно, страшно... так ведь у нас тоже не сделалось все сразу... чудом... Моего деда убили басмачи. Отца тяжело ранили в последнюю войну. Он вернулся — а через шесть лет умер от ран... А лет ему было — как мне теперь! Может, ваш путь будет короче? Проще?.. Зулейхо, ведь я приехал сюда, чтоб и у вас так стало! Пришла голубая вода... Я вернусь, вернусь — довершу, что задумано...

Они повернули назад, к дороге, но Сабир остановился:

— Я ведь чуть не забыл...— Он полез в карман, вытащил серебряный флакончик для сурьмы с изображением Шивы. Флакончик попался ему однажды на базаре, на берегу Кабулдарьи.— Дайте руку...— Она протянула раскрытую ладонь.— Это вам, на память!

— Ой, что это?.. Какой хорошенький! Красивый какой! Я всегда такой хотела...

И снова в ее глазах, на ее влажных губах возникло сиянье.

Подойдя к мотоциклу, она остановилась, оглянулась назад, точно вбирая взглядом поле, по которому они ходили, потом повернулась к нему. В глазах опять стояли слезы.

— Ну почему... почему... почему вы должны уезжать?!..

Зулейхо попросила, чтоб он высадил ее на том перекрестке, где они встретились, не подъезжая к кишлаку. Он уже мчал по другой дороге, к Мазари-Шерифу, а ее тоненькая фигурка неотступно стояла перед глазами, заслоняя пронесившиеся мимо картины. Старенький мотоцикл летел и трещал, гремел на пустынном проселке, как ракетоноситель, и встречный ветер понемногу остудил Сабира. Засушливые равнины обочь дороги напомнили ему былую Каршинскую степь — те же тамариск, гармала, осока. Только на западе встречается песчаник, где не задерживается вода, и потому на этой окраине Каракумов немало безжизненных земель, где нередко пирует, разгуливается «афганец».

Сабирджан пересек холм, въехал в темную уже тополиную рощу на окраине Мазари-Шерифа. Времени оставалось мало, но не мог он не попрощаться с Садыком Сардором. С первой же встречи старик показался ему живым символом этой страны, всего лучшего, что в ней есть, всего, что здесь отложилось и навсегда останется в сердце Сабира. Старик был так же прям станом, несмотря на древний возраст, так же молод душой!.. Да, символ символом, подумал Сабир, но ведь Сардору уже за восемьдесят... Не свалили ли его горестные события в кишлаках и в племенах — его, так тесно, тысячью нитей связанного с судьбами его народа?..

Сабир оставил мотоцикл в тополиной роще, отряхнулся, пошел по знакомой улице. Старая усадьба Сардора была пуста — ворота настежь, ни света, ни звука. Сабир вытянул бадью из колодца, долго и жадно пил, потом отпустил бадью, крикнул громко:

— Есть кто?!

Ничего не услышав в ответ, он зажег карманный фонарик, света, оглядел виноградные шпалеры, двинулся к главному дому, поднялся на ступеньки, осветил через стекла знакомую веранду; книжные полки, кресла, столик... на столике открытая книга, даже яблоко надкусанное... все на месте, только людей — никого! Он тронул дверь веранды — она была не заперта. Сабир вошел, двинулся к двери комнаты, где ночевал Сардор. Дверь и здесь была лишь прикрыта. Сабир распахнул ее, ступил на порог — и фонарь едва не выпал у него из рук! На одеялах, расстеленных на полу, лежал, вытянувшись во всю длину, Сардор, весь белый, глаза открыты, неподвижны... Сабир, задержав дыханье, повел фонариком по комнате... вот каса рядом на ковре, флакон с лекарством, знакомая бархатная феска...

— А-а, сынок, это ты-и... — Голос был слабый, как дуновенье ветерка.

Сабир вздрогнул. «Жив, слава аллаху!» Он вздохнул облегченно:

— Ассаламу-aleyкум, уважаемый Сардор! Я уж испугался... Что с вами, вы же так рано не ложитесь?..

Старик слабой рукой провел по лбу — пытался вытереть пот.

— Что случилось, Сардор? И во дворе и в доме — никого. Один вы, что ли?

— Один, сынок... один... увели моего единственного...

— Увели? Кого увели?— До Сабира не дошел смысл его слов. Он поправил подушку под головой больного, налил было в пиалу ему холодного чая, но старик отрицательно качнул головой.— Кого увели, Сардор?

— Значит... еще не знаете...

— Что?

— Что с вашим другом...

— С Гуломали? Что стряслось?

— Увели моего единственного...— повторил старик как в бреду; голос его стал еще слабей, казалось, больной вот-вот впадет в беспамятство.— Один я... один... совершенно одинок...

— Сардор! Господи боже мой... Сардор! Вы меня слышите?

Старик вроде очнулся.

— Утром...— сказал он.— Утром, да... ни с того ни с сего пришли, арестовали...

— Муджахиды?..

— Не-ет...

— А кто? Неизвестные?

— Известные... известные... в том и дело... Что происходит... я не понимаю... И как назло — скрутило ноги... и голова, голова...

— Кто же были эти люди?

— Секретная служба...

— Из старой секретной службы?

— Старой?.. Почему... из новой... свои... нового правительства...

— Вы что-то путаете, Сардор! Господи, ну и напугали вы меня... Если действительно свои... значит, не арестовали, тут другое! Может, вызвали по неотложному делу...

— А-ре-сто-ва-али... ты бы видел... ты бы видел как, сыно-ок... А всем остальным... кто в доме... велели вон!.. Я один...

— Но что же это значит, Сардор! Ведь правительство и состоит из таких, как Гуломали... из его соратников! Их секретная служба может арестовывать врагов... это понятно... их тут хватает! Но Гуломали...

— Не знаешь всего, сынок...

— Что тут знать? Кто не знает Гуломали Коргара?!.. День и ночь служил новой власти...

— То-то и оно... то-то... и оно... Два дня он... места не находил... говорю... что с тобой... молчит... Потом... бобо, говорит... арестовали моих товарищей... честных... активных деятелей... за что, говорю... Не ответил... может, не знал... Но чуял... чуял — его очередь...

— Это недоразумение!

— Нет, сынок... тут не то... он прощался... так... такая в глазах... тоска... безысходность... Увели... я и свалился...

— Но все ваши-то где?

— Я ж говорю... велели уйти...

— И все послушались?

— Не-ет... некоторые... пошли узнать... или не узнали еще... или узнали... плохое... боятся сказать...

— Успокойтесь, Сардор! Ничего плохого быть не может! Уверю вас! Это... это какая-то ошибка... Бывает... везде бывает... революция! Ошибка выяснится — и Гуломали вернется, живой и здоровый! Вот увидите! — Старик был совсем плох, надо было его успокоить, и Сабир старался придать своему тону возможно больше уверенности; но внутри него росла и трубила тревога. Не так все это просто, нет... известно, какие бывают иногда ошибки и чем кончаются... Но старик, кажется, прислушался к нему.

— Спасибо, сынок... спасибо... хочется верить тебе... ты молодой... больше понимаешь в нынешних... у нас было иначе... враг — враг... друг — друг...

Хотя времени было уже в обрез, Сабир решил остаться до утра: бросить старика одного в таком состоянии было невыносимо. Но тут в дверях робко появился старый слуга: прежде наступления темноты вернуться в дом он не решился. И Сабир, дав ему необходимые наставления и наказав во что бы то ни стало привести к старику лекаря, пошел прощаться. Старик опять лежал в полузабытьи, но оживился, пока Сабир повторял свои увещевания и утешения. «Я еду в Кабул и там все выясню!» — сказал Сабир, уходя, и распростертый Сардор пробормотал в ответ:

— Спасибо, сынок... дай тебе бог удачи...

Но выяснить в Кабуле ничего не удалось. Хуже того, в посольстве сказали, что и выяснять-то он ничего не вправе. И он сел в самолет с горящими ссадинами в душе: Зулейхо... Гуломали... Садык Сардор...

Два года я ждал этого дня. Два года!.. Сколько раз снилось: иду к самолету, лететь домой,— легкий, свободный, счастливый... Сколько надежд, сколько терпения!.. И вот этот день наступил, а во мне, кажется, только горечь, только страх за остающихся, только стыд собственного бессилия... Радость возвращения домой — она еще объявится, она, конечно, возьмет свое, но пока ее место занято, вход воспрещен. Даже в посольстве, где сладкое «поехать домой» заменено сухим «возвратиться в Союз» — даже здесь две девушки-секретарши смотрели на меня с жадной завистью, чуть не со слезами. Я же, который, казалось бы, должен завидовать самому себе, который недавно еще, после упреков Гуломали, втайне рисовал себе картины домашнего блаженства, сейчас и не думал о родном доме. За спиной у меня, как черный колодец, зияла беда сроднившихся со мною людей, и это зиянье затягивало в себя мою душу.

Может, виной было, что, привыкший все-таки к точным цифрам расчетов и сроков, я очутился в чудовищном круге неопределенности? Все ведь было трагически неопределенным: судьба работы, судьба близких, моя собственная судьба... Если б хоть можно было на что-то воздействовать — но нет, ничто, кажется, от меня не зависело, все оставалось как бы за пределами этого рокового круга. Неясные сроки, туманные аргументы, смутные обещания, неоправданные надежды... Так казалось мне, пока я садился в самолет, пока наклонялась под нами эта горько полюбившаяся земля моих друзей, делалась видна во всей своей пестрой и величественной красоте — и уходила, уходила, исчезала за облаками. Я поглядывал вниз, в распростершиеся за окошком бескрайние белоснежно-пуховые поля, и думал о нашем проекте. По правде говоря, все последнее время он представлялся мне сенсационно удачным, но что толку в любом проекте, если он практически неосуществим?

Правда, мне тут же приходило в голову, что ведь ни в посольстве, да и нигде еще никто толком проекта не знает; мы с Гуломали покамест держали свое первое открытие, свое рождающееся детище в относительной тайне; в посольстве и решили: работал человек два года, ничего до конца не довел, и хватит... Да нет же, возражал я себе, о тебе же заботятся — ведь действительно опасно, Гуломали исчез, группа, конечно, опять распадется, надеяться сейчас на что-либо вроде хашара

просто смешно... И, наконец, ты ведь сам хотел поехать домой!

«Счастливого пути! — говорили мне девушки в посылке, глядя на меня с откровенной завистью. — Скоро дома будете...» Но что они знали о Зулейхо? О Коргаре? О проекте?..

Неблагодарное ты все же существо, говорил я себе, ведь домой едешь! Домой! Мать увидишь!.. И я представил себе милую мою маму, с опаленными от вечной возни у тандыра бровями; казалось, почувствовал этот привычный, любимый запах родного дома, с ароматом свежесдобитой лепешки. Брат, конечно, придет... тут же явится, с ног до головы покрытый степной пылью, такой же шумный и резкий, как и его газик. Он заведует отделением совхоза, но в свободное время обожает беседовать о глобальных проблемах. Однако главный его конек — Аму. Как и у меня, впрочем... Провожая меня в Афганистан, он сказал с горечью вместо доброго напутствия: «Теперь с той стороны еще начнете, значит, нашей Аму — коне-ец...» Вечером вернется племянница Лола. Она вспыхнет как мак, победит ко мне со всех ног, побросав на ходу книжки, и тут же шепотом начнет рассказывать, что видела недавно Манзуру, да...

Манзура! Нелегко мне будет с ней объясняться. Если, конечно, потребуется объяснение. Ведь два года прошло... Два года!

Когда-то я мечтал, как, очутившись в Ташкентском аэропорту, первым делом помчусь к телефону-автомату — звонить Манзуре. Я и вообразить бы не смог, что в действительности, покончив в порту с формальностями и выйдя с вещами в зал, пройду мимо этого автомата — свободного! — стараясь на него даже не глядеть. Прилетели мы рано, но теперь был уже десятый час. Я взял такси и поехал в министерство.

В теплых, но уже не жгущих лучах осеннего солнца город лежал радушный, словно распахнувшийся объятия. На тротуарах стояли лотки с книгами и канцелярскими товарами. Народ шел, останавливался, толпился, снова шел. Господи, и не думают ведь сейчас о том, какое это счастье — безопасная, мирная жизнь на родной земле!..

Окна министерского отдела, два года назад командировавшего меня за рубеж, широко раскрыты на новый проспект, который отсюда, с высоты, выглядит как цветной чертеж на плотной бумаге. Четко видны все улицы, проезды, аллеи, дороги, цветники, фонтаны, ря-

ды стройных высоких тополей. А ведь перед моим отъездом еще споры шли, что здесь высаживать — быстрорастущие тополя или медлительно тянущиеся вверх декоративные деревья. Высокие подъезды, лукообразные эстакады. Машины разворачиваются поминутно — и скрываются где-то за пределами видимости, среди цветочных клумб. И гостиницу напротив кончили строить — великолепное здание, на широкой мраморной лестнице перед входом непрерывно, взад-вперед, движутся людские вереницы.

И вот я уже в этой самой гостинице. Второй день пишу отчет о командировке, сыплю соль на собственные раны. В отделе на мои вопросы отвечают неопределенно:

— Вызовем, когда понадобится...

— Что это за бессрочный отпуск?

— Ничего, ничего, вы ж работали без отпусков и, как говорят, без выходных, так ведь? Ну и отдохните, плохо ли поразмяться после такой поездочки, повидаете родных, по вас, поди, соскучились...

Соскучились, соскучились! Еще как соскучились... Каждый ждет моего приезда, строит какие-то планы, возлагает какие-то надежды. Брат даже пристроил для меня домик из двух маленьких комнат в конце двора. «А почему б не построить? — писал он мне. — Руки-то свои, и земля есть, зря мы, что ли, ее осваиваем!» Шутит, конечно. Он у нас шутник. Домик, разумеется, мать заставила построить. У брата, как всегда, задачи более обширные...

И вот я уже наконец дома и все почти так, как я сто раз представлял себе на том берегу: брат мой настырно расспрашивает меня обо всем, в первую очередь о подробностях революции в месяце савр, а потом о «Проекте Большой Аму» — откуда он только прослышал о нем! — о том, как там народ живет («Хуже нас? Ну ясно, хуже, откуда им!»), наконец, о наших изысканиях.

— Каменная чаша? Та-ак... Четырнадцать русел, говоришь? Ничего себе! Но не справятся они с такими планами! Откуда им... У них же ни колхозов, ни совхозов...

— Похоже, брат, все-таки справятся...

— Ну, ну... — Он мрачнеет. — Ладно уж, пусть справляются, а то все твои усилия даром пропадут...

И мать не спит, ходит за мной, глаз не сводит.

— До каких же пор будешь ты скитаться по полям да по степям, до каких пор, ты же не из семьи кочевников, правда? Все твои ровесники уже обзавелись семьями...

И пошло-поехало, разговоры, разговоры, иные вперемешку со слезами.

Смешные и таинственные истории рассказывает только Лола. Она с трудом сдерживает себя, дожидаясь вечера, а вечером тащит меня на водохранилище, купаться. Мы выбегаем на берег с полотенцами на плече, по зеркальной глади воды стелется, словно бархат, мягкая вечерняя прохлада. Противоположный берег потемнел и сливается с тусклым небом. У Лолы здесь, видно, есть свои любимые местечки, она ведет меня по пляжу мимо брезентовых палаток и цветных веревочных ограждений, оставшихся после очередной лагерной смены, к укрытым в зарослях шиповника валунам. Это место, впрочем, я отлично знаю, мы не раз приходили сюда с Манзурой; тогда, правда, берег был еще дикий, пустынный. Да, думаю я, и Лола уже подросла, коли знает эти места; в седьмой перешла... А ведь равнато для седьмого — и я смотрю ей вслед с ворчливым, должно быть, выражением лица. Ее вытянувшаяся стройная фигурка уже у самых валунов.

— Садитесь,— говорит она, указывая на гладкий белый камень.

Я его знаю, он удобен, как стул, и долго хранит тепло солнечных лучей. Мы вешаем полотенца и одежду на кусты шиповника и бросаемся в воду. Лола уплывает далеко вперед, поднимая фонтаны брызг, от шума беспокойно взлетают из кустов птицы, уже устроившиеся на ночь. Я же плыву не спеша, саженками, переворачиваюсь на спину, медлительно наслаждаюсь ласковым теплом прозрачной воды. Это мы сами провели ее сюда, и кажется, эта вода знакома мне, как люди, как деревья, как валуны на берегу. Пожалуй, я сумел бы отличить ее от любой другой! Такой чудесной воды и нет больше в мире...

— Почему ж вы меня ни о чем не спрашиваете?— говорит Лола; мы уже выбрались на берег и торопливо вытираемся своими махровыми полотенцами. Потом, не дождавшись ответа и что-то, должно быть, вспомнив, говорит с удивленной интонацией:— Хотя и она о вас ничего не спрашивала!

— Это ты о ком?

— Ой, «о ко-ом»! — передразнивает меня Лола. — Будто не знаете!.. Я ее два раза видела. Один раз, когда мы в городской музей ездили, а она стояла у дверей института, и кругом целая толпа чужих дядек, таких важных, степе-енных!..

Я мысленно вижу Манзуру: воображение мое скользит по давно протоптанной тропинке. Манзура, конечно, в кофте молочного цвета — она знает, как ей идет белое, выгодно подчеркивая густоту темных волос. Еще на ней модная юбка из мелкого вельвета и — никаких украшений, никакой парфюмерии, она их не признает...

— А второй раз...

— Она что, не поздоровалась с тобой?

— Нет, почему, в тот раз поздоровалась... А в друго-ой раз — она приехала к нам в совхоз, а мы были на картошке. Я ее на Головном увидела: в брюках, вот с тако-ой прической... — Лола изобразила размеры прически и походку Манзуры, — прошла важно мимо меня и не заметила... Не заметила, и ладно, правда же, Сабирджан-ака?

— Может, действительно не заметила?

— Ну, а я что говорю? Не увидела меня! И не надо... Не хочет разговаривать — и не надо, не буду ее упрашивать... — И Лола вдруг заплакала.

— Ты что, девочка? Ну, что, милая, чего ты плачешь-то? Конечно, не будем упрашивать, сама говоришь! — Я гладил ее по голове, худенькие плечи вздрагивали, потом затихли, а передо мной снова была Манзура. Ведь, казалось, совсем ушла из меня, не осталось там для нее места. Ан нет, ан нет. Или это мерещится, что нет, — вернулся на родную землю, в места, по которым истосковался, по этим вечерам, по берегам, искоженным вместе с нею...

Лола высвободилась, стала одеваться. Бедняжка! Должно быть, ее сердечко, как это часто бывает, озарил жаркий отблеск наших отношений, а теперь оно обожжено горем или обидой, будто это собственные чувства обмануты. Но я-то!.. Что ж я за безвольная личность, что за жалкий человек, ведь окажись сейчас Манзура рядом, я бы... Ну, что бы я сделал? На колени встал? Признался в верной и неизменной любви? Нет, но все-таки... Тайком от нее и ехал из Ташкента, не позвонил, словно бы прячусь от разговора... Просто я трус, вот что!

Я снова бросился в воду, будто пытаюсь смыть, вымыть из себя эти саднящие мысли. Новое купание действительно помогло. Мы отправились домой, и Лола шла рядом, молчаливая и печальная.

Утром я проснулся и вовсе обновленный. Так мне хорошо спалось после купания, что, против обыкновения, кажется, и не снилось ничего. Или просто я в своих скитаниях разучился нормально спать?.. Вот, лежу на широкой супе, на голубом айване, подо мной белоснежные простыни, под головой мягчайшая пуховая подушка, и рядом сидит мать, подперев кулачком подбородок. Сидит и смотрит на меня, словно и не ложилась, так и просидела всю ночь. Я только теперь замечаю, как сильно она поседела, — скоро голова ее будет белой, как детсадовский халат, что на ней и нынче. И, как обычно, от нее исходит запах свежего хлеба.

— Вы затопили тандыр, мама?

— В детском саду. Сейчас тандыр установили там, я пеку хлеб и для детсада, сынок... — Она говорит с обычной своей мягкой интонацией, не то оправдываясь, не то уговаривая меня в чем-то; а может быть, не желая меня окончательно разбудить.

— Что ж меня не разбудили? Я б огонь разжег!..

— Ну что ты, сынок, только приехал, ишь какой усталый... после двух-то лет... Что ж, сама не разожгу? Спи, отдыхай, почувствуй свой отпуск-то...

Она меня погладила, поцеловала в лоб; я был младшим в семье, мать всегда меня баловала, пока я был около, и сейчас мне стало стыдно — хотя бы того, что она трудилась не покладая рук, пока я дрых тут, на голубом айване. Стыдно — но как-то сладко-стыдно. Я сообразил: брат с женой давно на работе, Лола в школе, мы с матерью в доме одни, и ей, наверное, думается, что на недолгий срок я снова принадлежу только ей, как когда-то в моем детстве. Сейчас, конечно, она станет кормить меня чем-нибудь самым моим любимым, начиная от чая с каймаком. И действительно, ведь это уединение ненадолго, через час-другой начнут приходиться родственники и знакомые, весь день будем принимать гостей... Черт возьми, это не по мне уже, отвык я, позавтракаю, посижу чуть с матерью — и пойду по совхозу!

Но глупо было думать, что я таким образом скроюсь от обрадованных моим приездом или просто любопытствующих земляков; около одного из полевых станов

меня перехватил совхозный парторг и потащил в контору. Апрельская революция в Афганистане сейчас прямо актуальнейшая тема, сказал он, клуб будет битком набит: удастся послушать очевидца таких событий! Я скоро понял, что бесполезно отнекиваться, еще бесполезней объяснять, что я вовсе не очевидец, занимался другими делами и, как они здесь, все знаю с чужих слов. Парторг и слушать не хотел, считал эти слова плодом моей излишней скромности или даже неуважения к родному совхозу...

Господи, грех говорить это в первый же день, но зачем я сейчас сюда приехал — зря тратить дорогое время, необходимое для проекта, для того, чтоб подвести под него солидную научную базу, закончить расчеты? Надо ехать в область или в Ташкент, в институт, и в министерство, и во «Взрывпром», встречаться со специалистами, консультироваться, советоваться, что-то решать...

В тот же день я мимоходом узнал, что Манзура появилась в области. Значит, все-таки появилась! И меня охватили волнение и беспокойство, словно дальнейшее зависело от того, приедет она сейчас туда или нет.

Два дня спустя я был уже в области. И днем, словно сговорившись, мы встретились на старом нашем месте, возле филиала института. Как и я ее, Манзура заметила меня издали. Она чуть наклонила голову и зашагала по тротуару взад-вперед, в тени могучей чинары, в такт движению покачивая сумочкой. Знакомая фигура, эта нетерпеливость движений, тоже такая знакомая со студенческих лет...

— Это вы, Сабир?.. Что за ветер занес вас в родные края? Со счастливым возвращением...

— Спасибо... спасибо, Манзура.— Я чувствовал себя так, словно это было и впрямь назначенное или, во всяком случае, давно и жадно ожидаемое мной свидание. Что же это со мной, черт возьми? Кого я люблю? Ту? Эту?.. Манзура протянула руку, и, коснувшись ее пальцев, я ощутил опять-таки знакомое острое волнение, будто нечто в груди сжалось в кулак и дрожит от невольного усилия.— Как вы тут?— спросил я неловко.— Я уж действительно так давно дома не был, ду- мал, никто меня здесь и не ждет...

Манзура рассмеялась.

— Тонко сказано... Если вы имеете в виду меня, то я, как видите, так и стою здесь со дня вашего отъез-

да!— Она отсмеялась, убрала улыбку. Глаза прикрыты черными очками, скулы опалены степным солнцем, поверх белого платья — коричневая безрукавка, и сумочка коричневая. Никогда она не пыталась нравиться, носила что захочется, но всегда это ей оказывалось к лицу.— Ладно,— сказала она,— шутки в сторону, как вам выбраться-то удалось? Без потерь? Такое там нынче смутное время...

— Мне лично — без потерь. Плохо, что работу мы не завершили... А у вас что?

— Нормально.

— Сдал Самад свой проект?

— Да-да...

— Значит, пойдет-таки вода на залив Сайлык... А вы сами что? Дома как?..

Она мгновение помолчала, поджав губы. «Дома?— явно сказала она этой паузой.— Дом мой был вам по пути. Могли поинтересоваться на месте...»

— Хорошо,— сухо ответила она. Мы еще мгновение помолчали, и она добавила другим, снова чуть шутливым тоном:— Хорошо, что произошла революция в Афганистане, не то мы б вас так тут и не увидели... За полгода — ни письма, ни весточки...

Перемирие? Или, напротив, наступление?.. Я предвидел такую минуту объяснения и больше всего ее и боялся. Как это называется? Минуты правды?.. Момент истины?.. В том вся и беда: снова я знаю нетвердо, где она — эта истина... И ведь что ни скажу, как ни поверну правду — все будет ей оскорблением. Меньше всего мне хотелось обидеть ее — умную, красивую, честную...

— Не мог я писать все последнее время, Манзура,— сказал я хмуро.

— Ну да,— сказала она быстро,— это вообще трудно... особенно если кто-нибудь мешает.

Знала бы она, как точно попала в цель! Но я чувствовал: возрази я сейчас, засмейся хоть самым ненатуральным образом — «кто, мол, мог мне мешать?»— и она состроит ироническую гримаску или недоверчиво хмыкнет, но, при всей ее чуткости, поверит. Потому что хочет поверить, ждет этого опровержения, ради него и вопрос, может быть, задала. Знала ведь свою прежнюю власть надо мной! Прежнюю?..

— Я правда не мог писать, Манзура,— сказал я так же хмуро.— Там было такое... такая ситуация... так

сложно и напряженно... рассказывать об этом сейчас долго...— Ведь в самом деле было так, думал я, и дневник доктора Сухайля возник у меня в памяти.— Поверьте, целая детективная история... которая, кстати, не кончилась.— Пока я произносил эти слова, мне вдруг пришло в голову, что арест Гуломали мог быть продолжением истории с дневником. Почему нет, собственно?.. И как я раньше не подумал? И я добавил:— Каков будет конец истории, жизнь еще подскажет...

— Ладно,— сказала Манзура.— И это — утешение...— В голосе ее прозвучала неожиданная нотка усталости, безразличия, как будто ей надоело продолжать разговор. Словно услышала не то, что я сказал, а то, что хотел скрыть.

— А про себя вы так ничего и не рассказали, а, Манзура? Ваши-то дела как? И те принципы Самада...

— И опять Самад!— с резким раздражением прервала она.— Уже второй раз поминаете, и ни к селу ни к городу! Может, он прислал вас сватом?— Она, кажется, разозлилась не на шутку, ускорила шаг, а я виновато следовал за ней, мысленно поносил эту свою проклятую привычку ревности. Но ее раздражение, ее последняя фраза сладко отозвалась где-то, в глухих, казалось, глубинах моей души. Что ж — можно перестать любить женщину и продолжать ревновать? Или это я, именно я так глупо устроен? Когда рядом со мной была Зулейхо, мне думалось — объясниться с Манзурой будет просто, я ведь начинаю новую жизнь!.. Но здесь все оказалось по-другому. Возвратившееся ли моим глазам обаяние Манзуры, или чувство вины перед нею, или бессознательная услужливая память привычки, или все это, вместе взятое, опрокидывали не только мою решимость, но и само решение. Мои чувства словно выворачивались наизнанку; чего же я хочу? Кто мне нужен? Кто мне дороже?.. Брат сказал бы: «Ты, мой милый, похож на собаку, что за собственным хвостом гоняется...» И в ту минуту, поспешая за Манзурой, я впрямь ощущал себя эдаким побитым, бесхозным псом. Я казнил себя, клял, презирал — и понимал при этом: как бы мне сейчас ни повести себя, все будет недостойно...

Мы проходили как раз мимо филиала института, по широким ступеням спускалась группа молодых людей, при виде меня они зашумели, заторопились, я мгновен-

но оказался в толпе смеющихся, приветствующих, хлопающих меня по плечу парней — это были и мои сокурсники, теперь уже аспиранты или преподаватели института, и едва знакомые, помоложе; все хором задавали вопросы, как бы и не ожидая ответов, — и неожиданно отделили меня от Манзуры. Она была уже далеко впереди, я видел, что она уходит, не прощаясь, и рванулсь было вслед, но куда там, они держали меня: ты куда, постой, сколько не виделся, нет, не отвертисься, постой, братишка... И я сдался, но с неожиданно возникшим острым чувством потери.

И минут десять спустя, расставшись с парнями, я по-прежнему нес в себе это острое чувство и думал: что это значит? Где он — настоящий я? Там, на проселке рядом с Зулейхо, или здесь, рядом с Манзурой, на бесчетно исхоженном мною асфальте? Или, может быть, Манзура для меня — это уже не только Манзура, но и частичка неба, под которым я провел жизнь, и родной земли, по которой с рождения ходили мои ноги, частичка моей мамы и Лолы, частичка моего неотъемлемого от меня прошлого, сладко-горькая память торопливых поцелуев, ожиданий, смятенных надежд? Частичка меня самого?..

Я вернулся домой и два или три дня слонялся, не находя себе места, маясь от тоски, от безделья, не в силах начать работать, угомонить раскачавшийся маятник чувств. То вспоминается мне гордая, независимая — и все же так явно раненная обидой Манзура, уходящая, не прощаясь, по осененной тенью чинар асфальтовой улице; то широко раскрытые огромные глаза Зулейхо — она стоит у обочины, в теплой пыли проселка: «Я верю вам, Сабирджан-ака... Я буду ждать... Я терпеливая...»

Домашние озабоченно поглядывали на меня, всячески обихаживали, особенно мама, конечно. Впрочем, и Лола с наивной непосредственностью пыталась развеять мои печали. Однажды нагнала меня в укромном уголке и весело зашептала, поблескивая глазами: «Эй, Сабирджан-ака, красивая та девушка, что вы полюбили в Афганистане?..» И улыбается, улыбается, готовая громко засмеяться собственной шутке. Она и не подозревает, что ее шутивное предположение — чистая правда... Но я поддерживаю ее игру. «Красивая ли? — говорю я, подделяваясь под ее тон. — Еще бы! Только что ты, курносая, в красоте понимаешь, а?..»

В конце концов вывел меня из моего состояния шумный мой, вечно озабоченный делами и проблемами брат. Вернувшись на третий день с работы, сняв свою соломенную шляпу и отирая пот со лба, он сказал:

— Ну, отпускник? Чем развлекаешься?.. Эти ирригаторы опять скандал затеяли, слышал?.. Ты не поедешь?

— Куда?.. И что еще за скандал?

— Да все тот же, о массиве Сайлык. Там уже новые совхозы закладывают, чуть ли не дома строят, а они все еще спор не кончили!.. Все еще ре-ша-ают...

— И где они собираются?..

— В области! Мне приятель сегодня сказал, инженер, он у нас диспетчером на водохранилище... Его тоже пригласили! Видно, серьезная будет драка, сама Сумбуль-ая Садриева прибывает...

— Сумбуль-ая?— Я вскочил с супы и выключил телевизор, который начал было смотреть.— И где в области, не знаешь? В обкоме? Или в филиале института? Или, может, в тресте водных сооружений?..

— Это уж не знаю! Ну да в области скажут...

Казалось, меня, одурелого, окатили свежей студенной водой.

На следующее утро первым автобусом я ехал в областной центр и думал уже только о предстоящем совещании, пытаюсь представить, о чем пойдет спор. О том, в курсе чего я был еще до отъезда в Кабул, или в центре внимания уже новые проблемы?.. Но главное — Сумбуль-ая. Я готовился к встрече с ней, которой ждал так долго, мысленно выстраивал свой рассказ, перебирал все главные и второстепенные вопросы, которые должен ей задать. Однако, думал я, спор предстоит нешуточный, если она сама пожаловала на совещание. Она много разъезжает по своим любимым степным зонам, но совещаний не любит, считает, что там много времени тратится по-пустому... Но уж коли совещание важное — значит, в обкоме!..

Так и оказалось. Площадь перед обкомом была забита машинами, в обширном вестибюле переговаривались, сидя без дела за маленькими столиками, несколько человек, которым полагалось регистрировать участников. Я назвался, меня записали и проводили к двери в актовЫй зал. Осторожненько отворив тяжелую дверь, я шагнул в полутьму — и сразу же уперся взглядом в Манзуру! Она выступала, стоя на трибуне... Я даже

споткнулся о ковер от неожиданности, с соседних кресел недовольно оглянулись; я отыскал глазами свободное место, тихо прошел к нему и сел.

На Манзуре был костюм мужского, скорее, покроя, для полноты впечатления даже узенький галстук был повязан на шее, поверх кофточки со стоячим воротничком. Пока добирался до места, я уловил лишь несколько слов ее выступления и, только усевшись, окончательно «включился».

— Не случайно, — говорила она, — вот уже девять месяцев из ТЭО не возвращаются материалы изыскательской группы. Да если б их и вернули — я уверена, товарищи: этот проект не обеспечит будущего массиву Сайлык! Ибо товарищи из группы до сих пор не признают очевидной вещи: необходимо максимально снизить объем перекачки воды из Аму насосами.

— Вы, наверное, забыли, — громко сказали из зала, — мы живем на правом берегу!

— Я не забыла. Отнюдь!.. Но считать, что на правом берегу можно обходиться только с помощью насосов, да еще подводить под это теоретическую базу, — в корне неправильно!.. И я сегодня вышла на трибуну, чтобы это доказать... — И Манзура подошла к карте, висевшей на заднике сцены. Да, это был уже знакомый мне спор, хотя, конечно, на новой стадии, и я снова отвлекся, не прислушиваясь к словам Манзуры, а только глядя на ее такую знакомую стройную фигурку. Когда-то сердце начинало ныть, едва я замечал эту фигурку, с ее характерной походкой, где-нибудь в дальнем конце улицы... Но тут голос Манзуры зазвучал громче, и я прислушался: — Я наглядно представляю себе проект первой группы и, опираясь на точный анализ и расчеты, могу сказать определенно: песчаные наносы одних только ведущих к насосам каналов не позволят обеспечить рентабельность массива по крайней мере в течение ближайших десяти лет! Товарищи, мы же имеем дело с Аму... На очистку водных путей потребуется ежегодно тратить миллионы рублей! И мы говорим об этом не в первый раз...

Тут я понял: речь идет о группе Самада Деряева. Вот оно что! Старый спор — но не думал я, что так обострился! Да, а где же сам Самад?

Пробежав глазами по залу, я его не увидел. Может быть, просто не нашел: с того места, где я сидел, видны были только затылки и плечи. А вдруг да в президиу-

ме?.. Нет, в президиуме сидели только трое: Любушин, первый секретарь обкома, я его знал, был у него на беседе, когда уезжал в Кабул, секретарь прекрасно говорил на местном, сурханском диалекте и производил впечатление человека умного, знающего, доброжелательного. Справа от него сидел незнакомый молодой парень, видно, руководитель одного из новых хозяйств, создаваемых на Сайлыке. А слева — Сумбуль-ая... Давно я ее не видел! Она постарела, казалась меньше ростом — может, отсюда, издалека, — но локоны седых волос, выбивавшихся из-под старого берета, все так же резко контрастировали с загорелым лицом. Сидела, не отрывая глаз от каких-то бумаг, перед ней лежавших, и вроде даже не слушала...

— Сайлык недаром называют Сайлыком, товарищи! — говорила между тем Манзура. — Ведь это значит не просто «ложбина», а и «долина горной речки»! Массив возник вокруг одного из древних рукавов Аму. Это известно из истории и подтверждается данными современной науки. Наша изыскательская группа провела длительное и тщательное обследование этой засушливой впадины и установила: несколько столетий назад Амударья сменила в этом месте свое русло и потекла по южным низменностям, после чего рукав Сайлык высох. Я давно занимаюсь проблемами древних русел. Почему река течет по ее сегодняшнему руслу? Я имею в виду вообще реку, товарищи... не Аму, не Днепр — вообще реку... Многие реки за свою древнюю историю перепробовали не одно русло, меняли их в силу разных причин, так что историческое русло реки, может быть, выбрано ею из десятков других! Река, в сущности, выполняет для себя ту же работу, какой занимаемся мы — изыскатели, только делает это на протяжении столетий, тысячелетий... И она, заметьте, выбирает не только маршрут, не только наилегчайшую дорогу к устью — она, так сказать, выверяет гидрогеологию своего ложа! Выверяет долго и тщательно, методом проб и ошибок, течет там, где фильтрация и водопоглощение минимальны. Разве мы не вправе воспользоваться этим древним опытом самих рек, товарищи? Мы рассматривали проблему эксплуатации древних русел со многих сторон и сегодня, мне кажется, осветили ее достаточно полно. На этой основе мы и разработали свой проект орошения массива Сайлык. Мы уверены, что наш проект будет не только самым дешевым — об этом свиде-

тельствует простая арифметика!— но и, что гораздо важнее, самым надежным. Да, здесь водный путь длиннее, но он не потребует бетонных работ и полностью окупит себя за два года...

Умница, Манзура, какая умница! Ведь это тот самый клад, который и я откапывал все последнее время! Выходит, мы шли одной дорогой, рядом, пришли к одному и тому же! Вот она и сработала — теория старых русел...

Манзуру слушали внимательно, в полной тишине, но едва она кончила и пошла со сцены в зал, в зале возникли оживление, шум, несмолкаемый гул голосов. Любушин поднялся, позвонил в колокольчик, но разговоры по-настоящему так и не унялись. Тут я и увидел высокую фигуру Самада Деряева. Он встал с места в одном из передних рядов, его густые черные волосы, как всегда, блестели, словно лакированные. Он просил слова, но стал почему-то говорить с места, обращаясь не к залу, а к президиуму. Большая часть его слов до меня не долетала, просто не слышна была; по правде говоря, я не слишком и прислушивался, я ведь хорошо знал все, что он может сказать. Кажется, большинство присутствующих отнеслось к его выступлению так же, потому что, пока он говорил, разговоры в зале не смолкали. Только когда он сел и поднялась с места Сумбуль-ая, снова водворилась тишина. От нее ждали решающего слова, окончательной оценки...

Но выступление ее прозвучало странно. Начала она с того, что похвалила смелую и пытливую молодежь, а дальше... дальше она практически отвергла предложения обеих групп! «Эти проекты не имеют будущего», — сказала она, и зал затаил дыхание. Сейчас нужно заниматься не орошением отдельных массивов, говорила Сумбуль-ая, а думать о комплексном освоении всей степи, о создании нового оазиса, который будет давать в год миллион тонн хлопка. Остальное — мелкая возня... Только действительно крупномасштабные проекты, согласованные с партийными директивами, поддержанные и включенные в них, могут решить наши проблемы...

Я увидел, как Манзура поднялась со своего места — я заметил раньше, куда она прошла и села, в третьем ряду с краю, — хотела, должно быть, что-то сказать, но так и осталась стоять, в растерянности или недоумении.

Я вскочил с места и пошел по центральному проходу к президиуму, не поднимая руку со словами:

— Разрешите мне!..— Но никто не успел мне еще разрешить, как я выпалил:— Я считаю, что отвергать все предложения неверно! Например, наша гидрогеологическая группа, работающая в Афганистане, готова немедленно применить на практике теорию старых русских, предложенную докладчиком!

На меня оглядывались, Любушин постучал карандашом о стол, призывая к порядку:

— Товарищ... не знаю, как...

— Тохтабаев!— громко подсказала Сумбуль-ая.— Приехал?— сказала она таким тоном, точно говорила не из президиума в зал, а случайно встретила меня на улице.— Зайди! Поговорим!..

Напряжение, возникшее в зале, разрядилось, все заговорили, Любушин объявил перерыв, люди стали подниматься, президиум пошел со сцены. Я хотел было прежде всего найти Манзуру, но ее не было видно, людской поток потащил меня в вестибюль. Там я отошел в сторону, к стене, следя за фланирующей толпой; кто-то здоровался со мной, я машинально кивал, высматривая Манзуру; Самад мелькнул, но мне с ним разговаривать было не о чем, да и не очень-то хотелось; Сумбуль-ая сейчас, конечно, с высоким начальством, к ней не сунешься, не поговоришь. А Манзура, как назло, не появлялась. Нужно было обязательно высказать ей все, что я думаю о ее проекте, о том, как схожи пути, которыми мы шли... И спросить, что значило это неожиданное выступление Сумбуль-ая. Было ли оно и для Манзуры таким же неожиданным?.. Судя по ее реакции в зале — да. И прозвучало как окончательный приговор! Но так ли это в самом деле окончательно? Если так, то ведь и наш с Гуломали проект не ждет ничего иного... И все же не верилось мне в это, ну не верилось. Всегда, и особенно оттуда, издалека, Сумбуль-ая представлялась, вспоминалась мне доброй, как мать... Добрая, верно, но ты же знаешь, сказал я себе, в делах науки, в практических делах, с наукой связанных, она жалости не знает. Да, но здесь-то, применительно к проекту Манзуры, при чем жалость? Проект в ней ничуть не нуждался! Мы, правда, и другое знали за Сумбуль-ая. Придешь к ней, бывало, с какой-нибудь, тебе кажется, важной и новой мыслью, она слушает, кивает... И вдруг, может быть, даже и от твоей мысли от-

толкнувшись, пойдет разворачивать перед тобой такой новый, мощный, широкий подход к делу, к вопросу, что только сидишь да ахаешь. И подумается иногда: что ж тебе самому ничего этого в голову не пришло? Нет, где там... Может, и здесь имела она в виду что-нибудь столь же новое, обширное, что заставит и нас на все иначе посмотреть? Но почему ж тогда и словом не намекнула? Тоже ведь на нее не похоже... Она всегда так внимательно относилась к работам молодых; даже из неудачных работ стремилась извлечь что-то ценное. А тут... Разом, огулом — отмела! Странно... И мне: «Зайди! Поговорим!» Если и со мной разговор будет такой же... Она ведь не ответила на мое письмо... Ну, письмо-то — понятно. Не успела, работы у нее хватает. Значит зовет, чтоб так же ошарашить?.. Выложит — да и предложит что-нибудь свое, запряжет в какую-нибудь упряжку здесь, дома! А что будет с афганскими моими делами? Со всем, что там меня ждет?.. У меня сердце заныло. Я снова огляделся. Манзура не появлялась. Прозвенел звонок, означавший конец перерыва. Помедлил, пока люди входили в зал, я туда тоже заглянул. Манзуры на ее месте не было — пустовало место. Ну, и мне незачем было дальше здесь оставаться. Я ушел.

Неподалеку от обкома — впрочем, все здесь было неподалеку, областной центр невелик, все важные его учреждения находились на одной этой вот улице, утопающей в зелени: филиал института, новый, крытый колхозный рынок, трест «Степстрой», универмаг, гостиница — так вот, на углу, в скверике, стояло стеклянное летнее кафе, и я зашел, выпил под аккомпанемент начинающегося дождика две чашки какао, потом еще посидел за пустым столиком... Впрочем, и все кафе было пусто, если не считать меня и буфетчика. Дождь, кажется, перестал идти — ну, теперь мы пойдем. Я отправился к гостинице — здесь ведь придется задержаться на день-два, это уж минимум. По ступеням высокого подъезда спускалась Манзура.

Я заторопился, но успел подумать: она сама здесь живет? Или была тут у Сумбуль-ая?.. Нет, ведь Сумбуль-ая наверняка еще в обкоме...

— Наконец-то я вас нашел! — сказал я, поднимаясь по лестнице и преграждая ей путь. — Весь перерыв искал... Куда вы пропали?..

Вместо ответа она характерным движением упрямо наклонила голову и спустилась еще на ступеньку.

— Я хотел вам сказать...

— Что?— перебила она резко.— Что вы меня пожалели? Это из вашего импровизированного выступления и так было ясно!.. Но я в подачках не нуждаюсь! Вы поняли? Поняли вы?

— Но, Манзура... какие подачки! Наш собственный проект...

— Знаете, у вас такой вид, словно вы собираетесь смывать какие-то грехи. Так вот еще, чтоб все было ясно: я вас ни в чем не обвиняю... И будьте здоровы!

Она стремительно обошла меня на лестнице, спустилась и, быстро стуча каблучками, пошла прочь.

Обескураженный, словно напрочь уничтоженный всеми оплеухами этого дня, я поднялся по лестнице, вошел в гостиничный вестибюль. Вообще-то в таком, как у меня, настроении просить места у нас в гостиницах — дохлый номер. К стойке администратора надо подходить либо с видом кавалерийского командира, начинающего атаку, либо с победительной улыбкой космонавта, пять минут назад спустившегося на землю. Только это, если не считать брони, и может обеспечить вам койку или комнату. Но брони у меня не было. Не запасся сдуру, хотя мог бы. И все же мне повезло. Видно, выручило то, что паспорт у меня был еще заграничный: не успел обменять, когда приехал; впрочем, я ведь собирался вскоре ехать обратно. Увидев этот паспорт, девушка-администратор угодливо на меня взглянула, попросила заполнить квиточек... и пять минут спустя я уже был в отдельном номере на втором этаже. Тут только я сообразил, что не спросил о Сумбуль-ая. Я спустился, спросил. Да, Сумбуль-ая жила здесь же. Мало того — была у себя. Давно? Да, порядочно.

Значит, она тоже не осталась на вторую часть совещания? Выходит, так. И еще... выходит, это у нее Манзура побывала здесь, в гостинице?..

Сумбуль-ая встретила меня в мягком домашнем халате и цветастом платке. Загорелое лицо ее покраснело — она только что вышла из ванной. Она попросила прощения за свой вид; в ней, казалось, не остается и следа усталости. Она стала поить меня чаем, а за чаем — расспрашивать о моей жизни «на том берегу».

Впрочем, она знала об Афганистане, пожалуй, больше моего, бывала там не раз. Ее интересовало, видимо, что там сейчас происходит, и я принялся рассказывать ей все, что знал, ничего не утаивая, рассказал и об аресте Гуломали... Она сочувственно, с грустным видом качала головой, подливала мне чаю. Казалось, передо мной настоящая «ая», простая старая женщина, которая потчует гостя и выслушивает его байки да излияния. Но так и весь разговор может ни к чему свестись, подумалось мне, надо как-то его повернуть...

— Кажется, у вас Манзура побывала?— сказал я.

— Побывала...

Ну же, думал я, теперь говори, сворачивай на проект, вот ведь главное... Но вид у Сумбуль-ая сделался совсем уж не деловой — задумчивый, грустный.

— Эх,— сказала она,— вы, молодые, полагаете: у стариков на все ответ заготовлен. Не-ет... Человек до старости стоит перед проблемами. И подчас совершенно неразрешимыми... В сущности, самая неразрешимая проблема ждет его в самом конце!.. Но молодые нетерпеливы: туда кидаются, сюда... Сколько я уж с ними имею дело — дала себе зарок: не вмешиваться в их сердечные дела. Да... Но в этот раз — не выдержала. Сказать откровенно, больно мне стало за Манзуру — такая умная, способная, чистая, такая красивая... Что у вас стряслось, Сабирджан?

Я вдруг разозлился. Сумбуль-ая была сегодня и впрямь на себя не похожа. Дала зарок?— говорил я ей мысленно. Ну и надо было держаться! Манзуру пожалела... А когда рубила проект — не пожалела?.. Таким это выглядело ханжеством, не свойственным старой моей руководительнице!.. Но чем яростней бушевали слова у меня внутри, тем растеряней, бестолковой выходили они наружу. Давнее почтение к Сумбуль-ая коверкало их, отсекало, сковывало меня, как панцирь.

— Сумбуль-ая,— пробормотал я,— об этом трудно... и не стоит... тут не это главное... тут многое надо учесть... Самад Деряев...

— Да вы и впрямь свихнулись на этом Самаде Деряеве!— воскликнула она, и я уловил знакомую, недавно слышанную интонацию.— Знаете, на мой взгляд, Манзура совершенно правильную ему дает оценку: парень он способный, настойчивый... достойный по-своему... но не может защитить ни свой проект, ни самого

себя!..—«Проект-то уж понятно почему»,— хотел я вставить, но сдержался.— И у Манзуры... у Манзуры просто душа к нему не лежит.

Такого «семейного» новорота в разговоре с Сумбуль-ая я никак не ожидал. Неловко мне было с ней об этом беседовать — да ведь и ее, кажется, эти темы никогда не интересовали — неловко было соглашаться, неловко возражать... Она ненадолго замолкла и вдруг сказала после паузы, словно на что-то решаясь:

— Я вам скажу, Сабирджан, от души скажу... рискованно это — влюбляться в чужой стране... И свою жизнь ломать, и другие жизни... Но в юности этого не понимаешь...— У меня даже защемило внутри от этих слов, и я глядел на нее во все глаза, пытаюсь понять, знает она что-нибудь конкретно — хотя откуда, откуда?— или говорит наобум, основываясь лишь на предположениях Манзуры, ведь ясно — разговор у них был начистоту. Но Сумбуль-ая на меня и не смотрела, она словно и не со мной говорила — сама с собой.— Нет, не понимаешь в юности... Не дано это молодым... Горит костер, горит ярим пламенем, только топлива требуется...— Тут она наконец подняла на меня глаза.— Конечно, теперь времена другие, расстояния сократились, дороги иные у людей...— Я промолчал, и она добавила, вздохнув:— Ладно... Судьей я тут, конечно, быть не могу. Тем паче — следствие вести...

Почему-то только теперь мое раздражение вдруг оформилось и прорвалось:

— Значит, вот о чем вы с Манзурой беседовали!— Я и сам услышал, каким дерзким упреком это прозвучало.

Сумбуль-ая посмотрела на меня внимательно.

— Не только об этом,— подчеркнув слово «только», сказала она сухо и тоном, уже не допускающим возвращения к этой теме.

Что ж, мне оставалось лишь подчиниться. Тем более что для меня главная тема беседы была все еще впереди. Правда, надежд на добрый исход, я понимал, не было. Если уж проект Манзуры зарублен...

— Я получила ваше письмо, Сабирджан,— сказала Сумбуль-ая другим, спокойно-деловым тоном.— Прочла очень внимательно и обдумала...

«Сейчас... сейчас меч упадет»,— лихорадочно думал я.

— И вот что: обязательно, и как можно скорее, покажите мне материалы вашей группы, я должна с ними ознакомиться...

И я вдруг заметил, что глаза ее заблестели.

— Конечно, Сумбуль-ая...— пробормотал я, лихорадочно соображая, что это может значить. Не для того же она их требует, наши материалы, да еще требует с таким блеском в глазах, чтоб их раздолбать, дискредитировать... Но тогда... тогда как это согласуется с оценкой проекта Манзуры? Ничего я не понимал, у меня голова пошла кругом.

— Когда ж вы их принесете?— сказала она.— Имейте в виду: я вылетаю завтра первым рейсом!

— Они у меня дома, в совхозе... Сейчас же поеду и привезу их вам на рассвете, прямо в аэропорт!..

— Ну и хорошо... и молодец...

Я поднялся, она тоже. Подошла ко мне, обняла за плечи. Потом наклонила к себе мою голову и тихо, матерински, поцеловала в лоб.

Утром в аэропорту я отдал Сумбуль-ая материалы, помахал ей, поднимающейся по трапу, поглядел, как взлетает ее самолет,— и с этого момента мое состояние бездеятельной неопределенности кончилось. Напротив, меня одолела лихорадка работы. Наступила поздняя осень, на инее пустынных перепаханных полей чернели по утрам иероглифы вороньих следов, густые шапки тополиных аллей вдоль дорог осыпались, время не шло — бежало. Я остался в области, неделю консультировался со специалистами «Союзвзрывпрома», потом недели три с утра до ночи сидел в библиотеке филиала, прочесывал литературу, проштудировал диссертацию Манзуры, заказал с нее ксерокопию; потом ездил по новым ирригационным объектам... Наконец вернулся домой, в совхоз, снова занялся нашими расчетами. Но выяснилось вдруг, что дел и работы здесь у меня куда меньше, чем казалось. Скоро со всем будет покончено, а ответа из министерства до сих пор нет, от Сумбуль-ая — тоже. Но ведь мне — будь на дворе зима, или жаркое лето, или осенняя слякоть — необходимо было вернуться на свою трассу, на свой объект, что бы там ни было, как бы ни шло. Моя работа, моя жизнь — все грозило остановиться на полдороге!

Лихорадочное беспокойство не оставляло меня и по ночам, я разгуливал по холодным ночным проселкам, одолеваемый тревогой и надеждами, планами и воспо-

минаниями. Домашние, конечно, озабочены моим состоянием, подчеркнутой моей нелюдимостью, но проявляют деликатность, не навязывают своих забот, стараются не выказывать беспокойства, только взгляды их я изредка ловлю — внимательные, печальные, тоскливые, недоумевающие. В одну из вечерних прогулок напрашивается со мною Лола, сперва молчит, поглядывая, прислушивается к моим мыслям, а потом, не в силах больше сдерживать себя, начинает щебетать, болтать, рассказывать... Об олимпиаде юных математиков, на которую надеется попасть... о комсомольской путевке, которая ей обещана... Я слушаю, киваю, односложно поддерживаю видимость разговора, а сам смотрю искоса — и вспоминаю Зулейхо. Она ведь всего на три года старше Лолы — но как же не похожа ее жизнь на эту, сколько там мучительных забот, страхов — и какая безысходность, беззащитность! «Поцелуйте землю моих отцов и дедов!» — с горькой улыбкой сказала она в последнюю встречу. Я и забыл, а она ведь всерьез просила, не ради красного словца...

Я нагибаюсь, поднимаю ком земли. Он рассыпается в моей ладони, как горсть хлебных крошек. Подношу землю к лицу, прикасаюсь губами, вдыхаю запах этой родной почвы. Лола смотрит на меня с удивлением, но не объяснять же ей, да и мысль ее скачет, не останавливается надолго на чем-то одном.

— А в Афганистане земля так же пахнет?.. — спрашивает она.

— Да... — говорю я ей и на мгновение задумываюсь. — Да, — повторяю я, — и земля там, и вода, и воздух — почти как у нас!

— Почти!.. — говорит Лола. — А правда, что там тоже завелись басмачи? Я в газете читала...

— Раз в газете — значит, правда... Завелись, завелись — как и у нас в свое время...

— И я подумала: как у нас! И конец у них такой же будет как у нас! И будущее такое же — правда?

— Правда, — говорю я. — Почему бы нет!

Поскольку со мной Лола, с прогулки я возвращаюсь на этот раз рано. Ночью мне снится Зулейхо. Только она уже взрослая женщина. Сверкая своими огромными глазами, она сидит рядом с Сумбуль-ая на берегу Аму.

— Вы разве знакомы? — спрашиваю я удивленно. Они обе смотрят на меня.

— А ты и не знал?— говорит Сумбуль-ая.

И я думаю: в самом деле, я же знал об этом! И снова смотрю на них — да ведь они похожи! Как странно, а я прежде не замечал... Хотя что в них похожего?.. И тут сон мой расплывается, растекается, как пена на воде, и я просыпаюсь. На краю супы сидит мама в своем белом халате, и, как всегда, от нее исходит запах свежеспеченного хлеба.

— Ты же сегодня в Ташкент собирался, сынок... Вставай, завтрак готов...

Она ждет, пока я умоюсь, побреюсь, оденусь, сяду за стол, поем. И молчит. Когда я кончаю есть, она спрашивает тихонько:

— Опять, сынок, собираешься нас покинуть?..

— Ну что вы, мама, что значит «покинуть»? Если и поеду снова — это ж совсем близко, на другом берегу реки...

На аэродроме было серо, хотя день уже давно наступил. Небо затянуло облаками, в низинах клубился туман. Я думал, рейс задержат по метеоусловиям, но повезло — полетели. А в Ташкенте ясно было, и легкий морозный дух веял над усеянными опавшей листвой проспектами. В Президиуме Академии наук меня провели в приемную, сказали: ждите, Сумбуль Садриевна на совещании... Но не прошло и пяти минут, как она вышла ко мне — легким пружинистым шагом, подтянутая, сухощавая, в неизменном берете — ничуть не похожая на седенькую «ая» тогда в гостинице.

— Почему ж не приезжал раньше!— сказала она вместо приветствия.— Тебе уже давно уехать пора!..

— Но я не знал!

— Как не знал! Я чуть не месяц назад звонила в министерство! Все сказала! Тебя разве не вызвали?

— Нет!..

— Ах, безобразие... Безобразие! Ладно, разберемся. Тебе надо ехать немедленно. Немедленно! Медлить — просто преступление. Понимаешь?.. Пошли в кабинет!

В кабинете она села за стол, вытащила из ящика мои папки.

— Ты сам-то понимаешь, что вы наработали?— спросила она.

Я неопределенно мотнул головой. Я боялся расценить это так, как мне хотелось, но, кажется, так все и было. Внутри у меня что-то запело тихонечко.

— Жаль, что постарела я, сынок... — сказала Сумбуль-ая. — А то бы поехала с тобою... Ей-богу, поехала бы! Счастливый ты парень. Такой случай, такое открытие, такая удача раз в жизни бывает!

— Но, Сумбуль-ая...

Она меня словно не услышала.

— Неужели из министерства тебе так-таки ничего и не сообщили?..

— Ничего, Сумбуль-ая... Но, может... какие-нибудь препятствия? Неблагоприятная обстановка...

— Препятствия! Какие препятствия? Никаких препятствий! — Она хлопнула ладонью по столу. — Война, революция, землетрясения — ничто не должно этому помешать!

Она раскрыла одну из моих папок, полистала, явно стараясь успокоиться, вытащила из груды таблиц и схем топографическую карту и расстелила на столе.

— Ты знаешь, — сказала она, — что об этих реках, бравших воду с ледников Кухинав, писали еще историки кушанского царства? Да, да... Кстати, их часто именовали анхорами — каналами! Вряд ли мы теперь узнаем, какие катаклизмы происходили с теми молодыми горами, но факт, что ледники иссякли, ну и реки — анхоры — высохли... Да, сынок, даже ледникам приходит конец, хоть их и называют «вечными»... Я постараюсь с помощью наших космонавтов добыть для вас достоверные сведения о системе этих древних русел. Мы ведь недавно получили от них доказательства, что в прошлом Аму протекала через пески Красноводска, можешь себе представить? Ну да ладно, сейчас о твоём проекте... Я тебя еще раз поздравляю, сынок. Обводнение древних русел Чорданахра, возврат их к жизни будет просто чудом! История гидрогеологии такого еще не знала... И притом самое дешевое в мире гидросооружение! Нет, нет, это дело не терпит отлагательства. И ведь я подробно ознакомила министерство со своими соображениями! Что ж они там — совсем обюрократились?..

— Вот пойду в министерство — узнаю...

— Ты-то, конечно, пойдешь. Но я и сама скажу им пару теплых слов!.. Ты должен вернуться на свой

объект — и в ближайшие по приезду дни завершить работу группы. Чтобы приступить к работе с проектировщиками!

— К сожалению, Сумбуль-ая, группы сейчас, я думаю, не существует, распалась... ведь я вам рассказывал...

— Да, да... распалась... Ну что ж, пусть создают новую!

— Если это возможно... мы ведь не знаем, что там сейчас творится...

— Ну, ну! Не помню, чтоб ты раньше проявлял пессимизм! А уж в таком деле... Ведь ехать-то надо, или как ты полагаешь?

— Конечно надо. Ехать надо во что бы то ни стало!..

— Ну вот! Ну вот! Это — интонация правильная... Собирайся, Сабирджан, торопись!

И тут я понял: не могу я не спросить о том, что меня все время молчаливо грызло. Почему, если она так меня превозносит, почему, почему отвергла она проект Манзуры?.. Ведь принцип-то у нас — один!..

Я набрался храбрости и спросил.

Сумбуль-ая потемнела лицом, помолчала.

— Эх, сынок...— сказала она наконец.— Это — другое дело... об этом... потом...

Дождливым утром в день моего отъезда Лола, уходя в школу, попрощалась со мной — и даже расплакалась: не пойти в школу, чтоб проводить меня, ей родители не разрешили. Но уже через час, запыхавшись, вся раскрасневшаяся, она снова появилась в калитке: с широко раскрытыми глазами, разбрызгивая грязь, подбежала ко мне, отбросив капюшон, кинулась на шею — и горячо, обжигающе зашептала в ухо. Слова ее я скорее угадал, чем услышал.

— Где?..— переспросил я.

— Вай...— Она еще шире распахнула глаза, словно говоря: «Неужели сами не знаете?»— и, еще пуще раскрасневшись, если это только было возможно, умчалась обратно в школу, забыв закрыть за собой калитку.

Я, конечно, догадался где. Весточка ее меня разволновала.

До того я сидел, глядя, как дождь поливает и без того размокшую землю во дворе, видел краем глаза, как мать колдует над моими рюкзаком и чемоданом.

Теперь же торопливо натянул сапоги, взял с вешалки плащ, буркнул матери: «Я скоро» — и пошел к задней калитке двора. Оттуда знакомая тропинка вела к заветным валунам на берегу.

Дождь, пока я шел, утих, но песок на берегу наглотался воды до отказа, любой след тотчас превращался в лужицу. Безрадостно чернел мокрый кустарник. Ее я увидел еще издали, как бывало и прежде когда-то. Она стояла у нашего валуна с непокрытой головой, держа в руках закрытый зонтик. Заметив меня, она как-то встрепенулась, выпрямилась.

— Доброе утро, Манзура...

— Доброе утро, Сабир... Пожалуйста, не обращайтесь внимания на мой вид. Не выспалась. Ночной рейс задержали, полночи в аэропорту провела... потом летела, потом сюда ехала! Хорошо, что застала вас, думала — опоздаю. Вчера мне позвонила Сумбуль-ая...

— Сумбуль-ая?!

— Да...

— Что-нибудь случилось?..

— Нет, ничего не случилось.

Я едва удержался от следующего вопроса, который был уже на языке. Но Манзура угадала его в наступившей паузе.

— Ничего не случилось, — повторила она с какой-то неумелой улыбкой на посиневших от холода губах. Должно быть, здорово продрогла. — Просто... приехала...

И в этом «просто... приехала» была такая неожиданная в теперешней Манзуре беспомощность, незащищенность, такая неуверенная нежность, точно она протягивала мне для рукопожатия руку, не зная, протяну ли в ответ свою. У меня защемило сердце от жалости.

— Манзура, вы же продрогли насквозь, промерзли!.. Пошли к нам домой.

— Нет, нет!.. — Она энергично затрясла головой. — Нет... я пришла... приехала... попрощаться. Сумбуль-ая сказала — вы уезжаете. И, конечно, надолго... А к холоду... — она улыбнулась краешком губ, как бы слегка подчеркивая это «к холоду», — к холоду я уже привыкла. — Полуулыбка ее исчезла, лицо стало серьезным. — А если по правде — я приехала попросить у вас прощения за свои необдуманые слова.

Я молча снял плащ, набросил на нее, обнял ее за плечи. И она робко ко мне прижалась, только дрожала вся. Странно это, чертовски странно, как все может измениться в людях и в жизни. Мы стояли, как едва знакомые, а ведь здесь, у этого самого валуна, мы когда-то обнимались куда горячеей...

— Скоро туман рассеется, солнышко выглянет,— сказала она тихонько, как бы полусонным голосом, но мне опять почудился в ее словах второй смысл. Это — от твоей нечистой совести, сказал я себе. Может, никакого второго смысла в ее словах и нет, просто говорит что думает. Манзура, кажется, согрелась немного, перестала дрожать. Запах ее мокрых волос был такой близкий, такой знакомый...

— Не надо у меня просить прощения, Манзура. Это я перед вами виноват.

— Да нет, не виноваты,— сказала она тем же как бы полусонным, ласковым, спокойным голосом. Ничего, значит, не почувствовала.— Знаете,— продолжила она,— когда ая позвонила и сообщила... меня охватила такая тревога! Ведь что там сейчас творится... и не угадаешь. Вы должны дать мне слово беречь себя! Это — во-первых...

— А во-вторых?

— И во-вторых и в-третьих — беречь себя! Обещаете?

— Да,— сказал я. Я вдруг понял, что так дальше нельзя. Это было уже не умолчание. Это пошел обыкновенный обман. До сих пор я еще себя обманывал — будто просто стараюсь щадить ее чувства. Теперь обманывал ее: она ведь явно поверила, что все по-прежнему...

И, отпустив ее плечи, отодвинувшись на шаг, я все рассказал ей о Зулейхо.

Она стояла неподвижно, как изваяние.

Я кончил говорить, она все так же стояла.

«Что же дальше будет?» — думал я со страхом, почти с отчаянием. Туман рассеялся, но Манзура ошиблась — солнца и в помине не было, небо сплошь затянуто низкими, серыми, темнеющими тучами, тянуло холодом, обещавшим снег.

Манзура шевельнулась. «Сейчас плащ отдаст», — подумал я с тоской. Нет, не отдала, напротив, закуталась плотнее. И вдруг заговорила, голос был изменившийся, глуховатый.

— Сабирджан-ака... я ведь чувствовала, знала это... Знала. В тот день в гостинице я так Сумбуль-ая и сказала. А она мне: «Ты что, поставила ему условие не разговаривать с красивыми девушками?» Нет, говорю, не ставила. Ну и очнись, говорит. Такие условия и нельзя ставить... Какой парень на красивых девушек не заглядывается? Да... вот так. На красивых... тем более... — голос ее дрогнул, — на таких, как Зулейхо... которую вы считаете «символом красоты»... Ну, что я могу сказать? Я ведь и впрямь никаких условий никогда не ставила, правда?.. Но расставаться нам так... в таком настроении... было бы неладно. Нельзя. А теперь все в порядке... Поговорили.

И она вдруг просто, доверчиво прижалась ко мне. Мне показалось, что посветлело. Может, солнце все-таки где-то пробивается?.. Нет, не видно пока. Я сжал ладонями мокрые щеки Манзуры и притянул к себе ее лицо. С ее щек и висков стекали капельки дождя, мокрые волосы прилипли ко лбу; и вдруг мне показалось: в этом милом лице сосредоточено все самое дорогое, что я оставляю на родине. А она подняла руку и стряхнула смуглым пальцем дождинку с моих ресниц.

В посольстве о приезде Тохтабаева, конечно, знали, но особого внимания появление его не привлекло. Все тут были чем-то заняты, озабочены, большинство сотрудников — новые, но и прежние, показалось Сабиру, заметно переменились. Или, может быть, обстановка переменилась — ну разумеется, разумеется! Чувствовалось, что все напряжены до отказа, словно в лихорадочном ожидании каких-то вот-вот могущих грянуть и, однако, решительно непредсказуемых событий. Это напряжение чувствовалось уже в самом воздухе посольства, смешанном с сигаретным дымом и запахом кофе. На Сабира поглядывали мельком, и он читал в этих взглядах: «Тебе-то что здесь надо в такое время?» В самом деле, ежели подумать: что здесь делать какому-то гидрогеологу, одержимому идеей древних русел, когда сегодняшняя судьба страны повисла на волоске? До новых ли каналов сейчас афганскому дехканину, если его семья, род, племя раскалываются надвое, если решается вопрос самой жизни и смерти, а сам он, едва успев собрать ячмень с полей, спрятался и боится высунуть нос из дому?..

Настроение Сабира несколько подняла поначалу только встреча с советником по экономическим вопросам. Этот пожилой человек, шутливо называвший Сабира не иначе как «мирабом», приезде его, казалось, искренне обрадовался и сказал, что его здесь давно ждут.

— Ну?— сказал он, попросив принести им кофе и возвращаясь на свое место за маленьким столиком, за который усадил и Сабира.— Выше голову, мираб! А то, я гляжу, вы тут у нас несколько приуныли... Да!— Он вспомнил что-то.— Ваш друг... как его зовут?.. замучил нас телефонными звонками. Звонит чуть не каждый божий день: «Не приехал ли? Когда приедет?»

— Кто это?..

— Ну, да тот же... который еще так отчаянно кашляет... Худющий такой... видно, очень болен.

— Да нет у меня ни друга такого, ни знакомого!

— Ну как же, помилуйте... работали вы с ним...

— Работал?.. Но как его зовут?

— Как-то... сейчас... то ли Заргар...

— Коргар?!

— Вот-вот! Коргар!

— Гуломали Коргар! Так он жив? Жив?!

— Жив, жив! Не с того же света он нам звонит!

— Но позвольте... вы говорите, он все время кашляет... худющий... Он же был здоровенный крепыш!

Советник в полушутливом извинительном жесте развел руками:

— Ни в чем не повинен! Я его уже только таким знаю...

— Нет, понимаете...— сказал Сабир.— Как-то это странно... может, кто-то выдает себя за него? Время такое... Гуломали Коргар был здоров как бык!

Лицо советника сразу сделалось серьезным.

— Пойдите, пойдите, мираб,— сказал он.— Дайте по порядку разберемся... Если он был здоров как бык, почему вы так удивились, что он жив?

— Просто, когда я уезжал, он... он исчез.

Советник посмотрел внимательно.

— М-м-м...— сказал он.— Понятно...— Хотя ясно было, что ему пока ничего не понятно.— А когда вы видели его в последний раз?

— Я же говорю — незадолго до моего отъезда...

Советник снова посмотрел так же внимательно, но допытываться не стал.

— Где же он сейчас? Не оставил адреса?— спросил Сабир.

— Почему — оставил!.. Он в госпитале. Должен, по крайней мере, быть в госпитале. На лечении. Знаете сквер Зарнигар? За ним на повороте белое здание госпиталя. Оттуда, по его словам, он мне каждый день и звонил...

— Тогда...— сказал Сабир.— Вы меня извините... Я прежде всего пойду его поищу... Это жизненно важно для всей нашей с ним работы...

— Пожалуйста!— Советник великодушно улыбнулся.

— А к вам...

— А к нам — в любое время, прошу вас! Буду ждать... Вы меня этой историей очень заинтересовали. Не забудете зайти?

— Нет, что вы!..

В госпитале, однако, Сабиру сказали, что Гуломали Коргар у них не числится. Что же это все может значить? Что с Гуломали? И... и с материалами! В такой круговерти они вполне могли попасть в руки какого-нибудь афериста вроде господина Лала... Нет, надо попытаться выяснить! Он снова пошел к администратору госпиталя и узнал, в конце концов, что Гуломали Коргар в госпитале все-таки находился некоторое время... А теперь?— спросил Сабир. А теперь его, по его требованию, выписали, и он лечится амбулаторно. Нашли даже его адрес, записали, Сабир с опаской перечел бумажку и отправился искать махаллю Шахидо.

Лил холодный дождь, тротуары были затоплены грязью, стекающей с развалин. В небе кружил патрульный вертолет. Полдень, а на улице почти нет прохожих, дуканы закрыты, на стенах, вперемешку с трещинами, следы пуль... Только на берегу мутной реки Кабул, на побелевших камнях, разложили свое белье трудолюбивые прачки и ждут, когда выглянет солнце.

Пока добирался до махалли Шахидо, Сабир промок до нитки и с трудом волочил облепленные грязью сапоги. К махалле с одной стороны примыкало кладбище, так что жилье тут, очевидно, было дешевое. Нужный дом оказался плоской глинобитной кибиткой. Кто-то подал голос со двора, Сабир открыл калитку, вошел, но никого не увидел. Дом с единственным окном тоже казался темен и пуст. Сабир распахнул дверь. У задней стены лежал на полу матрас, в беспорядке валялись

одежда, сапоги, овчина, книги, бумаги какие-то. Рядом с дверью на старом полуразбитом сундуке стоял примус. Форточка, однако, была раскрыта, воздух свежий.

Сабир огляделся раз, другой и хотел уже уходить, как вдруг в задней стене открылась еще одна, не замеченная им дверь. Вошел человек, он и Сабир долго всматривались друг в друга в полутьме. Господи, да неужели... Это был Гуломали, но неузнаваемо переменявшийся! Худой как щепка, и половины от него не осталось, глаза ввалились, кости торчат...

— Гулом!..

— Сабирджан!

Сабиру страшно было сжать в объятиях худое, съжившееся тело друга — таким оно казалось хрупким. Но Гуломали, обрадованный, прямо-таки ослеславленный его появлением, держался бодро, потащил гостя в соседнюю комнату, что обнаружилась за внутренней дверью. Там было прибранней, опрятней, стоял на столике горячий чайник. Гуломали зажег лампу, но в ее свете только резче бросались в глаза его выпирающие скулы с нездоровым румянцем, поредевшие волосы с проседью.

— Как же твое здоровье? Я ведь тебя через госпиталь нашел!..

— Я так и рассчитывал! Только уж не надеялся... Господи боже мой, какое счастье, что ты приехал, Сабир! Твой приезд все решает... — Он торопливо поставил на стол сахар в коробке, положил кусок лепешки, налил чай в пиалы. Руки у него дрожали. — Как я тебя ждал, ты не представляешь... Дома у тебя, на родине — как? Все живы-здоровы?

— Все в порядке, Гулом... Я привез с собой научные обоснования, рекомендации «Взрывпрома»... и благословение Сумбуль-ая!

— Молодец, ой молодец какой! Сабир, дружиссе... — Он закашлялся, но сравнительно быстро подавил кашель. — А у нас... ох... у нас делом теперь занимается само правительство! Проектировщики приступили к работе, им специально подвал оборудовали; консультируют два индуса, министерство готово проект с руками оторвать... Да, есть уже директива насчет обеспечения нас строительно-техническим оборудованием, выделения средств... Все есть — только людей не хватает! За всех, за всем приходится бегать самому! —

Он снова закашлялся, на этот раз надолго, надрывно, и Сабир смотрел на него со все растущей тревогой.

— Я сейчас...— невнятно пробормотал Гуломали, выскочил из комнаты, вернулся через несколько секунд, все еще докашливая и пытаясь отдышаться.

— Ф-фу...— сказал он.— Допек меня этот кашель... Ладно, пей чай, а то остынет!— И сам взял пиалу и стал отхлебывать помалу.

— Гулом! Почему ты из госпиталя выписался, скажи? Ведь ты всерьез болен! Почему не лечишься?

— Во-первых, лечусь... Ты не думай, вот уж чего мне не хочется, так это умереть — теперь, когда так продвинулось наше дело! Но, понимаешь ли... Партийные товарищи нам рекомендуют жить по возможности в укромных местах. Кабул — все-таки большой город! Душманы, знаешь ли, буквально рыщут по нашим следам. Чтобы уничтожить разом возможно больше наших, взрывают или пытаются взорвать все крупные здания подряд!.. А в больнице, сам понимаешь, старики, дети, инвалиды... Из-за меня одного могут пострадать многие... А что до лечения — так я регулярно хожу в госпиталь.

— Ну да, там же есть телефон, и можно обговорить все дела, не так ли...

Они оба невесело рассмеялись.

— Где ты подцепил эту болячку?— сказал Сабир.— Такой был здоровый мужик!

— Так нас же гнали пешком триста километров! Днем и ночью! Через воду, через лес! Намокнем — выдохнуть не давали, падаем, умираем от жажды — пить не позволяли... Никто, главное, не говорил, куда нас гонят. Потом, правда, сказали: под пули душманов сперва должны подставить грудь парчамисты. Ну, думаю, это еще ничего, пусть, коли так... Оказалось — вранье. Говорили, просто чтоб посмеяться над нами. Тогда-то, в этой дороге, я и простудил легкие. А добил их уже в тюрьме... Как добрались мы до тюрьмы Пули-Чархи, бросили меня в сырой бетонный колодец и два часа обливали ледяной водой!.. Слышал небось о Пули-Чархи? Нет?.. Ее гитлеровцы в свое время в подарок нашему шаху построили... Самая страшная тюрьма на свете. За все время мы — первые попавшие туда, которые вышли назад живыми! Воспаление легких, которое...— Тут он снова зашелся в отчаянном приступе кашля, сотрясаясь всем телом, пытаясь выругаться

в адрес своего кашля или прижимая ко рту мятый платок. Посиневшее лицо покрылось крупными каплями пота. И вдруг Сабир заметил на платке пятнышко крови...— Воспаление-то легких, которое я тогда подхватил, давно ведь прошло, понимаешь ли!— сказал он, отдышавшись.— А это... это совсем другое... вот здесь...

— Что?

— Да ударили меня! Вот и не проходит... Ладно. Главное — руки-ноги целы, голова на месте. Никто из нас не думал выбраться из Пули-Чархи, а раз выбрался... остальное — чепуха!

«Бедняга!— думал Сабир, изнывая от мучительной жалости, которую не смел показать Гуломали.— Пока я отлеживался, или работал, или гулял дома — он мучился в Пули-Чархи, зарабатывал чахотку... Его нужно в хорошую больницу, немедленно, и лечить, лечить... Но ведь не пойдет! Ни за что не пойдет!»

— Все это не такая чепуха, как ты думаешь. Тебе нужно серьезно лечиться, Гуломали! Очень серьезно!

— Да брось, еще будет время об этом потолковать.

— Упрям же ты!.. Кстати об упрямцах — как твой дед, Садык Сардор?

— Жив, что еще скажешь... Жив, слава богу! Но сильно сдал. И один ведь. Все зовет меня к себе, но ты же знаешь, не могу я здесь все бросить... Да! Ты ж еще не видел, наверное!— Он взял сложенную газету, лежавшую в углу поверх груды бумаг и брошюр, и протянул Сабиру.— Посмотри!..

Газета называлась «Инкилоби Савр»—«Апрельская революция». На третьей странице были опубликованы записки доктора Сухайля. Похоже, полностью. В центре полосы поместили фотографию. Сабир подошел к свету, чтобы разглядеть. На фотографии были сняты члены группы «Большой Аму». Посредине с высокомерной улыбкой на устах стоял господин Лал Махдий, слева — грустный доктор Сухайль. Он смотрел в объектив как бы с мольбой, будто пытаясь взглядом передать нечто, чего не мог сказать вслух...

— Ты же отдал это в «Кабул таймс»?..

— Да, но они так и не напечатали. Когда я вернулся в Кабул, потребовал материал обратно...

— Прекрасно получилось! По крайней мере одно важное дело ты уже довел до конца... Спасти от клеветы имя такого человека, как доктор Сухайль,— это святая обязанность...

— Сардору будет приятно.

— А он что, еще не знает?..

— Думаю, нет. С тех пор как вышел этот номер, я у него не был, а сама газета вряд ли дошла до Мазари-Шерифа. Тираж пока маленький...

— Интересно, видел ли это Ауранг?

— Знать не знаю. Хотя с удовольствием сунул бы ему в прыщавую рожу — пусть прочтет, поразмыслит своими куриными мозгами!.. Но где его найдешь? Военный лицей закрыли, большинство курсантов, во главе со своими подлыми офицерами, подалось к душманам... Небось и этот Ауранг — тоже... Он всегда держался сильных.

— А у дяди Шокалона... что там делается? В кишлаке?..

— Да, да, понимаю... тебя Зулейхо интересует...

— Да! Так что там?.. Что молчишь? Что-нибудь...

— Нет, нет... Просто ничего не могу ответить толком. Я туда ездил. Усадьба пуста, нигде никого. Соседи, которые уцелели — ведь резня там еще при тебе была? — так соседи ничего не говорят... Или не знают, или боятся рот раскрыть. Где все, что с ними — боюсь, никто пока не ответит. Думаю, где-нибудь в горах... с душманами... если не еще подальше...

— Где подальше?..

— Могли и за границу податься... Хотя нет — не думаю. Дядя слишком далеко от своей дорогой земли не уйдет... Хоть она уже и не его.

Пока они разговаривали, за окном смеркалось, темно, в форточку вдруг ворвался порыв сырого вечернего ветра, и Гуломали опять закашлялся. Сабир встал, прикрыл форточку, стоял, глядел на друга, не зная, чем помочь.

— Ну и ну... — сказал Гуломали, отдышавшись. — И выворачивает же меня! Я тебе, кстати, забыл сказать самое важное: я ведь завтра еду в эти края!

— Ты? Едешь? В таком состоянии?!..

— Состояние как состояние. Не преувеличивай. Что здесь кашлять, что там.

— С кем же ты едешь?..

— Есть у меня один парень, отличный шофер.

— И что — это обязательно, ехать вот сейчас?

— Вот так обязательно! — Гуломали провел ребром ладони по горлу, обозначая верхний предел необходимости. — Понимаешь — прибывает сельскохозяйствен-

ная техника и землеройные машины... в основном от вас, из Советского Союза. Завтра должен отправиться в путь караван со взрывными устройствами, гидромониторами, грейдерами, экскаваторами... И пройдет он как раз близ кишлака Пайки!.. Тут решили — чтоб не таскать взад-вперед, кругным путем, через столицу... часть, нам необходимую, оставить прямо в дороге. Разместить поближе к объекту.

— Ну что ж, разумно, но... Слушай, я с тобой поеду!

— Не-ет!

— Гулом, кто здесь лучше меня знает наши машины? Сам подумай? Их надо проверять, опробовать...

— Это, конечно, все верно, и прекрасно, но мы сейчас этого себе позволить не можем. Я ж тебе сказал: людей катастрофически не хватает! А у тебя тут важнейшее дело, слава богу, что приехал: проектировщиков одних оставлять нельзя, будешь с ними, тем более что ты привез поправки, уточнения... При тебе они и быстрее, и верней все завершат.

— И все-таки — как ты поедешь? По такой погоде... в дороге... Здесь, по крайней мере, госпиталь поблизости!

— Ладно, ладно, ты что-то сильно разговорился... Пора ложиться! Завтра вставать чуть свет... Ведь ты, надеюсь, у меня останешься?.. Ну вот...

Гуломали пошел в соседнюю комнату, притащил матрас, потом одеяла.

Они кое-как устроились, легли. И продолжали разговаривать.

— Слушай, спать же пора! — сказал наконец Гуломали. — На рассвете Булбулшо пожалует!

— Ка-ак?.. Булбулшо?.. Тот самый наш толстый геодезист?

— Он самый.

— Так ты еще и на мотоцикле поедешь?!

— Нет, что ты! Булбулшо теперь на машине!.. За гроши купил старый драндулет — видел бы ты, равных не встретишь! — отремонтировал, окрасил во все цвета радуги, повесил бахрому — и разъезжает где хочет... У нас такая машина «бурибхай» называется...

— Смотри, какой оказался предприимчивый!

— Ага. И говорливый. Спасу нет — и разливается, и разливается... в полном соответствии со своим именем. Ну, ты ж его знаешь... Зато человек надежный. Завтра к вечеру он доставит меня к перекрестку Са-

мангон, там я должен встретиться с караваном. Будем сопровождать технику до Янгиарыкской базы, потом смогаемся в Пайки, в Мазари-Шериф, разузнаем, что можно, — и обратно...

Они заснули поздно, но перед рассветом Сабира разбудил надрывный кашель Гуломали. В комнате стоял резкий холод, форточка была раскрыта настежь. Сабир вскочил, хотел было закрыть, но Гуломали, продолжая отчаянно кашлять, рукой показал: не закрывай. Сабир согрел чаю, Гуломали, однако, едва мог сделать глоток меж двумя сотрясавшими его приступами.

Еще затемно появился Булбулшо; он радостно удивился присутствию Сабира, но его излишняям помешал все тот же кашель Гуломали. Они оба — Сабир и Булбулшо — стояли и беспомощно смотрели, как извержения воздуха из впалой груди больного сотрясают все его изможденное тело. За окнами был уже белый рассвет. Гуломали затих наконец, задыхаясь, обливаясь потом.

— Домла... — сказал ему Булбулшо, чуточку выждав. — Время проходит, что будем делать? Не выехать сейчас — караван пропустим, они ждать не будут...

У Гуломали, видно, не было сил даже ответить.

— Вот что! — решительно заявил Сабир. — Выход только один: еду я! И не спорь! — закричал он, увидев, что Гуломали порывается что-то возразить. — Ехать надо, а ты ехать не можешь... Все, все!.. Прежде чем выехать из Кабула, мы заедем в наше посольство. Мои вещи — там. Переоденусь, предупрежу обо всем. И скажу: если не вернусь в самые ближайшие дни — чтоб давали тебе из моего багажа все, что потребуется! Собственно, все материалы по проекту — в большом черном «дипломате»... Понял? Запомни — в черном «дипломате»!.. И вот еще что... только, пожалуйста, не взбрыкивай и не сопротивляйся... Я попрошу, чтоб к тебе прислали толкового доктора... И не спорь, не спорь!

Но у Гуломали и не было сил спорить. Он смотрел на них отчаянными, скорбными глазами. И сказал только, едва ворочая языком:

— Газету... возь-ми...

— Да, да! Беру! И завезу Сардору...

Сабир оделся, они попрощались. Сабир первым пошел из комнаты. Булбулшо — за ним, оглядываясь и приговаривая наигранно бодрым тоном:

— Не беспокойтесь, домла! Поправляйтесь!.. Клянусь, скоро вернемся! Все будет хорошо, клянусь...

Когда караван повернул, после большого пере­к­рестка, на дорогу, ведущую к Янгиарыку, холодный дождь, не прекращавшийся с утра, перешел в снег. Старая дорога, прямая как стрела, когда-то была по­крыта гравием, но теперь являла собою сплошную грязь да ухабы. Пушинки снега, все еще вперемешку с дождевыми каплями, летели по ветру и тоже таяли на лету. И, однако, поля по обеим сторонам дороги, луга, подножья холмов побелели.

На всякий случай впереди пустили скреперы, посре­дине неуклюже двигались три грейдера и экскаватор, потом трактор «Беларусь», а позади, на большегрудом, накрытом брезентом «КамАЗе» с прицепом ехали кон­тейнеры с деталями гидромонитора и взрывными уст­ройствами; пять вооруженных часовых, выделенных народной милицией — царандоем, тоже укрывались в кузове «КамАЗа», под брезентом.

Сабир устроился в кабине трактора «Беларусь», вскоре к нему присоединился Булбулшо; он набросил на себя плащ-палатку, накидку свою передал Сабиру и, отряхнув, сколько был в силах, грязь с сапог, полез в кабину. Даже удивительно было, как он мог уместиться в таком небольшом пространстве. Впрочем, несмотря на свою мощную комплекцию и некоторую одышливость, толстяк Булбулшо вообще был малый ловкий, деятельный и расторопный. Когда они встрети­ли караван, он садился поочередно за руль каждой ма­шины и с удовольствием ее опробовал.

— У-у! — приговаривал он, вылезая. — Могучая машина! Как буйвол! Э-э, как пять буйволов, клянусь! И новенькая, а грязь мы раз-два — и смоем...

И вытирал ветошью машинное масло с посиневших от холода рук.

Отца его звали, как выяснилось, Гульбаз. Но Булбулшо Гульбаз был душою привержен занятиям, от­нюдь не соответствовавшим этим поэтическим име­нам!..¹

¹ Булбулшо — Царь-соловей, Гульбаз — любитель цветов.

— Правильно, что вы оставили свой «бурибхай»,— сказал ему Сабир в кабине.— По этим дорогам только на бульдозере и ездить...

— А как же! Я ж их всех знаю, клянусь! Все эти дороги... Вот и спрятал «бурибхай» под навесик, попросил царандойцев приглядеть. На обратном пути ой как будет кстати!.. Клянусь, люблю я эти степные шири, а полюбоваться не могу, все времени нет, клянусь — суетиться надо, зарабатывать, да и малыши дома ждут...— Это Булбулшо уже оседлал своего любимого конька, теперь долго не слезет. Он говорил, не ожидая и не требуя участия слушателей, так что под его нескончаемую болтовню можно было спокойно дремать или думать о своем, только изредка, впопад или невпопад, кивая головой. Моторы натужно гудели, кабинку резко подбрасывало на выбоинах, стекла окошек наполовину залепило снегом; в кабинке было тепло, уютно, и это, вместе с бесконечной лентой проплывавших мимо безлюдных заснеженных полей, навевало дрему; впрочем, и половина ночи без сна сказывалась. Когда очередной особенно резкий толчок пробудил его, Булбулшо все еще продолжал свое:

— ...Я ж и старенький мотоцикл, на котором вы ездили, клянусь, для того и купил, чтоб малышей своих навещать. Клянусь! Помните, через день в город удирали?.. Это ж домой, клянусь! У-у, близнецы мои! Хасан и Зухра! Самые красивые дети на свете, клянусь! Жить без них не могу... Давно бы я бросил эту профессию скитальца, если б... если б не домла Гуломали — и вы, домла! Клянусь, в жизни еще таких людей не встречал...

— Это каких?..

— Да таких вот — вы же сами видели... еле дышит... встать не может... а готов ехать... ведь дни и ночи был на ногах... Увидел, что я тоже дело люблю, ну и взял меня шофером. Клянусь, я же в курсе всех его дел! С тех пор как освободился, клянусь, только и знает, что проект двигает, утрясает всякие дела с правительством! Знаете, как наш проект называют? «Плод апрельской революции», вот как! Э, раньше, клянусь, думал — великие дела только великие люди делают. Теперь вижу — простые вроде люди, как Гуломали-ака, как вы, Сабир-ака... а тоже делают настоящее великое дело. Клянусь, я благодаря вам и эти места полюбил, еду — обратно тянет...

— В этих местах осуществится будущее, Булбулшо. Так что человек, который любит своих детей, должен этому способствовать...

— Хорошо сказали, домла, ой хорошо! А как же... Ведь я и способствую, верно? Чем могу, клянусь... Нет, пока своими глазами не увижу, как этот проект осуществится,— клянусь, с вами не расстанусь! Лишь бы своих малышей навещать...

— Ну конечно, Булбулшо... Вы эти дороги-то примечаете?

— Да я их зна-аю!

— То вы по ним на мотоцикле ездили... это одно. А следующим караваном тяжелые самосвалы пойдут... Совсем другое дело. Примечайте, примечайте, вам эти самосвалы и придется везти, Гуломали теперь побережь надо!

— Есть, домла! Понял! Клянусь, понял!— И Булбулшо затянул свою любимую народную песню, которую Сабир от него уже несчетное количество раз слышал:

Время придет и весне возродиться,
время придет и луне возвратиться —
ах, соловьи и цветы...

Машины, медленно урча, преодолевали ухабы. Водитель напряженно вглядывался в пелену снега и тумана впереди и время от времени рукавом вытирал пот со лба. Это был высокий худой пуштун с отросшей бородой и грязной чалмой на голове. Между ним и Сабиром лежала старенькая пуштунская двустволка. Все время до сих пор он молчал, но теперь — то ли от усталости, то ли от раздражения на неумолчно болтавшего Булбулшо — пробурчал:

— Поберегли б себя... тут всюду муджахиды снуют.

— Типун тебе на язык!— закричал Булбулшо.— Да в такую погоду эти твои борцы за веру небось попрятались где-нибудь в пещерах да от холода дрожат...

— Не мои они...— сердито пробормотал водитель.

— Ясно, не твои! Ты, видно, устал — дай-ка я за руль сяду!

К удивлению Сабира, водитель спорить не стал. Должно быть, и впрямь переутомился. Сабиру пришлось подвинуться к правому краю, и тогда водитель с Булбулшо кое-как поменялись местами. Высокий

пуштун взял свое ружье, положил справа от себя. А Булбулшо и, сев за руль, не унимался:

— Эти муджахиды — клянусь, они только по ночам и устраивают свои засады... У мостов или на большаках! А на проселки их, клянусь, не заманишь! Тут у нас тихо, спокойненько...

И он снова затянул:

— О, соловьи и цветы...

Сабир тоже решил успокоить водителя.

— Мы же не оружие везем, — сказал он, — не боеприпасы... Строительная техника! Для вашей же страны, для кишлаков... Ведь эти муджахиды — тоже афганцы, правда? Чего ж им на нас нападать?

Пуштун посмотрел на Сабира.

— Вы советский, да? — Сабир кивнул. — Ну вот, — сказал он, — им этого достаточно. Чтоб вас уничтожить, а заодно и нас всех!

— Типун тебе на язык! — снова закричал Булбулшо, обернувшись, и при этом высоченные колеса «Беларуси» чуть не съехали на обочину. Водитель ухватился за руль и выправил, но Булбулшо этого, кажется, так и не заметил в раже. — Они вообще никакие не муджахиды — простые убийцы и грабители! Да с нами едут ребята из царандоя, они им дадут в случае чего...

— Угу, — буркнул пуштун неопределенно, а Сабир почувствовал себя очень неловко. Если водитель сказал правду, так, выходит, все меры безопасности предприняты ради него, Сабира? Он оглянулся назад. Железный караван, облепленный грязью, припорошенный снегом, медленно двигался по дороге, а за обочинами лежали уже девственно белые поля, и никого, ничего не было ни видно, ни слышно. В воздухе кружились снежинки, впереди чуть виднелись контуры пологих холмов, за ними с трудом угадывались горные седины Эльбруса. Но видимость становилась все хуже. Или это уже предвестие сумерек?.. Все устали, даже Булбулшо замолк за рулем. Передние машины — скреперы, грейдеры, экскаватор — ушли вперед, вырисовываясь темными громадами. Слева показались одинокое высохшее дерево и копка гузапай, укутанная снегом.

«Дзинь!» — раздался вдруг резкий звонкий шелчок. Они сперва не поняли откуда, потом глянули на Булбулшо. Булбулшо с оторопелым видом глядел на левое

боковое стекло кабины: оно было пробито и потрескалось.

— Камень, что ли?— спросил Сабир, но пуштун закричал:

— Пуля это! Пуля!— Он показывал на лобовое стекло перед водительским местом — там зияла аккуратная круглая дырочка; пластик на баранке был разбит: видно, пуля попала в баранку — и срикошетила.— Там стрелок, стрелок, пригнись!— кричал пуштун Сабиру, сам, навалившись, прижал его к сиденью, каким-то звериным рывком перебрался через него, распахнув правую дверь, и выпрыгнул на землю. В руке у него было ружье, и он кричал Булбулшо:— Не останавливайся! Не останавливайся!

Сабир понял: он хочет под прикрытием трактора снять стрелка за копной. Но сверху уже видно было — за первой копной стоят еще несколько, если и там стрелки — пуштун у них как на ладони!.. Сабир успел только набрать воздуха, чтоб крикнуть ему: «Ложись!»— как ударил выстрел, и пуштун опрокинулся навзничь, выронив ружье. И почти в ту же секунду раздался взрыв впереди, взметнулся столб грязи, одна из темных громад перед ними не то рухнула набок, не то развалилась надвое.

— Грейдер взорвали, сволочи! Или экскаватор!— закричал Булбулшо Сабиру; он остановил трактор, по корпусу тотчас щелкнули пули, но оба они скорчились на сиденье, под горестный выкрик Булбулшо:— Что ж наши парни не стреляют?..

Тут сзади тоже наконец застучали выстрелы — царандоевцы, должно быть, выбрались из «КамАЗа» и залегли. Порадоваться этому Сабир и Булбулшо, однако, не успели: сзади грянул еще один взрыв, так что и их трактор качнуло, что-то тяжело рухнуло, заскрежетало, загрохотало, полетели комья грязи, а выстрелы сзади смолкли, как отрезало. Высунуться, глянуть, что там творится, было немислимо, и податься теперь трактору тоже, видно, было некуда, ни взад, ни вперед.

— Сволочи, сволочи...— горестно бормотал Булбулшо, прячась за приборной доской.

Сабир решил все-таки поглядеть, приподнялся — и тут же резкая боль обожгла ему правое плечо. Он снова скорчился, сунул руку под ватник — там намокало, и правая сторона начала как-то странно неметь.

— Булбулшо...— позвал он было, оборачиваясь к геодезисту, в приливе боли успев подумать все-таки: чем же это они нас — минами?— и увидел, что Булбулшо лежит, неестественно изогнувшись, нависнув всей тяжестью меж сиденьем и передней стенкой кабины.— Булбулшо...— еще раз позвал Сабир почему-то шепотом, но геодезист не отреагировал.— Булбулшо!— закричал Сабир, пытаясь пошевелить его. Голова парня откинулась назад — и Сабир увидел кровавую дырку у него во лбу... И в этот момент снова грохнуло, трактор страшно, со скрежетом, тряхнуло, какая-то огромная сила рванула Сабирова с места, пронзив дикой болью раненое плечо, и окунула во тьму.

Очнувшись, Сабир увидел себя на дороге; плечо отчаянно болело, и немело одновременно; на грязи рядом с ним уцелело, как обрывок ковра, белое пятно снега, левой рукой он сгреб с поверхности немного этого белого хрустящего блага, сунул в рот, пожевал; потом, повернув голову чуть вбок, увидел лежавшую на земле тракторную кабину, окутанную дымом; подальше, в спускающихся сумерках, неестественно, как окоченевшая рука огромного мертвеца, торчала стрела экскаватора с разинутым ковшом.

Послышались чьи-то голоса, Сабир увидел, как по дороге, приближаясь к нему, чавкают по грязи несколько пар ног в сапогах. Он, сколько мог, приподнял голову: вооруженные ружьями люди в широченных шароварах, с грязно-белыми чалмами на головах вели, подталкивая дулами, троих связанных. Сабир сразу узнал этих троих: двое были водителями скреперов, третий — один из царандоевцев, в разодранной форме, с окровавленным лицом. Всех троих поставили метрах в пяти от Сабирова, в ряд, посреди исковерканной и заваленной обломками дороги. Появился высокий, одетый заметно лучше остальных чернобородый человек с красивым лицом и следом — старик в латаной одежке.

— Чилим!— крикнул высокий, вытирая сапог скотканными стеблями гузапаи.

Старик тотчас подал ему неизвестно откуда взявшийся, уже раскуренный чилим:

— Вот, достопочтенный...

Чернобородый отшвырнул гузапаю, бросил наземь брошенный на плечи чекмень, уселся на него и закурил. Пленные стояли, безмолвно понурясь. В воздухе

запахло анашой, и от этого запаха Сабира, оглушенного взрывом или, может быть, даже слегка контуженного, неожиданно замутило. Он невольно чуть дернул головой, и чернобородый, который как раз смотрел в его сторону, уловил какое-то движение. Он вынул изо рта чилим и внимательно взгляделся в лежащего Сабира. Но стемнело уже изрядно; чернобородый, видно, решил выяснять наверняка, померещилось ему или нет, он поднялся, подошел к Сабиру и пнул его носком сапога. Раненое плечо отозвалось острой болью, и Сабир не сдержал стона. Впрочем, было уже все равно: даже и притворись Сабир мертвым, душманы все равно, наверное, прошли бы его для гарантии пулей или пырнули ножом.

— Эге!— сказал чернобородый удовлетворенно.— Да тут еще один не сдох.

Он наклонился, стал разглядывать Сабира, потом выпрямился.

— Эй, сюда!— крикнул.

Подбежали двое в шароварах, чернобородый сделал знак рукой «поднять», и они, схватив его под руки, подняли рывком; Сабир не сдержал крика боли, было похоже, что ему выдернули руку. И все же он оказался на ногах, и ноги, хоть и подгибались, держали его.

— Живо-ой!— сказал чернобородый и засмеялся, смех у него был резкий, отрывистый. Он снова взгляделся в Сабира.— Э, да это уж не самая ли жирная птичка?.. Советский?— спросил он грубо, сделав зверскую мину.— Ну! Я тебя спрашиваю! Советский?..

Сабир кивнул. Чернобородый снова засмеялся.

— Смотри, советский, а по-нашему понимает! Ну, ну, поговорим... Поставить его к тем троим!..

Их вели вперед по той же дороге. Она ровно светилась в темноте — подморозило, и снег больше не таял. Связали их попарно: Сабира с одним из водителей, царандоевца — со вторым. Те двое были совсем молодые люди, одеты легко, руки их, стянутые арканом, посинели. Они шли впереди; напарник Сабира был постарше — средних лет мужчина, на нем, как и на Сабире, был распахнутый ватник. Раненая рука Сабира задубела, боль сделалась не пульсирующая, а ровная, тупая, или, может, он просто притерпелся. К счастью, их

особенно не подгоняли, видно, душманы и сами не слишком торопились.

Прошли они, пожалуй, около километра, когда Сабиру показалось — напарник его что-то шепчет. Он осторожно повернул к нему голову — водитель и впрямь на него смотрел.

— Аллах вам помощи... — прошептал он, — трудно вам придется...

— А вам? — так же шепотом спросил Сабир.

— Да нас... нас, скорей всего, просто расстреляют... советских они величают кяфирами... от кяфиров, мол, все беды...

— А вы как думаете?

На лице водителя появилось подобие улыбки:

— Я? Я ж был не с ними — с вами...

— Ясно, — сказал Сабир, — а куда ведут, не знаете?

— А куда б ни вели... сперва постараются... обратиться в свою веру... а нет — так прикончат... Вот вас...

Тут впереди послышались голоса, замелькали какие-то отсветы, послышался конский топот. Смутно обозначились силуэты деревьев. Конвоиры оживились, ткнули их в спины дулами винтовок.

— Скорей, э!

Сбоку от дороги, на истоптанном черном поле, горел костер. Вокруг толпились вооруженные люди, чуть в стороне, на коне светлой масти, восседал важного вида человек в темной чалме. За ним, на молодой, довольно куцей лошадке, сидел, озираясь, безбородый сморщенный человечиска, держа в руках зеленое знамя с изображением полумесяца. Пленных подвели к важному, он оглядел всех, взгляд его задержался на Сабире. Светлый конь пританцовывал, бил копытами. Человек был, кажется, пожилой. Сабир успел заметить только большой мешкообразный зоб под синеватой от седины бородой и два ряда патронташей.

— Почему у него вторая рука не связана? — спросил важный кого-то справа.

Сабир покосился и увидел давешнего чернобородого, любителя чилима.

— А у него вторая как плеть висит, о мой шейх! — весело сказал чернобородый.

— Тогда глаза завяжите! — приказал шейх.

— Слушаю, о мой шейх! — Чернобородый потянул Сабир за ватник, оттащил его метра на два, заставив

шагнуть следом и Сабирова напарника. Потом вдруг развернулся и ударил Сабирджана кулаком по переносице. Сабир, ослепленный, теряя сознание от вспыхнувшей боли в носу, голове, в плече, рухнул наземь, увлекая и связанного с ним водителя.

— Что за непристойности, эй! — послышался голос шейха.

— Ничего, о мой шейх! — весело ответил чернобородый. — Платка не нашлось — глаза завязать, я ему их так закрыл!

— В машину их! Быстро! — снова послышался голос шейха.

Конь его заржал и, кажется, встал было на дыбы, подняв передние ноги, потом рванул с места и поскакал куда-то, вслед за ним в глазах Сабира протрепетало зеленое знамя. Люди у костра загомонили, оружие звенело. Напарник Сабира стал подниматься, потянул веревку, и Сабир тоже попробовал встать. Плечо рвало болью, в голове мутилось, но было страшно, что его вновь будут поднимать пинками. Гомонившая у костра толпа быстро таяла, душманы уходили. Сабир кое-как поднялся с помощью товарища. Подъехал грузовик, из полутьмы вынырнул чернобородый с несколькими душманами. К удивлению Сабира, веревку, связывавшую его с напарником, перерезали, потащили его к машине, втолкнули в кузов. Оттуда пахнуло отвратительным запахом портящегося мяса, нечищенных кишок. Падая в кузове, он снова ударился больным плечом, правда, обо что-то мягкое; и все же потерял сознание от боли...

Очнулся он от страшного холода, его жестоко студил ветер. Тело, казалось, околело навсегда, но он все же заставил себя приподняться и оглядеться. Уже светало, машина ехала медленно; по сторонам, впереди, сзади виднелись сквозь редкий туман черные, голые, поблескивавшие горные скалы, они поднимались ввысь, надвигались спереди, поравнивались, отставали, надвигались новые. Уши Сабира заложило, как в самолете, он судорожно глотнул. Машина между тем въезжала в какое-то селение — квадратные глиняные крыши как бы сросшихся друг с другом нищих кибиток у подножья горы. Оттуда несло едким запахом пороха и слабым ароматом осенних колючек. Где-то далеко слышались выстрелы. Кибитки кончились, и Сабир увидел десятки черневших ям — должно быть, входы в пещеры или но-

ры; возле них горели очаги, к арбам с резиновыми колесами были привязаны яки, женщины обжигали кизяки, бегали босоногие дети.

Они проехали несколько вооруженных постов — до рога здесь оказалась мощеная — и остановились у большой площадки, огражденной каменными глыбами. Сабир понял: это был «учебный полигон», а обросшие, еле волочащие ноги люди на площадке — новыми муджахидами, новобранцами. Они побросали оружие, оставили пулеметы и с воплями окружили машину. Закоченевшие охранники Сабира — их было трое — стали раскрывать борта, железо задвижек не слушалось; наконец борта упали, охранники оттолкнули Сабира в пустой угол и стали сбрасывать на землю бараньи туши, мешки с головами и кишками. Потом столкнули вниз и пленника.

Вконец отупевший от несмолкающей боли и холода, Сабир не глядя опустился наземь. Он уже все воспринимал безразлично: невдалеке проскакали по камням дороги всадники; из-за поворота, из-за скал, доносился поминальный плач, вой; где-то наверху простучали автоматные очереди. И Сабира как будто не замечали, забыли о нем. Обросшие, оборванные люди таскали туши и мешки в расположенный, должно быть, поблизости амбар, пока наконец на земле не остались только красные лужи и потеки. Прошло не меньше двух часов, когда Сабир увидел: на площадь вступает новая процессия — это были пришедшие пешком душманы из напавшего на них отряда: они вели его товарищей. Сабир поднялся, чтобы рассмотреть получше, и тогда увидел на краю каменной площадки амбар: туда сносили мясо, туда же втолкнули и его товарищей. Амбар заперли, у двери встали часовые.

Обширная площадка постепенно стала заполняться. Один за другим появлялись дехканского вида люди, кто в чарыках, кто в грубых ботинках, перепоясанные платками, с ружьями за плечом; парни в полувоенной форме; несколько, видимо, настоящих военных; белобородые улема; даже женщины в чадрах и посинелые, дрожащие от холода и все же неистово любопытные дети. Сабир подумал, что они собираются на зрелище, единственно, должно быть, возможное в этом страшном подобии кишлака, превращенном в горное гнездо муджахидов: посмотреть на вновь захваченных в плен «неверных». Но никто из них не глядел ни на него, ни на

амбар, где заперли остальных пленников. Разве что дети повернулись у закрытых дверей амбара, перед часовыми.

К каменной ограде площадки подъехало шестеро всадников. Гул голосов замер; всадники спешили и, встречаемые этим почтительным молчанием, медленно пошли к центру сборища. Люди расступились; кто был при ружьях, брали их «на караул»; священнослужители уважительно наклоняли головы, бормоча молитвы. Первым из подъехавших шел, не поднимая взгляда от земли, невысокий человек с кинжалом и саблей на боку, худощавый, с головой, похожей на помятую дыню... Сабирджану его лицо показалось знакомым, он вгляделся. Господи, это ж Якубджан! Сабир протер левой рукой глаза. Да, конечно, это был вождь племени шикашим, тот самый, что вырезал полкишлака Пайки и теперь, видимо, держал в страхе всю окрестную территорию! Вот к кому они попали!.. Да, да, вон и тот козлобородый маулави рядом!..

Якубджан сделал едва заметный знак рукой, и в толпе тотчас обозначилось движение. Двое вооруженных душманов подняли и вытолкнули Сабира в центр площадки. Послышался скрип дверей — это амбар открывали, и толпа, расступаясь, выдвинула сюда же, в сопровождении конвоиров, трех Сабировых товарищей — избитых, грязных, измороженных донельзя, едва волочащих ноги. Они ни на кого, ни на что не смотрели, очевидно ожидая немедленной казни. Сабир только глянул на них искоса: почему-то он чувствовал — не надо ему на них смотреть. Сам он настоящего страха, пожалуй, не испытывал — может, оттого, что был слишком измучен; он стал смотреть на Якубхана, благо тот продолжал привычно упирать взгляд в землю. Худощавая фигура предводителя муджахидов, перетянутая серебряным поясом, выглядывала из распахнутого длинного черного чапана. Сабиру вспомнилось, как Якубхан стоял, дрожа от ярости, перед Сардором, когда тот ломал его саблю, и при этом воспоминании едва не улыбнулся. Якубхан же молчал, потом на мгновение поднял глаза, скользнул взглядом по пленным и негромко, словно испытывая царившую мертвую тишину, сказал:

— Этих — увести!.. — Его сразу поняли, троих потащили обратно в толпу, должно быть, в амбар. Якубхан еще помедлил, потом сказал так же негромко:—

А этого — на чаркат¹. — И повернулся к козлотородому маулави: — Повелеваю приготовить фетву!²

Маулави поклонился, и все вокруг замерло; сколько это длилось, Сабир не мог бы сказать; время как бы остановилось; затем внезапное слабое «уввв!» всколыхнуло толпу.

— Дайте ему поесть, чтоб жив был! — снова глядя в землю, бросил Якубхан и, резко повернувшись, пошел обратно к краю площадки. За ним последовали все приехавшие. Толпа не двигалась.

— А ну, расходись! Что стоите, рты разинули! — крикнул чей-то грубый голос.

Толпа словно очнулась, первыми двинулись с места женские фигуры в чадрах, потом и остальная людская масса потекла с площади. И тут какая-то покрытая чадрой женщина, стоявшая неподалеку, двинулась к Сабиру, странно пошатываясь. Не доходя трех-четырех шагов, она вдруг сорвала с головы девичий платок и чадру и не закричала даже — завопила диким, отчаянным голосом:

— Алла-ах! Аллах праведный! Гляньте, люди, — это не кяфир, не-ет! Это праведник безгрешный! Явился благодеечня ради, люди-и...

Сабир стоял перед тем, словно воздух из него выкачали; его поддерживали два душмана; но на вопль женщины он отреагировал — что-то смутно знакомое в нем почудилось. Женщина стояла пошатываясь — вот-вот упадет. Две другие, закутанные чадрами, к ней подбежали, подхватили, попытались увести, но она, хоть и была, казалось, совершенно без сил, не поддавалась, уперлась — и вдруг закричала снова:

— Люди-и! Правове-ерные!.. Этот пленник... праведник этот... жизни не жалел... чтоб вас... ва-ас накормить! Чтоб земля родила! Земля-а... родила-а-а!.. — Крик перешел в вой, она была в истерике.

И Сабир вдруг понял: это незнакомое, истощенное, высохшее, прочерченное черными морщинами женское

¹ Чаркат (искаженное «чаркатль», буквально — «четверное убийство») — своеобразное четвертование, необычный способ казни, применяемый душманами по отношению к тем, кого они считают кяфирами, неверными. Казнимого распинают с помощью веревок на деревянной стенке или щите, затем автоматными очередями «отсекают» ему по одной руке и ноги.

² Фетва — «разрешение» на казнь, даваемое старшим по сану из присутствующих мусульманских священнослужителей.

лицо — это лицо Зулейхо!.. Зулейхо-о!.. Он дернулся было из рук конвоиров, но его держали крепко, и от рывка оступевшая боль в правой руке ожила, ударила со страшной силой, проколола сердце. Вокруг бьющейся в истерике девушки, оттолкнув женщин, засуетились неуклюжие вооруженные люди в шароварах; и тут из двигавшейся поодаль группки молодежи в полувоенной форме один вырвался, побежал к девушке, тяжело дыша, растолкал всех, подхватил ее и на руках куда-то понес через толпу. Куда, Сабир уже не увидел, боль затмила все, мутила сознание... Он только успел подумать: кто же этот парень в полувоенной форме? Знакомой форме... а-а... тот, что с пистолетом... тогда... в комнате... у Гуломали... Гуломали — где он?.. А этот... да-да... Ауранг...

И сознание его оставило.

Сверху на Сабирджана что-то капало. Что это, подумал он, дождь, что ли? Где это мы стоим?.. Он чуть пошевелился, очнулась боль в руке, и он все вспомнил. Он скосил глаза вниз — под ним сырой камень, запах сырости и плесени пронизывает все вокруг; скосил глаза вверх — перед ним каменная ступенька, выше — ступеньки еще и еще. Сверху падал скудный свет. Сабир с усилием поднял голову. Свет падал из щелей двери наверху — к ней и вели ступеньки. Сквозь щели виднелись и ячейки решетки, очевидно, прикрывавшей дверь снаружи. К косяку двери прислонилось ружье, а на верхней ступеньке, подстелив под себя сено и скрестив ноги, расположился человек в шароварах, с обширным брюхом, сползшим на ляжки. В руках у человека была глиняная коса и деревянная ложка. Он, должно быть, только что кончил есть, пристроил косу около себя, вытер свисавшим концом чалмы ложку и удовлетворенно вздохнул. На лице его, скудно освещенном, украшенном темными подковообразными усами, тоже отражалось довольство жизнью, даже, пожалуй, жизнерадостность. Ясно, это стражник, но он-то, Сабир, когда сюда попал?.. Ничего он не помнил. И где находится эта самая его тюрьма? Что это за подвал? Может, тот амбар на краю площадки?.. Нет, вспомнил он, там не было решетки на дверях... Он опустил голову, и страж заметил это движение.

— Эй, очнулся?— спросил он жизнерадостным тоном, вполне соответствовавшим выражению лица.—

То-то... пора. Хе-хе... Слышал, Якубхан сказал: «Дайте ему поесть, чтоб не сдох»? Хо-хо!.. Я и припугнул повара, взял еды на двоих! Тебе-то уж еда ни к чему, верно? Даром же пропадет, слышь? Ха-ха-ха!.. Чего молчишь? Не все ли равно, как на тот свет идти, — сытым, голодным. Голодным-то еще легче, хе-хе... А вот мне надо поесть, слышь... еще потрудиться придется!— И он снова шумно засмеялся собственной шутке, смех у него был раскатистый, и живот при этом подымался и опускался, словно мехи, которые раздували смех. Наконец он приостановился и сказал, досмеиваясь: — Возьми, возьми, я и тебе там положил...

Сабир повернул голову: рядом с ним на клочке соломы лежал сухой кусок лепешки, стояла кружка; он с трудом высвободил затекшую руку, протянул ее к кружке: там была вода, и Сабир жадно ее выпил.

Снаружи, очень издалека, донесся истерический женский выкрик, потом другой, женщина завывала. Неужели Зулейхо?!.. У Сабира прошла по лицу мучительная судорога, он сам едва сдержал рыданье.

— Что... с женщиной?..— спросил он сдавленным голосом.

— А-а, с ума сошла. Давеча, на майдане, и тронулась, видел же! Тебя праведником объявила, ха-ха!.. Ну, не она первая спятила. Только больно уж остервенела — всех прокликает, слышь?.. Чтоб вы, мол, все подошли, кровью харкая, да чтоб от вас одни крысы рождались... Побить бы ее, заткнуть рот, да какой-то джигит, из этих молодчиков городских, слышь... защищает ее, не дает. Сестра, видно... Или еще кто...

Темп речи у стражника замедлился, голос сделался ленивым, видно, от обильной еды его стало клонить в сон.

Сабир опустил голову, помолчал. Потом сказал:

— Эй, послушай-ка!..

Стражник поспешно вскинул голову, видимо, и впрямь задремал.

— А?.. Чего?..

— Чего меня здесь держат-то?..

Стражник потряс головой, прогоняя сон.

— Ну, как же!— сказал он деловито, вполне дружелюбным тоном.— Чаркат — дело не простое! Подготовиться надо. Опять же стенка подходящая нужна. Нету — значит, из досок надо сколачивать... И веревки... И люди пока приедут. Не-ет, не простое дело... Ну,

ты, понятно, не знаешь — тебе ж впервой чаркат-то будет, а? — И, довольный своей шуткой, снова захохотал, окончательно проснувшись.

— Да что такое чаркат?..

— Йе!!.. И впрямь не знаешь? Вре-ешь!..

— Не знаю...

— Ну-ну! Да ты кто ж такой? Откуда?.. — Стражник искренне удивился. — То-то, гляжу, лежит себе тихонько без памяти, будто и не чаркат его ждет, а свадьба... Хотя, — тут голос его посерьезнел, — чаркат, слышь, тоже святое дело. Оно таких грешников, как ты, от грехов освобождает!

— Это как же?..

— Как, как! Очень просто. Привяжут тебя, слышь, за руки и ноги к деревянной стене — там дырки делают, веревки протягивать — привяжут, слышь, как к кресту вашему...

— Какой крест? Мои предки мусульмане были!

— То — были... Были, да сплыли! Раз кяфир — выходит, крест!.. Ну вот, слышь, привяжут веревками, а потом машиндаром...¹ — та-та-та! — сперва одну руку отстрочат, потом ногу. Потом, слышь, еще руку и ногу. Если еще живой останешься, от веревок освободишься — значит, и грехи твои смыты! Понял?.. А уж там пристрелят... Ладно, ладно, дрыхни. Тебе тоже, слышь, подготовиться надо...

Воображение вслед за словами стражника легко рисовало эту картину — и все в Сабире сжалось от неодолимого, подкатывающего к горлу страха. Он испытал такое впервые с тех пор, как там, на дороге, цокнула первая пуля и началась эта смертельная история. До сих пор ему не думалось о смерти, не верилось, что она близко. Может, потому, что, сам того не сознавая, он все-таки чувствовал себя здесь человеком «со стороны»?.. Нет, не со стороны, значит!.. Его пробрала непобедимая дрожь, вот-вот зубы застучат, и услышит этот толстый кровопийца... «Святое дело!..» Ах, чтоб тебе... И ведь не избавиться от этого... Не избавиться? — спросил он себя. А если подняться и броситься на часового? Пусть выстрелит и убьет! Или заколет... Нет, подумал он тут же, не станет он убивать, он со мной, с одноруким, и так в два счета справится, вон какая туша. А убивать ему меня нельзя... нельзя... раз готовят та-

¹ М а ш и н д а р — автомат.

кую показательную казнь... Убьет — самому несдобровать...

Он сжал зубы, постарался унять дрожь. Потом сказал:

— Эй, послушай-ка еще!..

— Еще? Ну, чего?..

— А скоро... скоро это будет?

— А ты что, торопишься куда? — сказал стражник и опять захохотал, явно довольный: везло ему сегодня на хорошие шутки.

— Ну... а почему бы... почему бы не освободить меня... от грехов... поскорее?..

— Хо-хо... ты хоть и кяфир, а парень ничего... Я тебе, слышь, вот что скажу: настоящий чаркат не всякому на долю выпадает... Сколько есть, что умерли вовсе без покаяния! — Стражник говорил уже вполне серьезно. — И ведь тебе, слышь, ноги и руки автоматом отстрочат — раз, и готово. А бывало, тупой косой отсекают — во! Или серпом... Так что не бойся, успеешь освободиться... Полежишь здесь пока. Сейчас, слышь, наши все главные с джигитами пошли громить стан «Эхвани муслим». Ого какое побоище будет!

— «Эхвани муслим»? А вы кто?..

— Мы-то?.. Мусаватисты.

— А побоище зачем? Они ж тоже борцы за вашу святую веру?..

— Это правда... и они поборники... Наполовину, так сказать, хо-хо!.. Они нарушили сабельный обет Великому Садру! А изменников — их кончать надо.

— А если — они вас?..

— Ну, и они нас, само собой. Еще ведь, слышь, и сарандонь есть... В общем, мы, парень, меж двух огней! Э-э, что это я — двух... не двух — есть еще и «Шулаи джавиды»... Кто сильней, тот и бек. Вообще-то, слышь, треплют смутьяны святое зеленое знамя, как тряпку...

— Как тряпку?.. Слушай, кстати, а у тебя какой-нибудь тряпки не найдется?

— Какой еще тряпки!

— Да хотел потуже плечо перевязать... кровит сильно...

Стражник посмотрел на него подозрительно, подумал.

— Нет, сделать тебе хорошее — противно шарияту. Что я с тобой разговариваю — и то уже грех! Но как

быть, такой у меня нрав, не буду разговаривать — усну...

— Ну ладно, не можешь так дать — возьми мой ватник. Рукав отстираешь, а так — почти новый...

— Не-ет... вот тот, под ним, на тебе... тот вроде получше...

— Бери!

— Тогда по рукам!..

Часовой, громко сопя, снял сапог, развернул часть портянки и стал отрывать зубами. Сабир, сдерживая стоны, еле-еле стащил с себя ватник, потом снял пиджак. Рукав пиджака присох к рубашке, та — к ране, но, кое-как придерживая рубашку двумя пальцами, остальными тремя он отделил от нее пиджачную подкладку, снял пиджак, помедлил, чтоб отдышаться, и кинул пиджак стражнику. Тот бросил вниз портянку. Она изрядно пованивала, но была еще крепкая, и Сабиру удалось перетянуть ею плечо и снова надеть ватник. Управившись, он взглянул на стражника — тот следил за ним полусонными глазами.

— Дал бы лучше чалмы кусок! — сказал Сабир с усмешкой. — Вон какая длинная!..

— Молчи, кяфир! Тьфу... — Стражник разозлился, но сразу отошел; сообразил, видно: на такого темного грешника злиться — только пыл зря переводить. — Не знаешь, что ли, — объяснил он, — чалмы у муджахидов должно на саван хватить!..

Сабир только кивнул. Стянутое плечо болело меньше, страх как-то отодвинулся, зато великая усталость навалилась. Сабир лег, примостил поудобней раненую руку, прикрыл глаза — и не заметил, как заснул.

Проснулся он от промозглого сырого холода, который проник, казалось, в каждую клеточку его тела. В щели дверей наверху втекал уже не свет, а сумеречная серость, и на верхней ступеньке сидел не давешний толстяк, а тощая фигурка. Он огляделся — ну да, какой-то худенький старик с бородой сменил толстяка и прикорнул наверху, обняв обеими руками винтовку. Но старик не спал: едва Сабир пошевелился, он насто-роженно повернул к нему голову и негромко кашлянул.

— Что, бобо, — простуженно сказал Сабир, — теперь вы меня стережете?..

Старик не ответил, только кашлянул еще раз.

— Так, — снова сказал Сабир, — видать, джигиты-то еще с побоища не вернулись...

На этот раз старик отозвался.

— Какое же побоище, сынок,— сказал он,— это джихад, священная война!.. Не вернулись, конечно,— продолжал он,— вон как тихо вокруг... Вернулись бы — у-у, тут бы что было!— Старик поднялся с места, спустился на несколько ступенек, поставил перед Сабиром кружку с водой и положил на нее лепешку. Что-то в его голосе и тоне, какая-то особенная, негромкая, но убеждающая рассудительность интонации, показались Сабиру знакомыми. Где-то он уже слышал это...

И старик снова поднялся наверх, уселся, вздохнул и снова заговорил, не то продолжая прерванную реплику, не то просто размышляя вслух:

— О-о, когда они вернуться, на кладбище «Газиен» будут чествовать и хоронить воинов, павших в священной битве... От ружейных выстрелов горы грохнут, весь кишлак на голову встанет, женщины и дети станут сыпать себя пылью, кровавыми слезами заплачут! Не вернулись, нет. Вон совы летают, покликавают, летучие мыши вьются...

И вдруг Сабир вспомнил: это был тот старик, что, отряхивая подол, уходил с джирги, на которой они тогда присутствовали; тот самый, что спросил Гуломали: «А вы эту землю возьмете, сынок?» Как же его зовут? Ведь Сардор назвал его по имени... Нет, этого Сабир вспомнить не мог. Да и что толку называть его по имени, ведь его-то старик все равно не вспомнит.

— А вы тоже участвуете в этих... священных войнах?— спросил Сабирджан.

Старик помедлил, прежде чем ответить.

— Меня на такие дела редко берут...— сказал он наконец.— Стар я. Но раз-другой, да простит аллах, все же доводилось бывать.

— Странно у вас получается, бобо,— сказал Сабир с усмешкой.— Старый — значит, сейчас самое время сражаться за веру... рай себе зарабатывать.

Старик чуть повернул голову — должно быть, глянул на него исподлобья.

— Один раз пошли,— сказал он просто.— Сказали — на врагов. Взорвали в каком-то бедном кишлаке мечеть и вернулись. Не знаю, были там враги, нет ли... это час намаза был... Вопли и стоны позади я слышал, это да...— Он снова помедлил, помолчал.— В другой раз отправились карать неверных. Оказалось, в одной бедной школе на окраине Самангона суры Корана не

проходят... Ну, подперли мы двери школы снаружи и подожгли. Саратан был, жара, крыша, видно, сухой гузапаей крыта... загорелось, как факел. Даже два зеленых тополя на школьном дворике вспыхнули. Мы стали уходить, вдруг кто-то как крикнет: «Гляди, гляди!» Повернулись — а по полю от школы вроде огненный шарик катится. Кто-то опять закричал — ребенок, мол, это!.. И вправду ребенок... Чем быстрее бежал, тем пламя-то на ветру сильнее разгоралось, а он, дурачок, от огня убежать хотел... И вопил, аж волосы дыбом вставали. Кто-то было кинулся за ним — потушить, мол, — а с нами был один из этих, молодых... полумулы, полувоенные... «львята» они себя называют... Он и кричит: «Стой! Враг спасается, а мы — ему помогать?» Взял этот шарик огненный на прицел — и пальнул... Оно, правда, ребенка бы уж не спасли, ну, а какой он враг? Несмышлениш несчастный... И «львенка» этого через день самого убили...

— Как, кто?..

— Ну, кто ж знает, кто... На дело пошел — и убили...

Лицо старика Сабиру видно не было, интонация у него была все та же ровная, рассудительная, и Сабир так и не понял, ставил старик в какую-то связь смерть «львенка» с убийством мальчика или просто так добавил, ради полноты рассказа... Нет, пожалуй, не просто так... А «львенка» — кто это был? Говорит, убили его — значит, не Ауранг... Где-то сейчас он и Зулейхо?

— Бобо, что-то не слышно той женщины... той, что кричала на майдане?

Старик не ответил. Сабир вгляделся — силуэт старика раскачивался наверху, на фоне серых дыр двери. Молится, что ли? Или просто сидит качается взад-вперед?..

Старик вдруг замер.

— Слушай, парень, — сказал он своим ровным голосом. — А это правда? На бумаге?..

— Что правда, на какой бумаге?..

— Ну, в джариде, что у тебя была...

Джарида?.. А, это так называют газету... Но что за газета?.. Тут он вспомнил: верно, он же взял с собой газету... ту, где напечатали записки Сухайля. А, ч-черт! Хотя — теперь уже все равно... Но когда они ее нашли? Его обыскали в машине... забрали документы, что были при нем... А газету? Сабир не помнил. Да и где она бы-

ла? Кажется, в кармане пиджака. Наверное, все же тогда, сразу нашли... Или... или он отдал ее толстяку вместе с пиджаком?.. Жаль, подумал он с горькой иронией над самим собой,— был бы случай передать ее хотя бы Аурангу... чтоб узнал про отца... Где же все-таки он и Зулейхо?..

— Ну так что, парень,— правда это?

— Не знаю, бобо, о чем говорите...

— Как не знаешь? Ну, о прощении, что будто всем вышло, кто теперь воюет против правительства...

— А, об амнистии?

— Ну да, так вроде это называют...

Теперь Сабир сообразил: наверное, в той же газете был напечатан указ правительства о всеобщей амнистии. Он-то и не глянул на остальные страницы... Но раз это для старика такая новость, значит... значит, указ об амнистии от них скрывают?

— Бобо, да вы разве об этом по радио не слышали?.. Ведь это уж давний указ!

— Э, сынок, кто здесь послушал бы радио из Кабула — головы б лишился! Да и у кого тут радио?.. Ну что — значит, правда это, сынок? Что прощают всех, кто с повинной явился?..

— Конечно, правда, бобо!

— Та-ак...

Мысли в голове у Сабира вдруг завертелись с лихорадочной быстротой. Значит, газета здесь уже ходит... или, скорей, кто-то грамотный прочел — и пересказывает... Может, и до Ауранга уже дошла? И он знает об отце? Ну и что? Ему, Сабиру, все это ничем не поможет... А вдруг? Но ни с кем же связаться невозможно... Разве... разве... через старика?.. Нет, непохоже, чтоб старик стал что-нибудь делать... Да и кто здесь знает Сабира? Ауранг? Так сам собирался его убить... Да и где Ауранг? И Зулейхо — где?..

— Бобо, вы мне так и не ответили...

— Что?

— Той бедной сумасшедшей женщины... что кричала на майдане, что-то ее не слышно стало... Случилось с ней что-нибудь?

— Э, может, она и не сумасшедшая. С людьми такое случается, когда нож до кости дойдет. У бедняжки горькая судьба — отец ее отдал было насильно кому-то из наших главных... чуть ли не самому Якубхану... да она убежала... ловили ее... били... много всего... А вчера

до полуночи по кишлаку бегала, всех кляла, выла, плакала... отцу перед джихадом все лицо расцарапала! Ну, а потом исчезла... ищут ее, ищут, никак не могут найти!

— Да где ж она?!..

— Кто знает, сынок...

Сабир не мог больше улежать. Кряхтя, со стонами, он все-таки поднялся на ноги. На удивление, они держали его крепче, чем вчера, хотя все тело затекло. Правое плечо мучительно ныло. Он сделал два шага в одну сторону — и уперся в скользкую стену. Четыре шага назад — другая такая же мерзкая, мокрая стена... Он успел всего два раза пройти от стены до стены, как вдруг наружная решетка стукнула, в щелях замелькал свет, и кто-то резко, нетерпеливо застучал в дверь. Старик караульный вскочил и стал возиться сперва с одним замком, который наконец глухо щелкнул, потом со вторым. Дверь распахнулась, в проеме стоял парень в полувоенной форме, с фонарем в руках. Фонарь освещал блестящие черные ботинки, темные брюки и китель, бросал пятна качающегося света на лицо. Да, это был Ауранг. Сабир узнал его сразу. Свет фонаря скользнул по всему подвалу, по Сабиру, прижавшемуся к задней стене, но сам Ауранг на него глаз не поднял. Он спросил — так же резко, отрывисто, громко, как стучал в дверь:

— Зулейхо... здесь не было?

— Нет, шербачча,— сказал старик,— не было... Никого не было, никто не приходил...

Но Ауранг еще медлил на пороге. Невзирая на эту его нарочитую резкость, была в его, казалось бы, стройной, сильной юношеской фигуре какая-то проступающая в осанке растерянность, неприкаянность... Не Сабиру, в его положении, кого-нибудь жалеть — но он вдруг почувствовал к юноше настоящую жалость. Тот и впрямь, наверное, остался один и ни с чем в жестоком этом мире, заблудился и вконец осиротел в этой человеческой чашобе. Обо мне, думал Сабир, там, за рекой, будет хоть кому пожалеть и поплакать... И вдруг странная, болезненная мысль его пронзила. Даже не мысль — воспоминание. Что сказала Зулейхо тогда, когда они прощались у мотоцикла? Что-то о реке, о реке... Приходите иногда на берег, смотрите на волны... Да, да, что-то такое... Может, и меня в волнах увидите...

— Послушайте, Ауранг!— сказал он громко. Ауранг дернулся, посмотрел на него.— Идите к речке! Есть здесь речка поблизости?.. Так идите к ней! И поскорей... Может, там...

Сабир на мгновение увидел глядящие на него в упор, сверкающие, как два клинка, глаза Ауранга, фонарь резко вильнул, и фигура парня исчезла в черноте. Старик долго возился во тьме, запирая оба замка; потом снова уселся на свое место.

На рассвете его сменили. Уходя, старик посмотрел на Сабир долгим взглядом, точно не хотел расставаться. Новый караульный оказался здоровенным усатым мужчиной; на голове у него красовалась дорогая шапка, зато ноги обуты были не то в старые кавуши, обмотанные тряпьем, не то просто снабжены привязанными прямо к ступням твердокаменными подметками. Он сразу же развел на верхней ступеньке костерок и стал греть ноги. Лицо у него было мрачно-озабоченное, как на поминках.

— С битвы еще не вернулись, друг?..— осторожно спросил Сабир.

Часовой глянул, точно говоря: «С тобой я еще не разговаривал!»— и ничего не ответил. Но недолгое время спустя Сабир ответ на свой вопрос получил: загрели беспорядочные выстрелы — стреляли явно на кладбище, в честь павших. И тотчас со стороны кишлака послышался такой жуткий, нестройный хор плачущих, воющих и выкрикивающих что-то голосов, что он заглушил и выстрелы, и горное эхо. Сабиру сделалось тошно и страшно; здоровяк караульный тоже сидел пригорюнившись, отвернувши лицо к двери, широкие плечи его изредка вздрагивали.

— О аллах!— сказал Сабир негромко.— Это ж надо, какую люди выбирают себе судьбу...

Часовой чуть пошевелился, стало быть, услышал; однако не повернулся. Когда же отгремел последний выстрел и поминальные вопли в кишлаке тоже стали стихать, он вдруг приник головой к двери и глухо зарыдал. Было странно видеть, как плачет этот здоровенный мужчина, но кого он так горько поминает, кто из его близких пал в джихаде, Сабир спросить уже не осмелился.

Впрочем, ему было впору о себе думать. Это туманное утро, которому предстояло стать последним в недолгой жизни Сабир и которое так и началось с погреб-

бальной церемонии, было и само по себе такое холодное и мрачное, что даже не вообразить: где-то ведь сейчас погояя погода, теплое солнышко, небесная синева... Сабир лег, прикрыл глаза. Этой ночью он спал лишь урывками, теперь хорошо было б заснуть, только холод не давал; Сабир старался отогнать, оттолкнуть наваливавшиеся мысли о предстоящем, принялся думать о доме, мысленно разговаривать с матерью, и как-то вдруг вышло, что и мать сама пошла ему навстречу. Она присела рядом, и, как всегда, запахло свежеепеченным хлебом. Что ж вы не сказали ничего, мама, почему не разбудили меня?.. Я бы дров наколот, натаскал... Нет, сынок, сказала мать ему в ответ, это ты прости меня: я ведь не знала, что Чорданахр — такое редкое чудо! Такое попадаетея лишь раз в жизни!.. Что вы, мама, сказал Сабир, с чего это прощения просите?.. Веки у него слипались, но он усилием воли разомкнул их: у изголовья сидела вовсе не мать, а Сумбуль-ая!.. Сказать она, однако, ничего не успела — все заглушил надрывный, громоподобный кашель. Это Гуломали, понял Сабир, но откуда здесь Гуломали, откуда? Он попытался понять, сообразить — и проснулся. Кашель был его собственный. Сабир никак не мог откашляться, пробить дорогу воздуху, всю грудь заложило. Откашлявшись кое-как, он снова понемногу впал в забытье, опять приходил в себя и сызнаова не то засыпал, не то грезил и уже не мог отличить сон от яви. Когда ему казалось, что он очнулся от сновидений, он рассуждал сам с собою, что сейчас надо вспоминать все лучшее, что было в жизни, — минуты счастья, любви, успеха, простой молодой радости. И это вспоминалось, приходило — и тут же проскальзывало мимо, неудержимо уходило из рук, и снова начиналось все сначала, и надвигалось то страшное, что ожидало его тут же, за порогом, на пороге, у изголовья, в нем самом... Я же смирился, говорил он этому страшному, я готов, чего ж тебе еще, дай передышку, отодвинься, исчезни покамест, я ведь твой, никуда не денусь, не надо играть со мной, как кошка с мышью, отойди покуда в эту тьму за дверь, я хочу мать увидеть еще раз, дай насмотреться! Дай насмотреться, мама...

— Мама...

...Резкая боль в плече разом выдергивает его из этого полукошмарного, полублаженного состояния. Его поднимают за больную руку, и вот он уже меж двух во-

оруженных, пахнущих кислым потом людей, один из них — его давешний караульный, тот самый толстяк, шутник, он и сейчас хохочет, смеется своей очередной шутке:

— Мама! Ха-ха-ха!.. Сейчас увидишь свою мать! Хо-хо-хо!..

Его тащат по ступенькам вверх, за ноги цепляются пучки соломы, дверь подвала распахнута, за нею — неожиданно ясный, бог весть когда разгулявшийся день, синее небо, кривые ветки голых деревьев на краю синевы, отчетливые очертания гор, летящие вороны. И — самое страшное: едва уловимые не то гул, не то дыхание огромной толпы, еще ему невидимой, но уже собравшейся, чтобы посмотреть его смерть. Как это можно — смотреть смерть? Какая чушь, какая бессмыслица, будь она проклята, будь проклята...

Но тут — этот готовый уже вырваться истерический крик, длинный, извивающийся, как змея, — он сдерживает его в себе, мысленно хватая обеими руками и душит, он, кажется, победил, крик умер, ноги уже больше не ватные, не волочатся, идут по площади.

Площадь, та самая мощеная площадь, на которой он уже стоял — вчера, кажется? — снова запружена народом, над толпой как-то неопытно висит пар дыханья; люди — вооруженные и без оружия, большею частью нищенски одетые старики в чалмах, дрожащие от холода дети, изможденные, будто тени в чадрах, женщины, и лишь небольшими группками вкраплены пестро одетые бородатые горцы со старинными пуштунскими винтовками за плечами.

С места, где стоит Сабир, видна спускающаяся вниз горная дорога, сбоку от нее — мазанки кишлака и черные дыры пещер, опустелые, как чумной город. На каменном возвышении собралась вся банда, выделяется худощавый Якубхан, как всегда глядящий в землю. Он весь в черном, только чалма зеленая да сверкает словно бы разрезающий его надвое серебряный пояс. С ним рядом — усатые телохранители с обнаженной грудью, священнослужители в золототканых халатах, высокие, подтянутые офицеры.

Собрались как на хашар, думает Сабир. Нет, на хашар их так не соберешь... Ждут. Чего? Неужто так притягательно — видеть, как гибнет в муках человек? Видеть, что умираешь не ты!.. А может, они и впрямь искренне верят, что присутствуют при богоугодном

деле, ну да, это им вдолбили в головы, он для них сейчас — жертва, приносимая во искупление их собственных тяжких и неизбывных страданий... Он проходит взглядом по этим несчетным, кажется, лицам — нет, не видно в них сочувствия, даже настоящего интереса не видно, даже и ожидания, только равнодушие. Тогда зачем? Во имя чего, господи?.. Но прозвучавший голос Якубхана заставляет толпу вздрогнуть и окончательно замереть, словно под придавившим непосильным грузом. Тишина становится пронзительной — и ее разрезает тонкий голос козлотородого маулави, провозглашающего фетву. Сабира хватают под руки и приставляют к деревянному щиту, руки и ноги стягивают веревками, и когда его подтягивают на этих веревках, «распинают» на стенке, больное плечо начинает гореть невыносимой болью, он стонет, больше не сдерживая себя. Голос маулави еще звучит, словно острой иглой протрачивая слух, но слов разобрать Сабир не может, он вообще, кажется, уже ничего не воспринимает, кроме жгучей боли. Ему привязывают и ноги, давление на больную руку становится чуть меньше, но пот по-прежнему катится градом, заливая глаза. Голос маулави смолкает. Воцаряется тишина, заполненная не сдерживаемым больше дыханием толпы. Боль все же такая, что нет сил терпеть. Господи, господи, хоть бы скорей все кончилось... Может, помолиться? Но кому?.. Легкой жизни я просил у бога... легкой смерти надо бы просить... Кто же это сказал?.. Все равно... Глупо, глупо! Казнят за безбожие, а в голову лезут строчки о божестве... Ох, боль какая...

И снова звучит голос Якубхана:

— Люди, кто из вас хочет выполнить святое повеление аллаха?!

Голос смолкает, словно вытесненный оглушительным молчанием.

И снова:

— Это — богоугодное дело для храброго мусульманина! Ну, кто?..

И снова молчание. А если... если никто не откликнется?..

Откликается молодой, чем-то знакомый голос:

— Прикажите мне, о мой пир!

Сабир открывает глаза. Это... это же Ауранг!.. Значит, все-таки Ауранг...

— Машиндар ему!— гремит голос Якубхана. Теперь все голоса гремят, уходя в громадную пустоту внутри Сабира. Кто-то кладет в руки Ауранга автомат «УЗИ».

— Браво, шербачча!— гремит с возвышения, но это не Якубхан. Кто-то из офицеров...

Ауранг поднимает автомат, Сабир видит его безумные горячечные глаза, черную, гипнотизирующую дыру дула. Сейчас... сейчас...

И вдруг Ауранг стремительно поворачивается влево и, что-то выкрикивая, начинает стрелять по тем, на возвышении. Они падают как скошенная трава — Якубхан, его телохранители, маулави, офицеры, но автомат все трещит; толпа, как одно огромное существо, пятится назад от выстрелов, приходит в чудовищное движение, крики, рев, какие-то пуштуны срывают с плеч винтовки, но стрелять в этой людской гуще невозможно. Автомат смолкает, Сабир видит, как Ауранг бессильно опускает руки, кажется, вот-вот упадет, но нет, не падает; кто-то подходит к Сабиру и осторожно рассекает ножом распявшие его веревки, Сабир как куль сползает, валится на землю, и знакомый старческий голос говорит над ним негромко:

— Ну вот, очистился...

Он поднимает глаза: это давешний караульный, тот старик из Пайки, он вкладывает в ножны на поясе обычный столовый нож и говорит Сабиру:

— Встать можешь?

— Н-нет, отец...

Старик поворачивается и говорит не повышая голоса:

— Эй, помогите отнести его на арбу...

— Сейчас, сейчас!— отзываются голоса.— Идем Низаметдин-бобо...

Ну да, правильно! В памяти Сабира встает голос Садыка Сардора: «Вас ведь зовут Низаметдин, не так ли? Я знал вашего отца...»

Сабира несут вниз, к дороге. Тем временем снова возобновляется стрельба, крики, конский топот, доносится отдаленный взрыв — похоже, гранату бросили. Но Сабир не вслушивается; его понесли — и кладут в четырехколесную арбу, он погружается в душистое, колкое сено с тем давним, забытым уже ощущением сладкой безвольной беспомощности, какое испытывал, наверное, ребенком, когда взрослые укладывали его,

сонного, в постель; его жизнь в руках этих добрых людей, что его спасли, ну и хорошо, ну и спасибо, а ему бы заснуть, сил больше нет...

Но он не засыпает. Стрельба вроде умолкла. Поблизости слышится голос старика Низаметдина: «Не бросай оружие, друг, еще пригодится!..» Надвигается сзади топот множества ног. И снова голос Низаметдина:

— Давай, друг, давай, прочти-ка еще раз Указ нового правительства, пусть послушают, кто сам не слышал...

Подходят, тяжело дыша, люди с какой-то нелегкой ношей и рядом с Сабиром кладут в сено еще одного раненого.

— Эй, подвинься-ка! — говорит раненый голосом Ауранга. Это и есть Ауранг. Одна его нога — без сапога, замотана тряпкой, сквозь нее проступила кровь, и брючина тоже в крови.

Сабир подвигается.

Рядом с арбой собралось множество людей, слышен шум многих дыханий, гул негромких разговоров, потом кто-то кричит: «Эй, люди! Слушайте!» — и начинает заунывно, по складам, зачитывать Указ об амнистии. Едва он кончает, стихшая толпа снова взрывается громким гомоном. И опять слышен голос Низаметдина:

— Теперь по домам, дехкане! Но оружия не бросайте, не бросайте, пригодится...

Кто-то садится на передок арбы — это все тот же старик Низаметдин, потому что раздается его голос:

— Н-но... пошла, пошла!..

Арба трогается, и люди — тоже, скрип колес почти не слышен из-за чавканья дорожной грязи под множеством ног.

Сабир и Ауранг лежат в арбе рядом, молча.

Сабир понимает, что должен заговорить — тот спас его от казни, жестоко рискуя собственной жизнью! — и не находит слов. Переплетенье событий, вольно и невольно, связало их, кажется, нерасторжимо — и в то же время точно колючей изгородью отделило друг от друга. Но и молчать тоже больше нельзя, оскорбительно, и Сабир спрашивает с трудом, сдавленно:

— Тебя... куда ранило?..

Ауранг молчит еще некоторое время. Потом отвечает:

— В ногу.

— Болит?..

— Болит. В боку отдает.

И снова такие необходимые слова благодарности не даются Сабиру, не отыскиваются. Оба они опять молчат некоторое время. Потом Ауранг вдруг спрашивает, не поворачивая головы:

— Как ты догадался, что она к реке пошла?

— Не знаю... подумалось... А что?— говорит Сабир, и сердце у него замирает в дурном предчувствии.— Нашел?— спрашивает он дрогнувшим голосом.

— Нашел...— тускло отвечает Ауранг.

— Ну-у?..

— Нашел, кто видел... как... как она в воду бросилась... платок остался... отдали мне... ее платок...

— Что ж... что ж не остановили?

— Она ругала всех... осыпала проклятьями... страшными такими! Люди отвернулись... Она...— Он вдруг поворачивает к Сабиру лицо, глаза его полны слез.— Она из-за тебя это сделала... Из-за тебя!

Ненависть ли звучит в этом вскрике? Нет, только боль, безысходная, отчаянная, ревнивая боль...

И снова, как тогда, когда Ауранг пришел к подвалу, только несравнимо сильнее теперь, обжигает Сабир жалость к этому мальчику, потерявшему все-все, что могло быть дорого в этом мире: родных, любовь, веру, которую исповедовал... Да он же мне дороже брата, остро осознает вдруг Сабир, он же мне жизнь заново подарил! Больше брата!.. И он касается рукой мгновенно вздрогнувшего Ауранга и говорит:

— Аурангзед... братишка! Слышишь, братишка?.. Ты мне теперь... брата ближе! Дороже бра...— Судорога перехватывает ему горло.

Ауранг снова поворачивает к нему залитое слезами лицо:

— Я к ним... в горы... я к ним из-за нее пошел! Только из-за нее!!.. А они... отдали... замучили... а-а-а!..

И он начинает плакать навзрыд.

Не оставлю его, думает Сабир, все нас связало — смерть, двойное мое избавление от нее, горькая, перепутавшаяся судьба, наше общее избавление... Никогда его не оставлю, он будет со мной и вправду как младший братишка, кусочек меня самого...

Арбу трясет, их тяжело подбрасывает иной раз, вместе с сеном и подложенной тряпкой, тряпка съехала, лежит уже не вдоль, а поперек арбы; и Сабир чувствует

под правым плечом что-то влажное. Тряпка напиталась кровью. Но что это кровит — его растревоженное плечо или рана Ауранга?.. Пока не приедем, все равно не разберешься, думает Сабир. И вдруг ему приходит в голову: это же их кровь смешалась, теперь они по всем законам кровные братья — этот раненый обездоленный мальчишка и он! И снова горячая волна прокатывается по нему — жалости, понимания, любви... да, да, любви! Нет, никогда не оставлю его...

Люди рядом с арбой шли сперва быстро, потом стали уставать, теперь арба понемногу обгоняет их, догоняет ушедших вперед, и вот где-то впереди слышит Сабир слабенький, трясущийся от ходьбы, жалобный не то вой, не то плач, слившийся в одну прыгающую ноту: кто-то плачет, не напоказ, не громко, а от безудержного горя, от бессилия, и даже не разберешь кто: мужчина, женщина... Плач все ближе, вот и Ауранг услышал, приподнялся, вслушивается.

— Это же отец Зулейхо! — говорит он вдруг, всмотревшись.

— Да ты что! — Сабир не может поверить, в его памяти это — крепкий здоровяк, самодовольный, уверенный в себе хитрец.

Но плач уже прямо рядом с арбой, и Ауранг окликает:

— Шокалон-ота!

О господи, да Сабир в жизни бы его не узнал теперь — сгорбившийся седой старик, комья дорожной грязи в нечесаной бороде, по лицу неустанно текут слезы, нос покраснел — то ли от плача, то ли от простуды, одежда порвана... Шокалон перестал плакать, подслеповато вглядывался в них, взявшись одной рукой за край арбы и еле поспевая за ее ходом.

— Шокалон-ага, — сказал Сабир, — не помните меня? Я друг племянника вашего, Гуломали, мы с ним были у вас в усадьбе...

Шокалон кивал, явно не вспомнив, потом сказал: «О, Гуломали!..» — и снова заплакал.

— Давай подсадим его в арбу! — сказал Ауранг, и они вдвоем, упираясь один ногами, другой — свободной рукою, посадили старика.

Шокалон был жалок, но жалости к нему Сабир не испытывал. В его памяти вдруг снова встала Зулейхо, такая, какой она была в его приезде в Пайки — юная, необычайная красота, пронизанный сияньем цветок,

в котором все — трепет, все — аромат, грация, неповторимое совершенство форм, теней, линий... И вот этот раздавленный теперь человек — из простой жадности, из бессмысленной корысти — кинул ее, родную дочь, в безжалостный ад позора и горя, погубил, толкнул к смерти... Нет, не будет ему ни жалости, ни прощения. А в нем, Сабире, горе по Зулейхо впервые налилось в полную силу, до того заслоненное, отодвинутое неожиданностью собственной навалившейся смерти, ужасом предстоящей казни, а потом бессилием, опустошенностью истраченной до предела души... Это горе, эта тоска поднимались в нем, как река перед запрудой, и казалось необходимым, чтобы боль прорвалась, хлынула вон, слезами ли, криком, но не мог он показать ее ни этому убитому свершившимся старику, виновнику всего, ни бедняге Аурангу, навьлет раненному жизнью; он должен быть сильнее их обоих и своей беды.

— Шокалон-ага, что ж вы не спросите о Гуломали?.. Я его видел, и он был очень болен...

— О, Гуломали!— снова простонал Шокалон.— Я виноват... мой грех... мой...— И он снова заплакал. Говорить с ним было бессмысленно.

К вечеру впереди завиднелись голые тополя Пайки, полупрозрачные, как призраки минаретов. Люди, уставшие, мрачно замолкшие, теперь быстрее зашлепали по грязи, стали снова нагонять арбу, в них чувствовалось нараставшее напряжение. Они возвращались домой из сырых леденящих пещер горного лагеря, из явной безвыходности — но кто и что встретит их на пороге родного дома, при входе в родной кишлак?

Смерклось. На небе появилась первая звезда. И Сабир, глядя на нее, вспомнил вдруг, как когда-то дома, в родном поселке, они, мальчишки, собирались в такое время и затевали шумный спор: что первым покажется нынче на небе — звезда или спутник?..

Со стороны Пайки донеслись отдаленные голоса, чьи-то тени замелькали впереди. Послышался резкий окрик, и вся толпа возвращавшихся стала останавливаться, сгрудившись на дороге в плотную массу, с арбой впереди. Забряцало оружие.

— Стойте!— крикнул вдруг Ауранг, с трудом поднимаясь на ноги.— Стойте! Надо предупредить...— Он выпрямился в арбе, как на костыль опираясь на свою винтовку, и закричал во весь голос:— Эй! Жители

Пайки! Не стреляйте! Не стреляйте! Это ваши односельчане... Идут с повинной по указу правительства...

Он хотел что-то добавить, но с темной дороги грянул выстрел. Ауранг покачнулся, издал странный звук, словно икнул, и начал заваливаться назад. Сабир едва успел подхватить его и повалился вместе с ним на дно арбы.

Люди вокруг замерли, а оттуда, из-за темных деревьев, послышался громкий отчетливый голос:

— Дрей! ¹ Если пришли с повинной, бросьте оружие! Все оружие бросайте! Все!

Старик Низаметдин слез с передка арбы, повернувшись, молча посмотрел на упавшего Ауранга, вытащил из-под него винтовку и стал выбираться на пустую дорогу; сделав несколько шагов в этой пустоте, он швырнул винтовку наземь. Толпа очнулась, задвигалась, бросая оружие, слышались бряцанье, звон, глухие удары прикладов, всхлипы грязи; а Сабир, еле выкарабкавшись со дна арбы, из-под недвижимого тела юноши, наклонился к нему, пытаясь услышать сердце, но уже по очевидной безжизненности тела понял все. По этой безжизненности и по тому тихому, остановившемуся отчаянию у себя внутри, которое словно говорило — да, умер, конечно, умер, иначе и быть не могло, только смерть, смерть, смерть без конца и без края, гибель всех, всего вокруг... Словно он из последних сил пытался выплыть из заглатывающей пучины, хватаясь за самое воду, и эта последняя смерть свалилась на него, как тяжкий, уже неодолимый груз, окончательно поволокла на дно... Бедный, бедный Ауранг!

Люди проходили мимо не глядя.

Впереди, на дороге, выступил из-за деревьев отряд пайкийцев, от него отделился высокий человек, пошел, хромя, к куче наваленного оружия, обошел ее, оглядел и сказал громко:

— Это другое дело! Теперь можете проходить!..

Голос был характерный, хорошо поставленный — громкий и в то же время интеллигентный; его трудно было не узнать — он принадлежал, конечно, тому человеку, что первым выступил на джирге в пользу Гуломали, — учителю Нурмухаммеду Пайки. Стало быть, теперь он тут главный?.. Отряд и толпа двинулись друг

¹ Дрей! — Стой!

другу навстречу, смешались, послышались приветствия, горестные восклицания, плач, смех... И вся людская масса потянулась в кишлак. Оружие снова разобрали, дорога пустела.

Старик Низаметдин накрыл лицо Ауранга своим поясным платком, и они двинулись за всеми. На кишлачной площади, перед оташханой, их встретил тот же учитель, поздоровался с Низаметдином, спросил:

— Инженер с тобой?

— Со мной...— сказал Низаметдин,— он раненый... в арбе, с убитым...

Учитель шагнул к арбе:

— Инженер! Черт возьми, я бы вас и не узнал... Сейчас вас устроят...

— А его...— начал Сабир, но учитель прервал:

— Не волнуйтесь, к утру все сделаем как надо!

Площадь была темна, только из оташханы падал слабый свет — не то фонаря, не то очага; и все можно было различить знакомые очертания мечети, минарета, печных труб над черными крышами. Сабир взяли под руки, отвели в оташхану; на широком деревянном настиле расстелено было большое полосатое одеяло, поверх лежали набитые ватой валики. В очаге горел огонь, рядом лежало приготовленное топливо, кипела вода в кумгане. Едва Сабир улегся, снова появился учитель.

— Вот, инженер, принес лепешку, больше ничего сейчас нет, не обессудьте... Ну-ка, пейте чай! Утром найдем лекаря...

— Ох, учитель, учитель!— сказал Сабир.— Знали б вы, что натворили! Кого убили... Этот парень... Это же он поднял весь лагерь, перестрелял всю головку... спас меня от казни... Он людей домой вернул! А вы... его... Он же кричал: «Не стреляйте!»

Лицо учителя напряглось, стало жестким.

— Нам уже кричали такое...— сказал он.— А потом... перерезали полкишлака... Вы не видели мертвых женщин с детьми на руках, чьи тела запрудили арык... не видели мертвых детей в полях, в пору сева проса... Не видели!— Он помолчал, потом сказал мягче:— Поторопился кто-то, руку не удержал... никто не знал, никто не хотел... Считайте — шальная пуля. Ладно, пейте чай и постарайтесь заснуть. Доброй вам ночи... вас тут будут охранять на всякий случай — а утром найдем лекаря. Дела у меня в кишлаке, извините...

На рассвете появился Гужсохта. Должно быть, его где-то разыскали и привезли. Одет он был так же скудно, как и тогда, летом, и такой же темный, тощий, неразговорчивый. Он открыл и осмотрел рану, промыл каким-то остро пахнущим раствором, приложил пропитанную прокаленным хлопковым маслом вату и туго перевязал белой материей.

— Что там у меня, табиб?— спросил Сабир, морщась от боли.

— Повезло...— сказал Гужсохта.— Кость цела... пуля навывлет... Задело!.. Чистое все!..

— А вы, табиб, еще придете?

— Не знаю... Если фидаи эти... не занесли сюда чего-нибудь...

И он ушел.

Немного погодя пришел неопрятный цирюльник, из тех, какие сидят обычно на улицах со всем своим парикмахерским припасом, палочкой чистят уши прохожим, стригут, бреют. Его, конечно, тоже прислал учитель. Он вытащил точило, ножницы, бритвенные приборы, мыло с мыльницей и еще множество всяких вещей, разложил все это рядом на деревянном настиле, потом произнес «бисмилла» и начал массировать Сабиру голову, лицо, подбородок. Цирюльник был старый, тощий, но пальцы его сохраняли недюжинную силу. Кончив массаж, он легко, почти незаметно для Сабира сбрил его густые слипшиеся волосы, усы, бороду. Сабиру, неожиданно для него, стало заметно легче, и когда цирюльник ушел, он решил встать, оделся. У оташханы собрались старики — любители поговорить, его уважительно приветствовали, угостили чаем с козьим молоком; потом он вышел на площадь, обмыл сапоги дождевой водой. Воздух был свежий, холодный, напоенный влагой. Остатки тумана вились меж деревьями. Он пошел по мощеной улице. У длинного невзрачного здания без окон разгружали застрявшую в грязи обочины арбу — снимали светло-желтые бумажные мешки. Подходили люди — старики, женщины, дети, молодежь, брали на плечо по мешку и уносили кто куда. За разгрузкой арбы наблюдал, стоя в стороне, старик Низаметдин. Вместо вчерашнего тряпья на нем были чистые брюки, рубашка, камзол.

— Здравствуйте, Низаметдин-бобо!

Старик обернулся, его морщинистое лицо засияло улыбкой.

— Здравствуй, да будет над тобой милость божья!.. Ну как самочувствие?

— Спасибо, бобо, ничего! Выспался, отошел малость...

— Ну и слава аллаху...

— Что это разбирают, бобо?

— Химия, сынок, химия... Привезли, видишь, из Мазари-Шерифа, с машинханы! Правительство выдало в помощь крестьянам...

— А что ж вы не берете?

— Это тем, кто землю получил, сынок...

— А вы?

— Я — нет, сам знаешь!..

— А эти все — чью землю получили?

— Махмубшаха. По шесть джарибов на душу...

— А сам Махмубшах где?

— Здесь, говорят. Тут и живет. Не стал гробить свою и чужую жизнь из-за имущества, истинный мусульманин оказался, умный человек...

— Это замечательно!.. Но ведь и вы, бобо, тоже бедный человек, я знаю! Вам бы тоже эти шесть джарибов не помешали...

У старика вдруг задрожали губы, из глаза выкатилась слеза.

— Нет, сынок, ничего мне не надо... лишь бы вину мою простили, не поминали мне и детям моим, а уж я бы власти за то до конца дней своих был благодарен... — Он медленно повернулся и пошел прочь, приложив к глазам свисавший конец чалмы, а Сабир глядел ему вслед. Удивительный старик! Если б можно было помочь ему, наделить всем необходимым для спокойной жизни на свете — землей, водой... Но ведь это, подумал он, и есть твоя жизненная задача! Никто ее не снимал — напротив! Может, ради этого и люди эти, одни — рискуя жизнью, другие — отдав ее, как Ауранг, спасали тебя от неминуемой казни? Чтоб ты решал эту задачу: решал для них — и для себя... Ведь иначе, вне этого, что бы ты был в сей жизни? Так, ноль без палочки!.. И он вновь, как уже не раз прежде, вообразил себе воды Аму, растекающиеся по Чорданахру, по землям всего афганского севера...

Да, подумал он, надо идти в усадьбу Шокалона. Хоть и трудно на это надеяться, а вдруг есть все же какое-нибудь известие о Гуломали?.. Он почувствовал, как снова гулко и болезненно заколотилось сердце.

Улица, ведущая к усадьбе... тополиная роща... Да ведь там за каждым деревом, за каждым углом таится призрак его погибшей любви, на каждом шагу станет мерещиться — вот-вот явится, выйдет Зулейхо... Нежная, прекрасная!.. Исчезнувшая...

Дорога была ему слишком знакома, и он шел почти зажмурив глаза, стараясь не видеть ничего вокруг, не провоцировать памяти. Вот они, двустворчатые тяжелые ворота, как обычно распахнутые настежь... Но, миновав их, он остановился в недоумении, в ужасе. Его встретила зияющая пустота. Где же все — ухоженные палисадники, клумбы, супа, колодец, коновязь, огромный старый тутовник?.. Где все эти аккуратные здания, за которыми шелестит сад, сури, айваны? Пахло гарью, плесенью, и — ни домов, ни сада, лишь торчали кое-где обгорелые останки нескольких тополей. Все порушено начисто, сровнено с землей, уничтожено, точно и места самого нет, где она жила, двигалась, смеялась, выбежала ему навстречу, изливая неповторимое свое сиянье... Точно и самого места этого нет на земле!

Сабир стоял в отчаянии. Он еще раз огляделся — и заметил поодаль сидящего на земле человека. Это был дядюшка Шокалон. Такой же, как и вчера, грязный, оборванный, обросший нечесаной бородой и волосами, в затрепанной, испачканной черным, почти потерявшей начальный цвет чалме. Шея какая-то кривая, обмотанная грязной тряпкой (да у него чирей, подумал Сабир). Неужели он так и просидел здесь, на земле, всю ночь?..

— Дядюшка Шокалон!

Шокалон с трудом повернул к нему голову. Глаза у него были красные, но сухие. Он больше не плакал. Похоже, он узнал Сабира.

— А-а,— сказал он,— ты-и... Пришел!.. Видишь? Все-е... все сгнуло... ничего нет. Ничего! Никого... Говорили мне — не верил. Во-от... Ты к кому пришел? К Гуломали? Нет Гуломали. Нет Гуломали. А он же мне все предсказывал... Не послушал я. Не послушал! Посмеялся. Проклят я, проклят!

— Кто ж все сделал — сжег все?

— Сжег... кабы только сжег. Поубивали всех... все-е-ех!— Он не заплакал, а как-то заскрипел пересохшим горлом, как бадья в сухом колодце.— Всех, кто сразу со мной... с ними не пошел!

— Да кто это сделал, кто?..

— Они — кто ж еще! Фидаи... проклятые! И там я, вишь, не угодил... так они и там... и тут всех... под ноготь!.. А я — живой... меня нарочно... живым оставили! Лучше б прикончили... Лучше б меня, чем детей! — Он стал бить себя кулаком по лбу.

— Дядюшка Шокалон... дядюшка! Успокойтесь... не надо так...

— А как? — кричал Шокалон. — Ка-ак? Это ж я сам... своими руками... все-ех... на смерть отправил! Спасти хотел — загубил! Загуби-ил...

Смотреть на это сил не было. Сабир попробовал поднять его, увести отсюда, хотя представления не имел — куда вести, кто его приютит... Но Шокалон и не желал уходить, не позволил даже стронуть себя с места. Пойти поискать кого-нибудь, подумал Сабир, но кого? Как ему помочь?.. Оглядываясь на Шокалона — тот сидел, подвывая, раскачиваясь, — Сабир пошел обратно к воротам, вышел на улицу, надеясь кого-нибудь встретить. Но улица была пуста. Только шагов через двести, на поле, выходящем прямо к улице, он увидел одинокого, средних лет дехканина. Тот, привязав вола на меже, пропалывал хлопчатник, а сам то и дело приподнимался, чтобы оглядеться. К двум связкам стеблей была прислонена винтовка. Распрямляясь, дехканин каждый раз хватался, как старик, за поясницу. Он и на Сабира посмотрел было с опаской.

Нет, думал Сабир, вихрь войны смел с лица земли не одну усадьбу Шокалона, со всеми, кто жил в ней, радостно или скудно, но жил, трудился, надеялся на лучшее завтра... Никого здесь теперь нет, кого война бы не затронула. Говорят: война справедливая, война несправедливая... Так сказать легко или написать, но достаточно увидеть все это воочию, испытать самому — и поймешь: справедливой войны вообще быть не может! Она не разбирает ни правых, ни виноватых, а только разит и калечит; ей нужны дни или часы, чтоб уничтожить вековые плоды рук человеческих! И пусть даже победит в итоге справедливое дело — это все же итог только арифметический: погибшие жизни, непрожитые никогда года — разве их восстановишь?.. Э, да что это с тобой — подслушать твои мысли, подумаешь: ты какой-нибудь волосатик с абстрактными идеями о добре и зле! Ты же нормальный человек — практик! Ну, повезло тебе, родился и жил в годы мира, в мирной стране. Но ведь мир сам уцелеть не может, его защищать

надо! Так что ж, сказал он себе,— воевать за мир? Глупо получается!.. Да, и так приходится. Давно сказано: смертью смерть победив... В сущности, подумал он вдруг, то, что я только что видел (он оглянулся назад, но того дехканина в поле уже не было видно), тот оглядывающийся землепашец с прислоненной рядом винтовкой: разве это не образ работы ради добра во что бы то ни стало, под страхом и угрозой гибели?.. И теперь, когда он уже только мысленно представил себе эту картину, что-то в его голове вдруг прояснилось. Что-то даже не сегодняшнее — давнее. Он вспомнил, как злился на Гуломали, когда тот оставлял работу на базе ради своих революционных дел и митингов. Нет, видно, одно без другого и впрямь до цели не доберется. Разве не такой же когда-то — полной несчетных одновременных дел, изнурительной и опасной — была жизнь его собственной великой страны?..

Кустарник справа от дороги расступился, показались гончарные печи, испускающие слабый черный дым, за ними виднелось кладбище, над земляными холмиками и могильными камнями развеялись зеленые тряпки. Неподалеку от дороги собралась небольшая группка стариков — человек семь, не больше. Кого-то хоронили. Неужто Ауранга?!.. Как же он мог забыть об этом! Впрочем, думал — его предупредят... Придерживая рукой раненое плечо, Сабир побежал к ним — мимо кустарника, печей, огибаая могилы.

Табут — погребальные носилки — стоял на краю свежерытой ямы. На него понуро глядели несколько опирающихся на суковатые палки стариков, самый старый из них, очевидно, собирался говорить. Близ носилок стояли учитель Нурмухаммед Пайки и Низаметдин-бобо. Они взглянули на Сабир с укоризной, словно говоря: «Где ж вы были??»

— Мусульмане!— сказал старейшина. Он, как и прочие старики, был весь в белом, белая чалма — огромная, свежайшая, борода снежной белизны.— Покойный был нездешний... родом, говорят, из Мазари-Шерифа, упокой аллах его душу. Никому из вас он не задолжал, нет?.. Тогда испрошу согласия народа...

— Здесь есть родной ему человек, ота!— сказал Сабир. Он едва отдышался от бега.— Я его названный брат... Его имя Аурангзеб, а покойный отец его был доктор Сухайль, прославленный ученый, известный в Афганистане...

Собравшиеся глянули на Сабир с удивлением — особенно учитель. Потом невольно перевели взгляд на табут с телом покойного.

— Спасибо!— сказал старейшина.— Спасибо, названный брат. Довольны ли вы были братом своим, Аурангзэбом?

— Да, да!— сказал Сабир.— Тысячекратно доволен!..

Старейшина удовлетворенно кивнул и затянул молитву. Остальные старики, и Низаметдин-бобо тоже, к нему присоединились. Только учитель и Сабир стояли молча, с опущенными головами. Подошел могильщик, тело опустили в яму, все бросили вниз по горсти земли; Сабир тоже. Когда он наклонился, чтобы взять свою горсть, странное чувство раздвоенности овладело им на мгновение. Ведь это я должен был там лежать!— сказал он себе. И вместо меня он принял пули... «Но ведь не тогда же!— выскочила из-за угла услужливая охранительная мыслишка.— Не тогда, когда выручал тебя!» Сабир гневно вздрогнул, устыдясь самого себя, и мысль, как мышь, ускользнула обратно.

— Хорошо, что успели!— говорил прихрамывающий с ним рядом учитель. Они уже шли с кладбища.— Еле-еле собрал людей на похороны... Значит, вы давно его знали?

— Нет, учитель,— сказал Сабир.— В сущности, я его видел всего дважды; нет, трижды...

— Как! Но ведь вы сказали...

— Да. Все правда — и то, и другое. Один раз он едва меня не убил, в другой — спас меня, рискуя собственной жизнью... Долго рассказывать, но, поверьте, так было.

— Запутанный этот мир...— сказал учитель.

— Запутанный... Наверное, потому, что ни у кого нет времени распутать и разобраться...

— Да, времени мало. Между прочим, я утром искал вас не только из-за похорон: вас ведь ищут!.. Пришло срочное письмо из Кабула... Если, мол, знаете, где он, известите!.. Завтра ждем еще одного гостя.

— Кого это?..

— Главного чиновника водных сооружений Санг-касы.

— Главного чиновника?

— Да. Так там написано.

— А имя его как?..

— Понятия не имею. Бог даст, завтра узнаем!..

«Ну и ну,— думал Сабир.— Уже появилось такое понятие — «водные сооружения Сангкасы!» «Главный чиновник»... Хорошо, конечно, только вот неизвестно, что за чиновник. И как с ним сработаться... Ведь работа еще только у истока, многое надо начинать сызнова. Ах, будь с ним Гуломали! А что?.. Товарищ главный чиновник Коргар! Отлично звучит... Только об этом смешно и думать. Он вспомнил, каким оставили они Гуломали у него в комнате... он и Булбулшо... Ох, еще ведь и Булбулшо! Что за чудовищная круговерть! Сколько времени-то прошло с той поры, с Кабула? Чуть больше недели! Всего-то! А кажется — год... Год, который у него на глазах поглотил столько жизней! Похоронил ли кто-нибудь Булбулшо, этого добродушного и верного толстяка, нежного отца двух малышей, которые даже и вспомнить отца не смогут?..

Остаток дня Сабир провел лежа в оташхане: он ощутил вдруг крайний упадок сил, снова ныло плечо. С наступлением темноты, напившись чаю, он задремал было, но вскоре проснулся — и промаялся всю ночь, так и не сомкнув глаз до утра. А утром, вымотанный бессонницей, отправился по кишлачным улицам. Морозный воздух освежил его, да и ожиданье подбадривало: вот-вот, казалось, появится этот таинственный главный чиновник!.. Но день прошел — чиновник так и не появился. Учитель, невзирая на занятость — кроме школы, на его плечи легли дела всего кишлака, — трижды приходил навестить; он явно волновался, ожидал столичного гостя. Гость не приехал, однако, ни на второй, ни на третий, ни на четвертый день. Время в ожидании тянулось мучительно медленно, как ни коротки были сами зимние дни, и Сабир решил наконец, что отправится в Кабул. Но как, на чем? Такую поездку верхом он, со своей раной, не выдержит: машин нет и в помине; Сабир попробовал выяснить, куда делся «бурибхай» Булбулшо, но ничего не узнал. Оставалось пока то же ожидание, и на пятые сутки, вечером, послышался наконец шум мотора. Когда он приблизился к майдану, Сабир уже выскочил из оташханы навстречу. Ломая лед в лужах, машина въехала на площадь и остановилась. Это был пестрый «бурибхай» Булбулшо, не узнать его нельзя было. Дверца отворилась, вышел худощавый человек в меховой шубе. Сердце Сабирова нетерпеливо билось. Он стоял в ожидании. Человек

в шубе был не похож на Гуломали — ни прежнего, ни нынешнего, больного, — но шагал как-то очень знакомо. Войдя в пятно света от фонаря, он широко распахнул руки, раскрывая объятия, — и только тогда Сабир узнал его... Это все-таки был Гуломали!

Они обнялись и прижались друг к другу, словно пытаясь вытеснить все беды, что пролегли меж ними за эти без малого две недели. Потом отодвинулись, разглядывая друг друга.

— Да ты молодец! — сказал Сабир.

— Я — да... А вот ты вроде не очень-то... Ранен?

— Да-а... немножко...

— Ну вот! Ну вот! Значит, недаром я получил за тебя... как это у вас называется?.. Вы-го-вор...

— За что?

— Как за что? За то, что отпустил тебя в такое опасное место... Слава аллаху, ты жив! Я уж боялся... такие поползли слухи... Слушай, что тут было? И где Булбулшо?

— Булбулшо... Нет Булбулшо...

Гуломали помрачнел.

— Да, — сказал он, помолчав. — Недаром мне за тебя влетело...

— Но ты-то сам, — Сабир тронул его за рукав. — Ты-то сам как выкарабкался? Никак не ожидал тебя сейчас встретить! По правде говоря, я думал, тебя надолго упрячут в больницу...

— А это все ты! Твой врач из посольства!.. Просто чудо-доктор!.. Но что же все-таки здесь было?..

— Это, брат, надо сесть и долго рассказывать... Невеселые дела...

Гуломали внимательно на него глянул:

— Ну, если долго рассказывать, тогда потом...

— Зайдем выпьем чаю!

— Нет, для чая нет времени. И так счастье, что я тебя здесь сразу нашел... Думал, придется искать да искать... Мы опаздываем! Бери вещи — и поедем...

— Мои вещи — все на мне...

— Ну, тогда — в машину!

Гуломали так и не выключил мотора. Сзади сидели двое вооруженных людей. Они молча кивнули, подвинулись. Гуломали вытащил откуда-то из-за их спин полушубок и дал Сабиру. Сабир, поморщившись от боли, сбросил с себя грязный ватник, кинул его на помост оташханы. Потом влез в полушубок, тот приятно, по-

домашнему пах овечьей шерстью, в нем сразу стало уютно, надежно. Гуломали сел за руль, Сабир — рядом, машина тронулась, сделала круг по площади, светом фар, словно в панораме, вырывая из темноты стены окружающих домов, выехала обратно на знакомую мощеную улицу и вскоре покатила по темной неровной дороге.

— Так за что ты получил выговор,— спросил Сабир,— за меня или за технику?

— За тебя, за тебя!.. А что... технику... всю?..

— Всю... Вы что ж, там этого не знали?

— Догадывались... Царандоевцы, что пригнали в Кабул этот «бурибхай», слышали вдали взрывы... и стрельбу... Значит, все? Всех?..

— Ну, не всех... Я же, видишь, рядом с тобой сижу...— И, пока машина, трясаясь и подпрыгивая, мчалась через ночь, Сабир рассказал всю трагическую историю своей поездки.

Гуломали сидел молча, сжав зубы, вцепившись в руль, словно в рукоять оружия. Сабир, кончив рассказ, тоже замолк.

— Ты к жене Булбулшо... не заезжал?— негромко спросил он после долгой паузы.

— Нет... не догадался. Да и не успел бы...

— Плохо, товарищ Коргар...

Гуломали на него покосился — видно, хотел понять, в шутку или всерьез такое официальное обращение. Но Сабир и сам уже не знал. Ему вспомнился энергичный добряк... вот за этим же самым рулем... и как он говорил о своих ребятах...

— Ты не представляешь, сколько всего навалилось...— Тон у Гуломали был покаянный и мрачный.— Мы ведь начали сбор людей для стройки... Сборные пункты — в Кабуле и Мазари-Шерифе... А записалось всего меньше ста человек... Это записалось, а кто еще из них впрямь работать будет... И ты пропал! И еще лечение... Спасибо, что вытащили, а то б я не мог и... не мог и ходить... Но времени это тоже требовало, сам понимаешь... И проектировщики! И министерство... А главное — специалистов для стройки нет! Ну ни одного... Решили было обратиться в ваше посольство, попросить помощи, но ведь как обратишься, если ты пропал... по нашей неосторожности... по глупости! Один был — и того загубили, как тут новых просить?.. Словом, куда ни кинь...

— Ладно,— сказал Сабир,— все понятно... Хватит каяться. А главный инженер у тебя уже есть... будет?

Гуломали глянул на него благодарно, точно получив прощение.

— Да нет же!— воскликнул он.— Я и об этом с тобой посоветоваться хочу...

— Что ж советовать, если никого нет... Ладно, поговорим. Куда мы едем-то?

— В Мазари-Шериф!

— Вот как?..

— Ну да... Там организуем главное управление.

— Так ты и есть главный чиновник?

— Что-то вроде этого... Но сначала заедем к Сардору.

Сабир засмеялся, по-доброму, с каким-то внутренним облегчением:

— Благословение хочешь получить?

— Угадал...

Лицо Гуломали было теперь худое, оно не напоминало больше о прежнем крепыше, но и не казалось высушим, утратившим соки, словно ткань умирающего растения, как две недели назад, в окраинной кабульской махалле. Он и не кашлянул ни разу за всю дорогу. Слава аллаху, хоть он уцелел на этой роковой карусели смертей и расставаний, которая крутилась здесь и не останавливалась; поглядывая на друга, Сабир думал о том, какое у него опять сосредоточенное, «нацеленное» лицо,— и вспоминал, как жутко эта нацеленная озабоченность контрастировала с обреченно больным видом Гуломали тогда, в Кабуле. Пусть даст ему судьба удачи, думал Сабир, пусть упасет от беды...

Промерзшая дорога словно нарождалась перед ними в дальнем свете фар. Над черной массой гор встала луна — как одинокий круглый глаз во лбу циклопа. Ночь, через которую они мчались, казалась огромным воплощением великого одиночества, из которого их машина, полуосвещенный островок с людьми, тщила вырваться. Два солдата позади так и не подали ни разу голоса, с тех пор как Сабир их увидел, сам Сабир и Гуломали тоже давно умолкли. Так, в молчании, и встретили они первые вставшие на обочинах контуры тополей Мазари-Шерифа.

В доме старого Сардора, за дастарханом, Сабиру пришлось повторить весь свой страшный и горестный

рассказ — о гибели каравана, о жутком лагере мучажидов, о Зулейхо, о чаркате, об Ауранге — его подвиге и гибели, об исходе фидаинов из проклятого горного кишлака...

Сардор, обретший, казалось, свой прежний молодеватый облик, сидел, сунув в танчу негнущуюся ногу, и напряженно слушал, но лицо его словно окаменело, трудно было понять, как он воспринимает рассказываемое.

— В общем,— сказал Сабир, кончив встречей с Шокалоном свою трагическую повесть,— что говорить — горько, горько, горько... До конца жизни не забыть мне эту неделю... И все же, знаете, есть в этом воспоминании светлая точка — Ауранг! Я знаю почему: уж отсюда-то я никак не ждал света... Я раньше и помыслить так бы не мог, а теперь они в моей душе стоят рядом: Ауранг и Зулейхо... Простите, Сардор...

Они помолчали.

— Судьба!— громко сказал вдруг Сардор. На его светлой, в снежной седине, голове бархатная феска казалась при свете лампы особенно черной.— Что еще скажешь!.. Разве наши страсти... наша любовь и ненависть... наши усилия... разве это они сотворяют жизнь, какой она в конце концов оказывается?.. Судьба... У нее свой закон!

Гуломали выпрямился, посмотрел на деда.

— А у нас — свой!— сказал он резко, сердито.— Что это с вами, бобо?.. Судьба — это и есть люди! Это и есть то, что мы творим, вольно или невольно! Только каждый из нас стремится к своему... надеется на свое... а жизнь нас сталкивает... и что хрупко, то бьется! Но мы — целы, дед! Понимаете? Мы целы!

— Слава аллаху...— пробормотал старик.

— Это нам слава! Потому что мы не сдаемся, когда, казалось, должны бы... Не сдаемся! И совершим то, к чему предназначены! А когда сделаем это, когда по руслам Чорданахра потечет вода... в ней сольются все честные усилия! И вашего замечательного друга доктора Сухайля... и этого прекрасного мальчика... Ауранга... хоть я еще и не привык к тому, что тот недоросль с пистолетом и есть этот молодой герой... И ваши усилия, Сардор! И наши! И тысяч честных людей... Судьба — это мы сами...

— Да, да,— сказал старик дрожащим голосом.— Ты прав, сыночек... ты прав!— Он помолчал и стал

подниматься с места.— Отдыхайте, дети мои, уже полночь...

— Что-то ты сегодня разошелся, Гулом,— сказал Сабир, когда старик ушел к себе и они остались одни.— И вообще какая-то новая интонация у тебя появилась...

— Да?.. Это нехорошо. Люди еще подумают: загордился, мол, как стал мутасадди¹... Но если все-ррез — осточертели мне эти раздумья: как быть, что делать, осточертела расслабленность, и моя собственная в том числе... Надо делать дел о — жестко, четко, результативно, понимаешь?.. Могу тебе признаться теперь: тогда в Кабуле, когда ты настоял на том, чтоб самому ехать с Булбулшо, я хоть и не соглашался, а в душе мечтал отложить свою поездку... болезнь была мне даже на руку, да, да... Она как бы оправдала меня в собственных глазах! Конечно, если б ты не появился и не настоял, я бы себя пересилил, сам поехал... а так... До сих пор каюсь, что дал тебе поехать, вверх тебя в этот кошмар! И ту свою расслабленность клянчу...

— Глупости! Ты действительно не мог ехать... Я-то знаю!

— Ладно, я уже не о том... Я о настроении своем тогдашнем. Вот такие настроения нынче и ненавижу! Судьба... рок... не превозмочь... Тьфу! Оправдание собственной слабости!..

Они проговорили до полночи, а утром, когда Сабир проснулся, Гуломали уже, как видно, давно был на ногах. Он поднял своих телохранителей, возился у машины.

— Что ж ты меня не будишь?!— закричал Сабир, но Гуломали в ответ отрицательно закачал головой.— Эй, да что это значит?!

— Это значит, что я договорился с врачом, он сейчас придет, посмотрит твою рану... а потом будет навещать тебя до окончательного выздоровления!

— Значит, я болен... а ты здоров! Ну и придумал! Как будто мне сейчас время разлеживаться!

— Слушай, твою рану не смотрели уже несколько дней. Она наверняка нагноилась — знаешь, к чему это может привести?.. Не брыкайся, как жеребец перед кузницей, лучше мозгами пораскинь. Ты мне живой нужен, а не в виде священных останков...

¹ М у т а с а д д и — начальник, главный специалист.

— Даже Сардор, в его годы, снова ездит по улусам!
— Ты не путай, Сардор проповедует.
— Я тоже, в крайнем случае, проповедовать буду.
Расскажу о Ферганском канале...
— Это, братец, для них просто легенда. Здесь в это не поверят... пока сами не попробуют.
— Нет, я все равно поеду с тобой...
Гуломали поднялся, выражение лица его изменилось.
— Слушай, товарищ Тохтабаев... — сказал он. — Я тебе приказываю... Ты понял? Все... Разговор окончен.
И такая властность прозвучала в его словах, что Сабир не стал дальше спорить.

Первый раз я увидел ее в большом подвале, где работала группа проектировщиков. Она, стоя у чертежной доски, заново перечерчивала вертикальные элементы плотины. Мы с ней тогда даже не заговорили, только глазами встретились. Потом, ночью, лежа без сна, я все вспоминал этот взгляд и терзался: почему не подошел, не поздоровался, не узнал ее имени... Как будто она исчезнуть могла! Впрочем, творилось вокруг такое, что действительно могла исчезнуть... Утром, чуть свет, я, против обыкновения, начал свой поход по Кабулу не с госпиталя, не с министерства, а с подвала-мастерской. Девушка была на месте, у той же чертежной доски; когда я вошел, она глянула краем глаза и снова обратилась к чертежу. Я повел себя по-дурацки — вместо того, чтоб подойти к ней сразу, заговорить, это было бы в порядке вещей, как-никак я руководитель проекта! — я делал круги по мастерской, обходя ее, и она, конечно, тут же все усекла и даже затаенно улыбнулась уголками губ, после очередного взгляда искоса... Я на себя злился: что это, мол, с тобой творится, ведешь себя как юный болван, девчонка-то лет на двенадцать моложе, да и вид твой не таков, чтоб заниматься ухаживаньями, и время не такое, времени, собственно, и вообще нет... И все-таки ничего с собой не мог поделать. В конце концов я подошел к ней, заговорил — неуклюже, вовсе не так, как подобает начальству, но все-таки заговорил! Ее звали Шаиста, она училась в Кабульском университете, на третьем курсе политехнического, и ее, в числе нескольких прочих студентов, спешно мобилизовали для выполнения чертежных работ. Ее черные густые волосы были коротко пострижены и полуобрам-

ляли смуглое юное лицо; фигурку, ладную, крепкую, почти как у мальчика-подростка, облакал старенький, но аккуратный костюмчик из велюра, сшитый на европейский манер, на ногах — сапожки на высоких каблучках... Все так же затаенно улыбаясь, она окидывала меня удивительной глубины взором, а я осмеливался глядеть только на ее длинные, сильные, тонкие пальцы, словно жившие над чертежом своей особенной жизнью.

И на другой день, и на третий я, оказываясь в мастерской, подходил к ней по нескольку раз, все это, конечно, заметили, хоть и помалкивали, а меня она как-то разом всего заполонила. Я тогда уже изрядно кашлял, но около нее даже кашель стихал. Она заняла мои сны, а утром, просыпаясь, я прежде всего думал о том, что скоро ее увижу. Никогда еще, со времени смерти жены, не приходилось мне так упорно думать о какой-либо женщине. Не помню уж, на четвертый ли, на пятый ли день, выходя с нею вечером из мастерской, я попросил разрешения немного ее проводить. Она с виду не так чтобы очень уж охотно, но разрешила, кивнула головой — и, шагов десять спустя, теряя голову от этого нахлынувшего и одолевающего меня чувства, я стал рассказывать ей, что со мною творится. Она шла рядом, слушая молча, не поднимая глаз, а когда я кончил свое лихорадочное, сбивчивое признание, еще некоторое время молчала. Я тревожно пожирал ее глазами, ожидая ответа. Наконец она сказала тихонько:

— Разве любовь такой бывает, муаллим¹... Так скоро...

В первый миг я счел это отказом и пришел в полное отчаяние. Но тут она посмотрела на меня — словно погладила взглядом; так утешают отчаявшегося ребенка!.. И до того не сходилось это с ее словами, что даже я в моем тогдашнем горячечном порыве понял: и в ней самой поселилось сомнение, и ее чувства встревожены и задеты. А чего ж ты хотел, говорил я себе, — чтобы она после первых же твоих откровенных слов, да еще прямо на улице, бросилась тебе на шею?.. Это ты уже старик, оттого так и торопишься во всем, а у нее все еще впереди, все впервые, ей надо понять, разобраться в чувствах... И со стремительностью, свойственной тогдашнему моему состоянию, я от отчаяния перешел к страстной, почти счастливой надежде — да, она меня

¹ Муаллим — учитель.

любит или полюбит вот-вот, едва сама в себе разберется...

Когда мы простились, не доходя до общежития университета, взгляды наши встретились, и она вся вспыхнула, точно осветилась изнутри. Я пошел к себе счастливый, а наутро, в мастерской, щеки ее так же мгновенно заалели, когда я приблизился...

— Шаиста...— сказал я тихонечко.

— Муаллим...

И снова я отошел, мучимый загадкой: как же она все-таки ко мне относится? Почему ни разу не назвала меня по имени, которое, конечно, как и все прочие в мастерской, отлично знает?.. Только из уважения? «Муаллим»! Так, раздираемый пополам заботами проекта и моей неожиданной, лихорадочной любовью, я ходил по огромному, обильно освещенному электричеством, переоборудованному для нас подвалу, с его несчетными перегородками, подпорными стенками, из-за которых он походил на самый настоящий лабиринт; останавливался, смотрел, советовал, спорил, показывал — а сам то и дело косился в сторону Шаисты.

Прошло еще два дня. Я уж думал: может, написать ей письмо, где выразить свои чувства не так сбивчиво, как я сделал это тогда на улице, а отделанным, поэтическим слогом, каллиграфическим почерком?.. Я бы, пожалуй, и уселся за такое послание, хотя писать их решительно не умею... если б как-то ближе к вечеру, когда я подошел к Шаисте, она с очень серьезным видом, оглянувшись предварительно, не достала из рукава и не протянула мне клочок сложенной вчетверо бумаги. Письмо! Она сама написала мне письмо!.. Я схватил его, улыбнулся ей — представляю, какая это была глупо-счастливая улыбка!— и тотчас, под каким-то предлогом, ушел из мастерской.

Я хотел было развернуть его и прочесть тут же, едва выйдя; но кругом было полно народу; я вообразил, как смешно, солидный человек, буду я выглядеть, читая с блаженной улыбкой эту записку... точно знакомя с нею всю улицу! Нет, решил я, пойду домой, там прочту. И я отправился, стократно мысленно перечитывая по дороге эту бумажку и каждый раз сочиняя новую версию того, что там написано. Письмо прямо-таки жгло мне нагрудный карман — или это сердце припекало?.. И вдруг я подумал: а с чего я, собственно, взял, что записка — такого уж радостного для меня содер-

жания? А если там сказано: извините, муаллим, не могу разделить ваши чувства?.. Или еще что-нибудь похуже? Хотя что может быть хуже?!..

Я остановился как громом пораженный. Как это мне сразу в голову не пришло... Нет, не могу я ждать до дому! Я вытащил записку, развернул... Записка была во все не от Шаисты. Наоборот, ей адресованная. И без подписи. Неизвестный (мне неизвестный) требовал от Шаисты, чтоб она выяснила, где хранятся материалы нашей поисковой группы, угрожая смертью в случае отказа...

Вот тебе и любовное письмо...

Голова моя гудела, теснило в груди, я закашлялся, не в силах остановиться. Откашлявшись наконец, я попытался прийти в себя. Что это не ответное признание в любви — аллах с ним. В конце концов, она обратилась ко мне в крайности, это тоже чего-нибудь да стоит. Кому нужны наши собранные за два года скитаний и бивуачной жизни материалы, я смутно догадывался. Впрочем, вряд ли для того, чтоб ими как-то воспользоваться, — скорее, чтоб их уничтожить! Ну конечно... Сорвать нашу работу. Сейчас все эти папки в сейфах, только по мере надобности выдаются проектировщикам. Даже пустив красного петуха или взорвав здание с нашим подвалом, их уничтожить трудно. А вот зная где и что... Налет, что ли, они собираются совершить? Впрочем, что гадать — сейчас другой вопрос решать надо: как быть Шаисте? Она и впрямь подвергается смертельной опасности! Если не выполнит требований шантажистов... Кстати, как они доставили записку? А, снова я не о том думаю! Мало ли способов... А может... Смутная, но жуткая мысль у меня мелькнула: а что, если... если она с ними заодно?! Нет, нет, нет, сказал я себе, это просто порождение моей ревности: не может быть у предательницы такой ясный, такой глубокий взгляд! Ей действительно грозит страшная опасность, вот на чем надо сосредоточиться... Но один-то я ничего не смогу!

Мои партийные товарищи работали теперь и по ночам; спотыкаясь в сгущавшейся темноте, я повернул и поплелся обратно к центру. Вскоре я уже сидел в знакомой комнате и, волнуясь, рассказывал о своей неожиданной заботе. Ты что, не понимаешь, сказали мне, выслушав, — тут дело не только в том, чтоб спасти девушку! В городе то и дело гремят взрывы и выстрелы;

летят на воздух важнейшие объекты, гибнут самые нужные люди... В Кабуле действуют хорошо законспирированные террористические группы. Если что-то вокруг вас затевается, надо принимать серьезные меры. Девушку, разумеется, не выпускать из поля зрения...

Насчет девушки они могли бы и не говорить. Впрочем, они, конечно, сразу поняли мое состояние, хоть не позволили себе ни намека.

Утром, спозаранку, я уже поджидал Шаисту у ее чертежной доски. Она пришла в обычное время, поздоровалась, разделась, принялась было за работу. Вид у нее был спокойный, деловитый, словно ничего вчера не произошло и в помине не было той вынужденной из рукава записки. Только когда я сказал ей: «Шаиста... боюсь, теперь вам не придется здесь работать...» — она кинула на меня взгляд, усталый и вместе тревожный. Потом снова опустила глаза.

— Да, понимаю,— сказала она, помолчав.— Теперь, наверно, мне и на улицу нельзя будет выйти. Да что на улицу...

— Еще что-то произошло?..

— Произошло...

— Что?!..

— Вчера недалеко отсюда меня остановил на улице один дуканщик... Я его вообще-то знаю... видела раньше... Остановил и спрашивает: «Ну как, ханум-саиб, письмо получили?»

— А вы что?

— Я очень испугалась. Того, что он так в открытую... Получила, говорю.

— А он?

— «Так ждут ответа!» — говорит. И ушел...

— Вы знаете его дукан? Его самого описать можете?

— Могу-у...

— Значит, его обезвредят.

Она покачала головой.

— Он же не один, муаллим... Его обезвредят — а остальные?

— Вас отправят в безопасное место!

— Нет, муаллим...

— Что значит «нет»?

— Меня не найдут — принесут других в жертву... — Она снова упрямо покачала головой. — Я не буду прятаться...

— Вы... вы еще что-нибудь узнали?..

— Да, муаллим...— Она, как вчера, снова полезла в рукав и достала конверт.— Вот это я нашла в общезжитии пуантуна...¹

Я выхватил конверт из ее рук. Письма в нем не было — только фотография. На ней — пожилой мужчина; фотография разрезана — голова отделена от туловища.

— Кто это?..

— Это...— она запнулась.

— Говорите же, Шаиста!

— Это... мой отец!

— Где он... где он находится?

— Там... в горах...

— В плену?

— Нет... Он ушел к муджахидам...

Вот оно что! Я смотрел на нее с болью и горечью. Вот почему выбрали Шаисту! Значит, не зря мелькнула у меня та мысль... Нет, нет, не могла она сама... сознательно... Ее затанули в сети!

— Что ж вы собираетесь делать?..

— Если я не сделаю того, что они требуют, моего отца...

— Того, что они требуют, сделать нельзя, Шаиста.

— Знаю...

— Так как же поступим?

— Я должна сначала увидеться с отцом.

— Что-о?.. Шаиста!

— Да. Пусть они сначала покажут мне отца. Живого!

— Вы что ж, хотите отдаться им в руки?.. Это сумасшествие!

— Все равно я на это пойду. Пусть покажут.

— А потом?.. Да они запросто заставят вас выложить все, что знаете... У них средств хватит... Нет, нет, это невозможно!

— Но ведь я могу сказать все, что они хотят узнать... А вы тут примете свои меры. О них-то я знать не буду...

— Они вас не отпустят, пока не проверят, правду ли вы сказали! Это значит просто пожертвовать вашей жизнью... Они же головорезы, способны на все! Я вас просто не пушу...

— А вы можете предложить что-нибудь другое?

¹ Пуантун — университет.

— Нужно подумать...

— Сколько ни думать, муаллим, вы не придумаете, как мне иначе увериться, что отец жив. А потом... потом я пообещаю сотрудничать с ними — и вернусь.

— А потом... потом вы снова не будете знать, не убили ли его после вашего ухода! Это же сказка про белого бычка...

— Вы меня все равно не отговорите, муаллим... Ведь это мой отец, понимаете?

— Понимаю... Но как вы к ним попадете?..

— Проще простого!— сказала Шаиста.— Пойду к тому дуканщику, он все устроит...

Это «все устроит» меня покорило. И упорство ее приводило меня в ужас. Но что я мог возразить, в конце концов?.. Приказать я ей не мог, и это же действительно ее отец...

— Муаллим...— сказала она увещевая.— Я знаю, они свили в городе свое гнездо... Может быть, я и о нем что-нибудь узнаю... И о том, как они пробираются из города в горы и обратно... И потом, муаллим... я уже несколько месяцев ничего не знаю об отце... с тех пор, как он ушел! А вдруг он образумился... раскусил своих «богобоязненных» единоверцев! Вот таких, как этот, что днем, сладко улыбаясь, сидят в своих дуканах, а ночью взрывают мечети, больницы, режут людей как скот!.. Вдруг я и отцу помогу выбраться оттуда?..

Нет, ничего я ей не мог возразить! Она поступала по совести: наверное, я и сам бы решил то же, окажись на ее месте. Тут была логика, но логика отчаяния. И это отчаяние разрывало мне душу.

На другой день Шаиста в мастерскую не явилась. Я еле дождался одиннадцати часов, потом полудня. Кинулся в общежитие университета — ее и там не было. Тогда я помчался к своим друзьям, все рассказал. Мне посоветовали пока спокойно ждать. Спокойно!.. Хорошо сказано...

— А мастерская?— спросил я.

Мастерскую, ответили мне, поставят под усиленную охрану. Наверное, и впрямь поставили, хотя я этой усиленной охраны не заметил. Но, может быть, и душманы тоже... Два дня я себе места не находил: днем — в нашем подвале, ночью — в своей махаллинской конуре.

На третий день Шаиста появилась. Она заметно похудела, глаза впали, и взгляд их сделался еще более

глубоким. Соседи косились на нее, но она как ни в чем не бывало встала к своей чертежной доске, взялась за чертеж. Я подошел, она повернула ко мне лицо и грустно улыбнулась.

— Ну что?— спросил я.— Повидались?..

— Повидались,— сказала она все с той же грустной улыбкой.— Мюрид слепо последовал за ишаном — и вернулся!

— Вернулся?..

— Да, и, как вы догадываетесь, с определенными целями...

— Значит, фотоснимок... по-прежнему...

— Да, все по-прежнему...

— Я же вас предупреждал — это тупик!

— Тупик,— подтвердила она послушно.— Но нужно снова обдумать... Гуломали-ака...

Я прежде так мечтал, чтоб она назвала меня по имени, а тут даже почти не обрадовался.

— Расскажите же, Шаиста!

Она рассказала. Дукан этот помещается на углу... Я должен знать... да, да, там торгуют меховой одеждой! Ей завязали глаза, потом усадили в какую-то закрытую машину. Ехали около часа, но, как ей показалось, все время плутали по городским улицам или переулкам. Ее вывели из машины и еще долго куда-то вели, все время сворачивая; она сперва считала эти повороты, потом сбилась. И отца ее привезли с гор точно так же. Оказывается, с первых дней пребывания в горах у него разыгралась болезнь печени, прямо-таки согнула его, он было заикнулся о возвращении домой — и сразу попал у главарей в немилость. На джихад его не брали; обычно таких утративших доверие нахлебников потихоньку убирали, но отцу Шаисты повезло, его почему-то оставили в живых, а после, по приказу сахиба-офицера, тайно доставили сюда, в город. Да, да, она уверена, что это в городе; огромное темное помещение без окон, без щелей в стенах, вроде амбара, рядом с ним, на взгорке, такая маленькая чайхана,— ее видно, когда открывается дверь, а дверь открывалась часто, люди входили, выходили... Похоже, это хорошо замаскированное убежище городских террористов. Шаиста провела с отцом чуть больше дня, и отец — шепотом, полунамеками — успел поведать ей, как разочаровался в муджахидах, а главное — в их вождях; он стал настоящим «еретиком», горько сожалеет, что ушел в горы! И еще многое

он ей сказал, но это предположения, их надо еще проверять, проверять... После расставания с отцом Шаисту снова повели куда-то, таскали с собой чуть не час, но ей, по доносившимся изредка звукам, представлялось, что водили все вокруг того же амбара; в какой-то полутемной комнате с ней разговаривал странный человек — в афганской одежде, в чалме, и говорил на кабульском дари безо всякого акцента, но что-то в лице его было иноземное — она даже не может объяснить, что... Он потребовал от нее все тех же сведений, объяснил, как их передать. Потом, сказал, можешь быть спокойна — мы отца отпустим, и тебе больше докучать не станем!.. Но если, мол, ты нас обманешь — то... Словом, все та же разрезанная фотография.

Назавтра я пришел в мастерскую только к концу дня, были дела в министерстве и в партийном комитете; подойдя к Шаисте, я застал ее чертящую что-то на тонкой китайской бумаге; едва глянув, я понял, что она чертит — план нашей подвальной мастерской.

— Шаиста!..

Она подняла голову и печально на меня взглянула.

— Да...— сказала она.— Сами посмотрите, Гуломали-ака, правильно?..

Вычерчено было отлично: комнаты, образованные перегородками, подпорные стенки, лестницы с точным количеством ступеней, двери, проходы — словом, весь лабиринт нашего подвала; синим цветом обозначены были чертежные столы, красным — сейфы...

— Материалы где — здесь, здесь, здесь?— спросила она.

— Вы что, боитесь, не дай бог, ошибиться?— сказал я, чувствуя, как, впервые с тех пор, что я ее увидел, во мне поднимается чувство протеста.

— Нужно, чтобы план был точным, муаллим... Ведь, возможно, его будут проверять!

— Кто-о?..

— Я не знаю... Может быть, и есть кому... Поймите, ведь за этот план мне обещана жизнь отца... да и моя тоже...

Я посмотрел на нее в упор.

— План на редкость точный...— сказал я глухо.

— Спасибо...— пробормотала она.

— Не за что...— Во мне вдруг взорвалось что-то.— Слушайте, ведь любой человек на моем месте передал бы вас сейчас царандю!..

Она подняла на меня глаза:

— Муаллим... Но разве мы не договорились с вами? Разве я сделала это тайком? Есть же полная возможность принять меры! Для этого вам царандой и пригодится, муаллим...— Она была права, я почувствовал себя дураком.— Простите, муаллим,— сказала она, открепив чертеж,— мне надо спешить, до срока осталось мало времени... а еще нужно зашить чертеж в подкладку камзола!.. Я только хотела сказать... вы... и ваши товарищи... вы, наверное, понимаете, что на эту операцию они пошлют не одного человека?.. Так чтобы в случае чего мы не оказались с вами виноваты!

— В случае чего?!— Я опять готов был взорваться. Уж как-то чересчур здраво для такой юной девушки она рассуждала.

— Ну, вы понимаете...

— Ничего я не понимаю. Никакого «случая» не должно быть! Забрать отсюда наши папки мы не можем, это значило бы, прежде всего, остановить работу мастерской... Значит, в случае нападения остается только защищать их кровью. Вот все, что я в состоянии понять... Если, конечно, вы не знаете еще чего-нибудь, чего мне не сказали!..

— Муаллим!— сказала она с горьким укором, и на глазах у нее выступили слезы.

Это сразу сбило волну моего раздражения.

— Я так не думаю,— сказал я.— И все же... поймите... это ставит под угрозу все! Всю нашу работу... Черт возьми, в какую глупую историю мы с вами влипли...

— Гуломали-ака...— сказала она, и в голосе у нее были слезы.— Мне... мне горько, что я... во все это вас травила... но это же мой отец! Отец! И разве... разве лучше, если я бы вам ничего не сказала? Просто отдала им план — и все?.. Но я... я не могла... я тогда, на улице... ничего не ответила вам... но я... я тоже люблю вас, Гуломали-ака!

Все во мне дрогнуло от этих слов. Но я только поглядел ей прямо в глаза — видно, настала моя очередь промолчать,— поглядел, и она выдержала мой взгляд. Потом вытерла слезы, надела пальто, сунула куда-то под пальто свой тоненький чертежник. Я неуверенно, неловко протянул к ней руку, но она не подвинулась ко мне, только улыбнулась сквозь слезы.

— Пора,— сказала она тихонько.— Прощайте...

И ушла.

Провожать ее, разумеется, мне никак нельзя было; и я сразу из мастерской отправился в партийный комитет. Там уже сидел один из руководителей столичного царандоя. Когда я рассказал обо всем, царандоевец всполошился. Мастерская — под внешней охраной, сказал он, но теперь этого мало: надо подготовить контр-операцию! Главное, чтоб наши люди ждали душманов не только снаружи, но и внутри мастерской... Мы стали обсуждать варианты — план подвала здесь был, — и это оказалось вроде бы не так уж сложно. Сложность заключалась в другом: мы не знали и, очевидно, не могли узнать время нападения, а держать столько людей в напрасном ожидании нельзя: наша мастерская, увы, была лишь одним из многих возможных объектов душманского террора.

В конце концов приемлемый план разработали. Задача была рассчитана не только на то, чтоб отбить нападение, но и чтобы, заманив душманов в ловушку, возможно больше их взять живыми. Что до времени — решили: слишком долго тянуть они не станут, и надо быть настороже уже этой ночью. Царандоевец поехал к себе, готовить людей, и товарищи из комитета обещали подмогу. Что до меня, я тоже решил с этого вечера ночевать в мастерской. Туда и отправился.

Ночь, однако, прошла, спокойно.

Утром Шаиста на работу не пришла. В общезнании ее тоже не было, и лучшее, что оставалось предположить, — душманы взяли ее заложницей. Этого, впрочем, и следовало ожидать, если рассудить здраво. Мне помогло то, что теперь я день и ночь был на людях: останься я один, не знаю, как бы я вытерпел эту муку неизвестности. Ведь душманы не явились и на другую ночь, и на третью тоже...

Только трое суток спустя, далеко за полночь, аллах знает как обойдя внешнюю охрану (должно быть, заранее ее выследили), они, словно тени, появились во дворе дома. Впрочем, наш план и на это был рассчитан. Работая быстро и почти бесшумно, душманы сняли окна вместе со ставнями и рамами и проникли в подвал, оставив во дворе караульного. Вместе с караульным мы насчитали их семеро. Местом для захвата был нами выбран узкий проход, замкнутый с двух сторон бетонными стенами. Лучшего места для ловушки нельзя было и придумать. Едва они втянулись в этот «коридор», мы заблокировали оба выхода и предложили им сдать-

ся. Один из душманов — совсем молодой, необстрелянный мальчишка, как потом оказалось, — не то сгоряча, не то со страху кинулся на прорыв и был застрелен. Остальные оценили положение более трезво: побросали оружие, отцепили от поясов гранаты, положили на пол взрывчатку. И подняли по нашей команде руки. Без особого шума их вывели наружу (караульного захватила внешняя охрана, когда он, поняв, что нападение провалилось, пытался скрыться), подогнали две закрытые машины и предложили душманам показать дорогу к их городской базе-явке. Это явно показалось им страшной смертью. Один из них, косматый, дикого вида мужчина, сперва, как все, стоял в строю и отрицательно качал головой — и вдруг, сорвавшись с места, бросился прямо на цепь царандоевцев. Они растерялись от неожиданности, и, свалив одного из них на землю, душман прорвал цепь, подбежал к стене прилегавшего дома и стал, как кошка, карабкаться вверх.

— Держи! Держи-и! — орал офицер царандоя, направляя на него фонарь, трое бросились вдогонку, пытались схватить душмана за ноги, но тот пнул одного, пнул другого — и уже почти взобрался на крышу: тень его обозначилась на фоне неба. — И-и-их! — закричал офицер и выстрелил. Тень качнулась на краю крыши, застыла на мгновение — и душман тяжелым мешком рухнул вниз.

Остальные пятеро неподвижно стояли под прицелом. Офицер, разъяренный инцидентом, закричал на них, обещая тут же, на месте, расстрелять, если не согласятся показать дорогу к базе. Но ему пришлось повторить свое обещание еще дважды, прежде чем один из душманов вскрикнул:

— А-а-а!.. Все равно! Покажу!

Этот крик разрядил общее напряжение — и в нас, и в душманах. Мне показалось даже: все разом вздохнули... Душманов усадили в одну из машин, вместе с охраной. Другую заняли царандоевцы: часть их, впрочем, осталась охранять мастерскую. Мне подумалось, что нас явно недостаточно для налета на душманскую базу: ведь там могло оказаться много людей. Но командир царандоевцев, должно быть, считал иначе — а может, знал, что все равно пополнения не получит. И мы поехали...

Дорога, которая показалась Шаисте «длинною в час», у нас заняла минут двадцать пять. Миновав

старый, окруженный умирающими тополями, тускло поблескивающий хауз с гнилой водой — я его видел не раз, — мы свернули налево, в узкую извилистую улочку. Ехать по ней приходилось медленно, чтоб не наткнуться на какую-нибудь выступающую стенку или дувал. Минуты через три езды от улицы ответвился еще более узкий проезд — машина в него еле втиснулась; повливав меж дувалов, проезд неожиданно выводил на маленькую площадку, совершенно безлюдную. С одной ее стороны, что повыше, стояла маленькая, пустая и темная чайхана; напротив — большой амбар: он примыкал к полуразрушенной мельнице. Судя по всему, это и было то самое место. Царандоевцы выбрались из машин и, прячась за ними, оглядывались, ожидая, что по ним вот-вот начнут стрелять. Ночь, однако, была по-прежнему тиха, нигде ни огонька, ни шага, ни вдоха... Вывели пленного душмана — того самого, что согласился показать дорогу: он ехал в кабине, между шофером и охранником. Душман опасно огляделся и кивнул подбородком на амбар. Мы двинулись к амбару — осторожно, все еще ожидая выстрелов; наконец, не выдержав этой медленной пытки, я кинулся к двери и рванул ее на себя...

Амбар был пуст... То есть так показалось мне в первое мгновение. Помещение тонуло в полумраке, лишь в центре, откуда-то снизу, ниже уровня пола, исходил тусклый свет, вырывая из темноты раскрытый и опрокинутый сундук... и неподвижную голову Шаисты, как бы торчащую из земли!

Казнили!!!

Меня так и обдало потом, голова закружилась. Я все-таки первым вбежал в амбар, преодолевая неожиданную слабость в ногах, боясь увидеть в упор страшную картину... Но, подбегая, я, еще не сознанием, а всей прихлынувшей к сердцу кровью понял: жива! Блеснули в мою сторону ее глаза... Она стояла по шею в раскрытом подполе и держала в руках фонарь. Под ногами у нее были, кажется, какие-то ящики.

— Та-ам... — еле слышно сказала она пересохшими губами и показала подбородком в левый угол помещения. И тут только я увидел в полутьме десятка полтора лежащих в углу людей. А чуть ближе — груды брошенного оружия: автоматы, парабеллумы, ножи, винтовки...

...Как все произошло, она рассказала мне уже по-

том. Получив план мастерской, душманы и Шаисту забрали с собою. На этот раз добирались сравнительно недолго, видно, с меньшими предосторожностями. Ее толкнули в амбар; отец совсем разболелся, она как могла за ним ухаживала, благо в углу, не остывая, кипел самовар — день и ночь около него толклись или сидели вооруженные люди; можно было разжиться чаем, а иногда им с отцом приносили касу похлебки. Так, относительно спокойно, прошло два дня. На третью ночь Шаиста обратила внимание, что хождение взад-вперед прекратилось, снаружи все стихло, да и люди, сидевшие в амбаре, как-то напряженно примолкли. И Шаиста вдруг поняла, что это значит: должно быть, какая-то группа душманов отправилась в налет на мастерскую, а эту базу на всякий случай эвакуировали, оставив лишь вот этих для прикрытия. Значит, понимали: если налет сорвется, налетчики, в случае бегства, могут привести на хвосте царандой... И она стала молить судьбу, чтоб так и случилось! Хотя, подумала она при этом, им с отцом такой поворот событий неизвестно чем грозит — скорей всего, ничем хорошим. Впрочем, насчет вероятности для них счастливого исхода она вообще не слишком обманывалась — просто старалась пока об этом не размышлять...

Душманам у самовара, сперва сидевшим в напряженном ожидании — может, прислушивались, как и она? — это наконец надоело. Они стали пить чай, прихлебывая, потом закурили — огоньки сигарет засветились в темноте.

— Опять анашой завоняло! — с тоской и отвращением пробормотал отец Шаисты: из-за болезни его особенно мучили запахи.

Душманы переговаривались — все громче, все развязней. Разговор сначала шел вразброд, кто о чем, потом вдруг один голос — грубый, хриплый — выделился, сказал громко:

— Эй, почтенный! А что... ежели они не вернуться, эта штука... нам достанется, а? — И по сальной, подчеркнутой интонации Шаиста, похолодев, поняла: эта «штука» — она сама! Тусклый фонарь на подпорном столбе висел примерно в центре помещения, света давал мало, но ей не было видно разговаривавших не только из-за недостатка света: душманов от нее, как и ее от душманов, заслонял большой сундук, что стоял посреди амбара. Она еще в первый день спросила отца,

что за сундук, что в нем лежит? Пустой, ответил отец, на крышке подпола стоит, для маскировки... А в подполе что? Да кто их знает, сказал отец безразлично, они частенько туда лазили, видно, патроны, взрывчатка, что ж еще? Продукты они оттуда не доставали... Шаисте тогда и в голову не пришло, что это может для нее оказаться важно. Но теперь, когда она со страхом прислушивалась к разговору душманов, это ей почему-то вспомнилось. И она, хоть сейчас их и не видела, с кошмарной отчетливостью представила себе хрипато го спрашивавшего, как он подбородком показал в ее сторону, и «почтенного», — она поняла, что это их командир: рябой, одноглазый, в серой седине человек с темным и страшным лицом. Он ответил:

— Типун тебе на язык! Вернутся — не вернутся... Погоди о том говорить... — Голос у него был тяжелый, слова падали как гири.

Спрашивавший хохотнул и смолк.

Слава богу, подумала она.

Но разговоры становились все громче, грубее, и вскоре она снова услышала тот же хриплый голос:

— Нет, ты все же скажи, почтенный, — наша эта штука или нет? Ведь вроде своими ногами сюда пришла — выходит, наша, а? А, почтенный?

И тяжелый голос «почтенного», явно изменившийся — видно, и на него анаша подействовала, — сказал:

— Наша, наша... Погоди немного...

— Ну во-от! — удовлетворенно сказал хриплый. — Так бы сразу...

Шаиста похолодела. На что ей надеяться? Что произойдет чудо? Вернутся те, что отправились в налет, или не вернутся — для нее исход один и тот же. Вот, подумала она с отчаянием, отца отправилась спасать... и отца не спасла, и сама...

Тут раздался еще один голос — характерно замедленный:

— Имейте совесть... мусульмане... здесь же ее отец!..

Этот, хоть явно накурился уже, не потерял еще, видно, совести.

— Оте-ец! Мусульма-ане!.. — передразнил его хриплый. — Мы-то мусульмане... да он предатель! Ислам предал!.. Потерпит... еще слаще при нем помилюемся, а?

Теперь и отец все услышал. И с бессильным отчаянием вцепился в ее руку.

Душманы захихикали, голос «почтенного» произнес тяжело, с усилием:

— Погодить еще... погодить... Э-э-эх..

Все это время — пока она прислушивалась, вздрагивая от страха и отчаяния, воображая жуткие лица этих окурившихся, звероподобных бандитов, — в голове Шаисты подспудно, наплывами, складывался отчаянный план... И тут она почувствовала вдруг: все, ждать больше нельзя. Дальше будет поздно. Если они поднимутся, у нее уж ничего не выйдет, не успеет она, тут весь расчет на внезапность. И, выдернув свою руку, за которую ухватился отец, она поползла, стараясь не шуршать соломой. Ей надо было доползти так, чтоб они ничего не услышали. Потом так же бесшумно подняться. А потом — сдернуть фонарь со столба, ногой опрокинуть сундук и, с фонарем в руке, открыть дверцу подпола!.. На все эти действия она могла потратить только считанные секунды — и то при условии, что душманы не сразу опомнятся, не сразу поймут. Ну что ж, в любом случае ей терять нечего.

Рассказывая мне об этом, она сразу толком не могла вспомнить, что она на самом деле сделала раньше — фонарь сдернула или сундук оттолкнула; сундук оказался тяжелей, чем она думала, пришлось сдвинуть его ногой и руками — ага, значит, в руках еще не было фонаря!.. Потом, уже с фонарем, она еле-еле подняла крышку подпола, ухватившись свободной рукой за кольцо, и только тогда глянула на душманов. Все эти секунды она понимала, что времени у нее ушло куда больше, чем она рассчитывала, вот-вот на нее бросятся или пристрелят; и лишь теперь, взглянув в угол, где по-прежнему светились над самым полом огоньки сигарет, успела подумать, что ей здорово повезло: они-таки не опомнились, не поняли, что происходит! Накурились!..

И тогда она заорала — самым диким голосом, на какой была способна:

— Ло-ожись!.. Взорву-у!.. — И, резко качнув фонарь, так что в амбаре запахло керосином, прыгнула в раскрытый подпол. Душманы, как ни обкурились, тут протрезвели и повалились на солому. Мгновение молчания — и вдруг рычащий голос «почтенного»:

— Не стреля-ать, дурак!..

Это кто-то из лежащих прицелился в нее из темно-

ты — она бессознательно держала перед собой фонарь...

И тогда она снова закричала — так же:

— Бросай оружие! Все! Ко мне!.. Жду полминуты — и взрываю!..

Душманы не раздумывая побросали оружие. Она помедлила — хотела было отца попросить придвинуть эту гору смертоносного металла, но поняла — ему, больному, это будет не под силу. И пока она лихорадочно думала, что делать дальше — ведь рано или поздно душманы очухаются от одури и страха и попытаются обойти ее в полутьме, фонарь-то слепил ей глаза, и она почти ничего не видела вокруг, за пределами одного-полутора метров, — послышался шум наших машин. Она решила: если это душманы вернулись — разобьет фонарь и вправду взорвет и себя и всех их.

Это были мы...

Несколько дней спустя я серьезно расхворался — и недаром: мне трудно далась вся эта история, даже теперь я пересказываю ее со щемящим сердцем, хоть уже знаю, чем завершилась. Впрочем, хочу верить, что не завершилась... и продолжится, как только Шанста вернется в Кабул с того берега Аму: ее наградили поездкой в Советской Союз. Отца ее я тогда же отвез в госпиталь, и когда потом навещал его, он рассказал мне любопытную вещь. Муджахидами, у которых старик находился в горах, командовал «сахиб-офицер», он-то и спланировал всю операцию; может, старика потому и оставили в живых, что «сахиб-офицер» узнал случайно: дочка его работает в нашей мастерской. Когда, по моей просьбе, старик описал «сахиба», описание удивительно подошло к облику Лала Махдий...

Поневоле оставшись в Мазари-Шерифе, Сабир решил, что затоскует тут смертельно. Рана заживает, делать нечего, Сардору все время навязываться неловко, а с кем еще мог бы он тут поговорить?..

Все вышло иначе: рана нагноилась, и всерьез, поднялась температура, его мучила лихорадка, и если б не местный доктор, неизвестно еще, во что бы все это вылилось. Доктор был совсем старый человек — и, как выяснилось, давний друг Сардора и Сухайля. Когда появилось известие об эмиграции археолога — известие, которому Сардор сразу и безоговорочно поверил, низвергая на старого приятеля громы и молнии,—

Сардор и доктор не то чтоб рассорились, но разошлись. Доктор был человек мягкий, добрый, ироничный, постигший за долгую жизнь и врачебную практику причины человеческих слабостей и потому склонный их прощать. Так же отнесся он и к известию о Сухайле, и Сардор не мог этого переварить. Узнав о Сухайле правду, старый солдат поначалу не мог перебороть стыда перед доктором. Лишь когда Сардор свалился после ареста Гуломали, доктор снова явился к нему в дом и выходил его. Два одиноких в этом городе старика, они снова тесно сошлись и виделись чуть не каждый день; а теперь — и впрямь каждый день, благо Сабир был тому поводом и причиной. Внешне они были на редкость разные: Сардор — высокий, сухощавый, доктор — полный, небольшого роста, с широким, чуть одутловатым лицом; он был несколько глуховат и потому говорил громко, но в речи его не было и следа настырности, зачастую свойственной глухим. Напротив, он был осторожен и в суждениях и в тоне. Сардор же отличался подчас категоричностью суждений. Как-никак, он был проповедник!.. И все же слушать их беседы, даже самому в них не участвуя, было истинное удовольствие. Делились ли они новостями, мнениями о прочитанном, спорили о книгах или неких волнующих проблемах, или вспоминали пережитое вместе — хотелось их слушать и слушать. Сабиру казалось: не уколы и не лекарства внутрь, не перевязки доктора, так не похожие на жестокое врачевание Гужсохты, а напоминающие скорее нежные женские прикосновения, — не все это, а именно мудрые и увлекательные беседы двух стариков понемногу, но уверенно ставили его на ноги.

Гуломали изредка появлялся у деда, приезжая, как правило, поздно вечером и уже на рассвете исчезая снова. Он проводил дни, носясь по городам и весям: телефонной связи практически не было — какая была, порушилась, — а в ведении Гуломали находились теперь два карьера, бетонный завод, растущий технический парк; хотя управлению предстояло разместиться в Мазари-Шерифе, но и с Кабулом приходилось то и дело связываться, ведь проектировщики продолжали работу, да и помощь министерства требовалась; не хватало энергии, топлива, денег, наконец. Больше всего не хватало специалистов, что, однако, не избавляло от необходимости готовить жилье для них, более или менее стационарное. Нурмухаммед Пайки уговорил-таки од-

носельчан на хашар; некоторые другие кишлаки тоже согласились. Предстояло, однако, главное: заново посетить племена в районе русел Чорданахра — даже если не все они согласятся на хашар, важно убедить их не оказывать сопротивления: в нынешней обстановке могло быть и такое. Ведь время хашара — весна — приближалось и скоро даст о себе знать! А сколько всего нужно для этого подготовить! Словом, забот и дел было у Гуломали невпроворот, и все же с каждым появлением он казался Сабиру все более поздоровевшим, уверенным, радостным, почти излучающим сияние.

Однажды Гуломали приехал особенно поздно; он был очень возбужден; доктор уже давно ушел, Сардор спал; наскоро поев, Гуломали устроился на террасе рядом с Сабиром. Они пожелали друг другу спокойной ночи, но заснуть не смогли. Сабир спросил о чем-то — и Гуломали вдруг прорвало. Он начал говорить, рассказывать... Они так и не спали в ту ночь. Тогда Сабир и узнал о Шаисте. Ему сделалось и радостно за друга — и горько. Он вообразил себе Шаисту — такой, какой вставала она из рассказа Гуломали, — и на мгновение рядом поставил Зулейхо... Нет, это было слишком больно, он даже головой замотал, чтоб отогнать виденье. Он старался вспоминать ее только такой, какой увидел в Пайки, а тут она предстала изможденной тенью, какой была в лагере... Две девушки, такие разные... и две истории, тоже разные... «Послушайте, Сабирджан, у нас есть поверье: за чересчур красивыми девушками по пятам несчастье ходит...» Он посмотрел на Гуломали, только что забывшегося сном. Словно в воду глядел!.. В воду... А-а, черт... И по щеке его сползла слеза.

Весна пришла ранняя и бурная. То была не просто оттепель, что, как некая капризная красавица, явится ненадолго, обожжет безвременно распустившиеся почки — и исчезнет, испарится, словно ее и не было. Нет, то был настоящий взрыв тепла, зелени, цветенья, с мгновенно пробудившимся шумом текущей воды, заполнившей до верхнего края сая, арыки, речки, низвергающейся водопадами и водопадиками, с гуденьем пчел, облепивших цветущие фисташки, с нацеленными стрелами горного лука на склонах. Весна пришла — и в пять-шесть дней одела в сплошную, без прорех, зелень бескрайние просторы вплоть до окраин Каракумов. Казалось, даже небо — над изумрудными лугами, над ис-

точающими пар дыханья пашнями, над подтаявшими сединами гор и серо-синим течением Аму, — даже небо, казалось, полнится бликами ее торжествующего земного сиянья. А птицы, птицы! Какой радостный и вместе озабоченный гвалт поднимают они в траве, ссорясь из-за прошлогодних плодов боярышника! Жаворонки еще не повисли в воздухе, еще вьют гнезда; в траве снуют парами горные куропатки... Какой, кажется, безбрежный, безудержно свободный мир вокруг, не знающий границ и опаски, бродить бы по нему без оглядки и оружия, вбирая в себя эту нескончаемую красоту...

Гуломали изрядно устал от двух своих охранников. Нет, нормальные в общем-то парни, да и безопасность — дело необходимое в его положении, и все-таки, если кто-то неотступно за тобой следует, не отставая ни на шаг, безмолвно контролируя все твои передвижения и действия, рано или поздно это становится несносным, особенно для такого неугомонного человека, как Гуломали. Даже за околицу без охраны не выйдешь, воздухом подышать! Когда к нему присоединился выздоровевший Сабир, стало как-то легче выносить их постоянное присутствие, но не надолго. Всюду они оказывались вчетвером — и на бегущих вниз-вверх тропинках, маршрутах будущей трассы, и на ярких тюльпановых лугах, и на изрытых вешними паводками склонах холмов. Когда идет разговор о том, где установить вагончики строителей или как сократить дорогу для перевозок бетона, эти два молчаливых парня — не помеха; но если хочется поговорить с другом о чем-то своем, личном... Да что у них, черт возьми, совсем уже нет права на личную жизнь?!

Однажды Гуломали вынул из кармана и протянул Сабиру конверт:

— От Шаисты...

Обычный авиаконверт с кремлевской звездой в уголке, внизу — праздничный фейерверк.

— И что пишет? — спросил Сабир, держа конверт в руке.

— А ты прочти!

— С чего это я буду его читать?..

— Прочти, прочти, там ничего запретного нет... зато есть кое-что, что тебя, по-моему, касается!..

Сабир пожал плечами, вынул из конверта мелко исписанную страничку и стал читать. Письмо как письмо. Только в конце... В коридоре Политехнического к Ша-

исте подошла незнакомая молодая женщина, спросила: «Вы из Афганистана?» И оказалось, она знает Гуломали и про Чорданахр все знает... «Она гидрогеолог, очень интересуется строительством на Чорданахре, по моему, здорово во всем разбирается... Мы теперь с ней встречаемся, даже подружились...» — писала Шаиста.

— Ну? — спросил Гуломали. — Прочел?..

— Прочел... — сказал Сабир. Он вложил страничку обратно в конверт и вернул Гуломали.

— Написал бы письмо...

— Кому? — сказал Сабир.

— Ну ладно, не придируйся, кому-у... А то сам не знаешь!

Сабир промолчал.

— Понимаешь, Сабир, — задумчиво сказал Гуломали после паузы, — я вот все думаю... какие удивительно щедрые и бескорыстные люди живут в вашей стране... Вот ведь, в сущности, мы использовали с тобой в нашем проекте теорию старых русел Манзуры... Я ведь читал резюме ее диссертации, которое ты привез... Сама она пока что не смогла осуществить ее на практике... в конкретном проекте... И — ни зависти, ни претензий! У нас бы непременно потребовали что-нибудь в качестве компенсации своего авторства!.. — Он прервал себя. — И так и знай... ты не напишешь, я сам ей напишу!

Сабир улыбнулся мягко, положил руку на плечо Гуломали, сжал. Они еще помолчали.

— Я, конечно, напишу... — сказал наконец Сабир. — Немножко погодя... Сейчас, знаешь... слишком многое стоит перед глазами... Ты пойми — не могу я забыть, что Зулейхо... погибла из-за меня!! За меня!..

Впервые за последнее время он произнес вслух это имя. Впервые. И боль снова обожгла ему сердце. Они еще постояли, помолчали. И оба неизменно молчаливых охранника тоже стояли рядом. Потом все четверо пошли дальше.

Они теперь ночевали где ночь застанет: то в оташхане какого-нибудь кишлака, то на бетонном заводе, то в бараке одного из карьеров, вместе с рабочими. Среди рабочих попадались и едва оправившиеся от ран, настоящие инвалиды. Некоторые даже толком работать были не в состоянии, но Гуломали принимал всех — это, говорил он, имеет моральное значение. И в самом деле имело. Даже Сабир, глядя на них, многое вспоми-

нал, в первую очередь — своего отца, который вернулся с фронта полукалекой и вскоре умер; но работал он почти до самой смерти: «На передовой и на работе все болячки забываются, а заляжешь дома, все вылезает наружу!» И все-таки Сабиру не верилось, что пестрая эта толпа может сплотиться в единый коллектив: тут были и от душевного порыва пришедшие люди, и недавние душманы, явившиеся с повинной; погорельцы, которые лишились крова, и кочевники, остановившиеся неподалеку и получившие здесь временное пристанище и пищу; богомольцы — и не верящие ни во что нищие... Но среди них Сабир встречал и знакомых по изыскательской группе — они работали в разных местах, но с одинаковым рвением и, по-видимому, испытывали к Гуломали самое высокое уважение... И встречи с ними вселяли в Сабира уверенность. А главное — чувство хоть какой-то общности с этой разноликой, зачастую загадочной для него толпой. Он впервые ощутил, как это чувство важно: ведь дома оно было естественным, постоянным, здесь же, пока они оставались только изыскательской группой, в нем не было необходимости — жили, искали, трудились сами по себе. Теперь меж ним и всеми этими людьми протянулись нити, как бы живленные в его душу; мостики через пропасть непонимания...

Гуломали ездил на день в Кабул и вернулся с замечательной новостью: месяц спустя — открытие моста через Аму!.. Они проговорили полночи: это ведь было не просто завершение важной стройки — это было символическое событие! И для них — в особенности...

— Ты что, на торжество поедешь? — спросил Сабир.

— Конечно! А как же!.. Там будут люди из всех провинций, из всех племен! И мы там будем — мы же первый рабочий коллектив на севере... И Садык Сардор будет... И ты поедешь!

— Поеду! С радостью...

Была уже середина ночи. Они ночевали в этот раз на карьере, в малом отсеке рабочего барака.

— Спать будем? — сказал Гуломали. — Хотя... не заснешь теперь... Давай выйдем, подышим воздухом...

Небо было ясное, звездное. Сладко пахло зрелой, набравшей силы и аромат весной. Тишина стояла. И в этой тишине вдруг ударил выстрел. Не успело еще эхо рассыпаться в горах, как второй грянул, ближе. Отдаленные выстрелы слышались тут по ночам и раньше,

но так близко — еще никогда. Из барака выскочил один из охранников — встрепанный, до конца не проснувшийся.

Лицо Гуломали разом помрачнело, осунулось, будто после долгой болезни.

— Ты чего так разволновался? — сказал Сабир. — И раньше стреляли. Постреляют и умолкнут...

— Я просто думаю: если как следует подсчитать, всех наших людей не хватит даже для обеспечения самообороны...

— А, ерунда! Как только стройка пойдет полным ходом, все встанет на свои места!..

— Стройки не будет, Сабир. Будет война. Долгая, тяжелая...

Два старых, списанных армейских грузовика стояли у стройуправления, на окраине Мазари-Шерифа. Над длинным, низким свежевыбеленным зданием управления развевался флаг, маленькие флажки атели и над капотами машин. Гудела толпа, собравшаяся на провозы: делегаты города отправлялись на торжества по случаю открытия моста через Аму. С ними ехали и представители кишлака Пайки во главе с учителем Нурмухаммедом — они тоже были здесь. Над верхушками деревьев виднелся голубой купол мечети Мазари-Шериф, минареты, а над ними, в синем, пронизанном лучами небе, металась стайка серебристых голубей.

У передней машины появился Садык Сардор — в своей высокой ширазской папахе, в шевиотовом пепельном костюме и надетой поверх широкой бурке. Привычно подтянутый, он поглаживал правой рукой узкие серебряные усики, оглядывался по сторонам; встретив взглядом знакомых, приветливо склонял голову, смотрел на небо, и выражение лица у него, казалось Сабиру, было такое же, как при первом их знакомстве — словно он сейчас скажет: «Везет нашему Афганистану весной!» Делегаты стали садиться в машины. Когда Сардор поднялся в кабину, протянув вперед негнущуюся ногу, к нему подошел прощаться большой, толстый человек. Да это Махмубшах! Улыбающийся, веселый... Глянув в толпу уже из кузова, Сабир увидел в толпе еще одно знакомое лицо: нечесаная борода, заросшее щетиной лицо... Шокалон! Встречи на том не кончились: Гуломали, только что вышедший из дверей стройуправления, подошел к кабине второго грузовика

и стал усаживать в нее приземистого старика. Старик был совсем седой, с какой-то застывшей болью в глазах. В первое мгновение Сабир его не узнал — но, усаживаясь, тот сделал характерное движение бровями, и Сабир понял: Хайриддин-бобо... Как он изменился! И как страшно, как трудно будет с ним заговорить. И такая тяжесть — вины, горя, безнадежного сожаления — легла Сабиру на сердце, что сияющий день, казалось, потемнел и отдалился.

Но это только казалось, день сиял по-прежнему, на холмах празднично пестрели, встречая их, подвывающие, но еще такие яркие цветы. Машина одну за другой обгоняла группы нарядно одетых всадников на украшенных конях, от кишлака к кишлаку в этот растянувшийся караван вливались все новые конники; а когда, после перекрестка Хайратан, выехали на магистральное шоссе, не знающее покоя ни днем ни ночью, то сами влились в поток грузовиков, многие из которых, принаряженные, как карнавальные повозки, явно везли в кузовах делегатов на предстоящее торжество.

Часа три спустя они ощутили прохладное дыхание великой реки — и в легкой дымке показался впереди мост: изогнутый, как гигантский лук, ажурный, серебристый. Он приближался все медленней — дорога была забита машинами, арбами, пешеходами. Вскоре шоссе поравнялось с железнодорожным полотном, тянувшимся к мосту, и вплотную к нему подступили многоэтажные здания, контейнерные склады, дворы, базы, скопления новой техники, ящиков с оборудованием, горы тюков, посты охраны. Наконец и это осталось позади; перед ними была река. Аму в этих местах уже оставляет позади так долго сопровождавший ее могучий конвой каменных громад, но до песков еще далеко; и она расстилается меж плоскими, полого нисходящими к ней берегами блистающей гладью, словно бы бесконечная во времени и пространстве, вечно текущая, вечно поющая, вечно дарящая движение и жизнь.

По реке, навстречу друг другу, плыли два маленьких белых теплохода. Перед мостом они одновременно загудели, приветствуя не то новый мост, не то друг друга; и огромные пространства того и другого берега, запруженные людьми, ответили им нестройными приветственными громами голосов: они-то уж наверняка и друг друга приветствовали, и мост, который их соединил отныне.

Позади длинных людских рядов с флагами, что выстроились на самом берегу, теснилась еще громадная многотысячная толпа, но и к ней надо было пробиться через преграды из множества машин, запряженных лошадьми арб и привязанных верховых коней. Делегаты Мазари-Шерифа и Пайки выбрались из грузовиков. Гуломали выстроил их в каком-то ему ведомом порядке и повел к берегу. Сабир шел позади, хотя Гуломали и пытался поставить его в числе первых; чтоб спрятать свои бинты на руке, Сабир надел пиджак и теперь обливался потом под ярким дневным солнцем. Впереди их делегации, следом за Гуломали, шли Садык Сардор и Хайридин-бобо и несли хлеб-соль на бархатных дастарханах. Сперва, пока они продвигались меж машин, лошадей и по людскому лабиринту, Сабиру непонятно было, куда ведет их Гуломали. Лишь добравшись до берега, он увидел — вышли к мосту. Поблизости стояли руководители страны, посланцы столицы. Огромные конструкции моста вблизи уже не казались серебристыми и ажурными, зато производили впечатление огромной мощи и надежности. Поверху шла автомобильная дорога, под ней — сквозящие тоннели для поездов, сбоку — пешеходные дорожки. Огромный поднимающийся кверху мост, казалось, раскрыл объятия водной глади, и она нежилась, ускользая и вечно в них оставаясь.

И вот колонны двинулись по трехрядной автотрассе моста. Сабир обдало прохладой реки и бетона, замелькали цветы, лозунги на всех языках Афганистана, снизу поднимался глухой шум воды. Метров через пятьсот, на самом высоком месте «лука», стояла караульная будка, около застыли два маленьких солдата — узбек и афганец, одинакового роста, оба смуглые, издали похожие как братья. Пограничники отдали честь, колонны остановились на несколько мгновений, в знак уважения к этой символической границе между государствами, и пошли дальше. Когда дошли до конца моста и ступили на тот берег, навстречу грянуло «ура», заревели карнаи, раздался гром аплодисментов. Пестро одетые, похожие на бабочек девчушки поднесли цветы членам правительства. Потом Садык Сардор вручил хлеб-соль крепким парням в касках: строителям от имени строителей!.. Хайридин-бобо тоже вручил свое подношение. Хлеб пошел по рукам, к нему тянулось их множество: молодых и старых, взрослых и детских...

Сардор отошел чуть в сторону, руки у него устали, он взмок от пота: хотя бурку он сбросил еще в машине, но и в костюме было жарко. Он вытер платком лоб, лицо, пригладил волосы. Что-то заставило его поднять голову: на него смотрела невысокая пожилая женщина в берете; на лацкане ее легкого пиджака поблескивала Золотая Звезда. Ее лицо показалось ему знакомым, но где он ее видел?.. Определенно не в жизни, нет... на портрете!.. Он перевел взгляд на звезду, сверкавшую с лацкана — и вспомнил. Ну конечно... фотография, которую показывал ему Сабир... да, да, фотография академика Садриевой... Сумбуль Садриевой! Значит, это она?.. Неужели она?..

Он шагнул навстречу ее взгляду.

— Извините меня...— сказал он с поклоном, который подчеркнул все старомодное изящество его подтянутой фигуры.— Мне кажется, я вас... знаю... Ведь вы... академик Садриева?

— Да,— сказала она просто, как бы и не удивившись — должно быть, ее многие узнавали по фотографиям.— А вы?..

— А я — полковник Садык... Садык Сардор — так меня у нас называют.

— Садык Сардор...— повторила она медленно, как бы смакуя.— Очень приятно... Знаете, мне тоже кажется, что я вас знаю откуда-то... хотя откуда? Где мы могли встречаться?

Он выпрямился, глаза его под седыми бровями сверкнули.

— Действительно, откуда?— сказал он.— Вы — с этой стороны, а я... я — ауганец!..

Показалось ему, или действительно ее лицо под привычным темным загаром покраснело?.. Она спросила:

— А вы... вы бывали у нас когда-нибудь?

— Бывал... однажды... очень давно... Теперь уже трудно поверить, что все это было... молодость... и та поездка...

Она смотрела на него пристально.

— Ведь вас зовут Сумбуль?— спросил он вдруг решительно.

— Да. Меня зовут Сумбуль... И родом я из кишлака Мукри...

Он кивнул, как бы все подтверждая. Несколько мгновений они стояли молча.

— А ведь я...— сказала она наконец раздумчиво.— Я потом... порою... думала — уж не приснилось ли мне?.. Значит, нет... и вы действительно везли письмо?..

Он снова кивнул. Слова казались ему лишними.

— Я потом читала об этом письме... потом... много лет спустя... это уж была История, с большой буквы... нет, не может быть, чтоб ты в этом участвовала, сказала я себе... примерещилось... или совпадение... А это действительно были вы!..

У него комок стоял в горле. Они так стары!.. Но ведь была та девочка, была!

— Да,— сказала она, словно угадав его мысли.— Была жизнь... и прошла...— В углу глаза у нее блеснуло что-то, но тут же она улыбнулась — слабой, чуть тронувшей губы улыбкой.— Ну что ж, не так уж плохо прошла... А? Полковник Сардор... академик Садриева... Жалеть поздно. Зато стыдиться нечего!

— Нет!— сказал он. Сделал шаг вперед, взял ее руку, поцеловал. Рука была сухая, старческая. Когда он выпрямился, она удержала его голову, прикоснулась губами ко лбу, отпустила.

— Ну вот,— сказала она.— А теперь пойдете... пойдете вместе... небось ждут уже, ищут...

А Хайридин-бобо искал землю. Земли не было. Был асфальт, бетонные плиты. Земли не было.

Можно ли здесь отойти в сторонку, побыть одному?.. В глазах его стояли слезы, но он их не вытирал — все равно тут же опять набегут. Он огляделся. Кругом люди, люди, люди, ничего больше не видно. Или он ослеп совсем?.. Он все же вытер глаза — и тогда вдруг где-то над головами, слева от моста, заметил странно покачнувшуюся верхушку дерева. Сажают, догадался он с радостью, деревья сажают!.. И пошел в ту сторону. В самом деле, вдоль берега, на высокой насыпи, молодые парни рыли ямы, тут же, в больших ящиках с насыпанной землей, стояли саженцы, уже с листьями — такие примутся. А земля какая! Черная, жирная... Родная земля, родная!

— Хорманг! — сказал он подходя.

Молодежь ответила ему нестройным хором благодарственных приветствий. И под подошвами была у него земля родная. Господи, сбылось! Все потеряно, все, а родная земля еще есть на свете!

Он подошел ближе.

— Чинары?..— спросил он.

— Чинары, бобо,— ответил ему рослый парень, который работал ближе всех.

— Примутся?— Он знал, что примутся, саженцы были здоровые, крепкие, ему просто хотелось поговорить с ними.

— Должны, бобо!

Земля пахла как-то особенно, дивно, благоуханно — или это ему кажется?..

— Я оттуда, с того берега...— сказал Хайридин-бобо. Парень выпрямился, посмотрел на него внимательно.— Можно, брошу кетмень-другой землицы?— попросил старик.

— Пожалуйста,— сказал парень поспешно и протянул кетмень. Остальные тоже оставили работу и смотрели. Хайридин-бобо ударил кетменем раз, другой, третий, отвалил несколько пластов, потом встал на колени, набрал в ладони влажной земли, размял, поднес к носу, вдохнул с наслаждением, прикрыв глаза. Парни смотрели, улыбались, потом снова принялись за работу. Только тот, что дал кетмень, стоял в ожидании, на лице его была написана жалость. Хайридин-бобо сыпал землю с ладони себе в карман, поднялся.

— Вы узбек, бобо?— спросил хозяин кетменя.

— Да, внучек, узбек... А ты?

— И я... Наполовину, правда. Отец — туркмен...

— Да...— сказал Хайридин-бобо и подвинул ему кетмень.— Спасибо тебе, внучек... спасибо...

— Не за что, бобо!

На обширном пространстве перед мостом, где толпились люди, начинался митинг. Репродукторы доносили обрывки чьей-то речи. Старик спустился к реке. Солнце клонилось к западу, и маленькие волны, которые несла Аму, потемнели, вот-вот станут черными. Старик вглядывался в реку. Ему показалось — что-то качается в волнах. Что же это, о аллах! Люлька, люлька!.. Он качнулся, едва не упав в воду, всмотрелся снова. Нет, не люлька... Волны рассеяли, разбросали свою ношу, и теперь ему увиделись девичьи косы, распластавшиеся на воде... Аллах спаси и помилуй!.. Но волны еще приблизили то, что несли,— это был просто веночек, веночек из степных цветов. О-о-о... Да откуда ж веночек-то?.. Вот и другие... Старик стал смотреть вверх по течению — и разглядел наконец: венки бросали в воду дети. Ага! И на том, и на этом берегу! Возле моста, где

река сужалась, течение сводило их вместе, перемешивало...

— Красиво, бобо, а?— спросил над ним молодой голос.

Старик поднял голову. Это был тот же парень, что давал ему кетмень. Он подошел неслышно, встал рядом.

— Красиво, сынок...— сказал Хайридин-бобо и вдруг всхлипнул.— А моих детей... моих... не река поглотила... нет... вражда поглотила...

Парень промолчал — не понял. Но снова посмотрел на него с острой жалостью.

А на мосту оживленно разговаривали двое. Гуломали разыскал одного из авторов проекта моста, они дошли поверху до караульной будки, осматривая все; Гуломали расспрашивал, мостостроитель комментировал. Все, что Гуломали увидел, привело его в восхищение. Теперь они стояли, опершись на перила, и продолжали разговор, изредка поглядывая вниз, на воду.

— Но что будет с мостом в случае весеннего паводка?— спрашивал Гуломали.

— Ну, что будет... Придется соблюдать осторожность... Больше ничего наперед не скажешь...

— Я вам обещаю,— сказал Гуломали,— это года на два, не больше!

— Что — года на два?..— растерянно спросил мостостроитель.

— Осторожность! Потом я вам гарантирую безопасность ото всех паводков!

— Да-а?

— Да, да!

— Это в каком смысле?..

Но Гуломали не услышал: он заметил группу девушек на берегу, и одна из них... Да, да, вон и Сабир с ними!

— Саби-ир!— закричал он.

Но это был не Сабир. И не Шаиста. Померещилось. Сабир вообще не было видно — наверное, встретил кого-нибудь из своих.

— Товарищ Коргар, так в каком же это смысле?..

— А-а... Да, да,— сказал Гуломали.— Сейчас я вам расскажу...

А великая река волновалась внизу, вбирая пламень заката,— и текла, текла, текла, как расплавленный металл.